

Ольга Любимова



ПРАВДИВЫЕ СКАЗАНИЯ

О крещении Руси и о начале Москвы,
и о тайнах Покровского монастыря, и еще...

Аще где пропись али неврежением писано, молю вас:
не зазрите моему окаянству, не кляните, но
поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек
грешен и zelo исполнен неведения.



Москва
«Вест-Консалтинг»
2016

Любимова О.

**ПРАВДИВЫЕ СКАЗАНИЯ о крещении Руси и о начале Москвы,
и о тайнах Покровского монастыря, и еще... —**

М.: «Вест-Консалтинг», 2016 — 304 с.

ISBN 978-5-91865-400-2

«Судьбы неразгаданные, ушедшие, людские, вы не даете мне покою! Порой я закрываю глаза, и вы обступаете меня, наплываете бестелесным хороводом, волнуя прошлой любовью, неслыханным злодейством. Кабы не были вы живы и незримо растворены в воздухе, разве мучали бы меня так?! О, вы, ушедшие в безвестии, хочу вспомнить вас! Вспомнить ваши имена, лица ваши хочу увидеть хоть на единый миг! Тихие голоса и смех ночью у зажженного костра жажду, тщусь, мечтаю услышать!»

В книге рассказывается о том, как князь Владимир Красное Солнышко крестил Русь от Новгорода и до Киева, и о том, как прежде любимая, а после брошенная им жена Рогнеда пыталась убить его; и о том, как суздальский князь Юрий в порыве гнева убил своего тысяцкого Степана Кучко, и на крови его, на земле его решил выстроить еще один город-крепостцу в Белой Руси, — «Приезжай ко мне, сват, в Москов!» — это первое упоминание в летописи о Москве; и о судьбе сосланной в Покровский суздальский монастырь Соломонии Сабуровой, опальной жене Василия III; о том, как князь московский Иван Калита писал «грамату душевную», идя в Орду, «никим не нужен»; и о последних днях Александра в Гордце на Волге.

© Гринько А. А. (Любимова О.), 2016

© «Вест-Консалтинг», 2016

РАССКАЗ О ВЛАДИМИРЕ И РОГНЕДЕ



1.

Владимир был прилюбывшем киевского князя Святослава и дворовой девки, Ольгиной ключницы, Малуши. Смолоду он правил в Новгороде. Добрыня был дядькой Малуши, стало быть, Владимир приходился ему внучатым племянником.

Когда Владимир захотел полоцкую княжну Рогнеду, то она не пошла за *рабинича*. Владимир двинулся с войском на Полоцк и взял город. В битве были убиты оба брата Рогнеды, а сам князь Рогволод и его княгиня, отец и мать Рогнеды, лежали связанными.

Добрыня вошел с обнаженным, испачканным кровью мечом, как нож мясника, в кольчуге, без шлема на седых волосах, краснолицый, воняющий потом, туда, где были они, и где металась около родителей плачущая княжна, и велел Владимиру *с нею быти* на глазах у ее отца и ее матери, не пожелавших добром отдать девушку князю. Владимир послушался, и Рогнеда была здесь же им обесчещена на глазах у тех несчастных, которые тотчас были заколоты.

Рогнеда стала женой Владимира. Но она не возненавидела убийцу своих братьев и своего отца и матери своей, а из-за особенности своего характера, преклоняясь перед силой, а также по женскому стремлению подчиняться и по забывчивости женской привязалась к этому ужасному и прекрасному человеку, взявшему ее силой и кровью, предалась ему телом и душой, никого больше в жизни не имея; полюбила его; сделалась его рабой.

Она родила Владимиру сына Изяслава.

Но Владимир недолго оставался на шелковых подушках около черных кудрей и белой груди Рогнеды. Вошел как-то утром к ним в спальню Добрыня и молвил:

— Не залеживайся, племянничек! Тебя ждут дела немалые! А что баб да девок около тебя будет, только мигни, мигом стащат с тебя штаны! Айда, князь, в поле погулять!

И они вдвоем вышли, и им вслед от подушек сверкнули слезой, ненавистью и любовью черные глаза Рогнеды.



2.

Когда Владимир начал княжить в Киеве, убив брата и сев на столе своего отца и деда и своей славной бабки Ольги, то говорили, что в Вышгороде у него полюбовниц триста, и столько же в Белгороде, и в сельце Спаса, что на Берестове, двести. В самом Киеве за себя взял красавицу черницу, брюхатую от убитого им брата Ярополка, и с нею жил, как с женой. Таков он был. Где уж тут ему было помнить о Рогнеде!

А она его не забывала. В своем имении под Киевом на речке Лыбеди среди мамок и нянек, балующих сына, проводила длинные дни и тоскливые вечера, зовя мужа и кляня и ничего более в мыслях не имея. Вышивала бисером в пяльцах и лила горючие слезы, и народ за это прозвал ее: **Горислава**.

Владимир, подобно героям древности, как истый муж, знал более других два ремесла: любовь и войну. И он часто хаживал на своих многочисленных врагов. Воевал и камских булгар, хотел сделать их своими данниками. Но Добрыня, увидав, что послы побежденных обуты в сапоги, сказал:

— Они не захотят быть нашими данниками. Пойдем-ка, князь, лучше искать лапотников!

А когда спасся от плена печенежского, то так был рад, что задал в Киеве великий пир.

— А тем, — так сказал, — кто не в силах дойти до хором моих, хворым да сирым, угощение развозить по домам, хлеба и мяса вдоволь, и рыбы, и меду в бочках!

Чтобы каждый пил и ел вволю и славил князя.

Хранимый богами, увенчанный победами, повелел в Киеве на горе водрузить идол Перуна, деревянный, с серебряною главой и золотым усом. И, ослепленный язычеством, исполняя совет бояр и старцев, повелел этому идолу принести человеческую жертву.

Выбор пал, к несчастью, на прекрасного юношу, сына одного варяга-христианина, жившего в Киеве на реке Почайне. Когда толпа язычников пришла за своей жертвой, то отец, обезумевший от свалившегося на их головы несчастья, сам вышел к ним и увещевал



и молил, и корил их, как детей, и, показывая на небо, где, по его вере, обретался Бог истинный, сказал так:

Бози же ваши древо суть!

А они из-за этих его слов еще больше распалились и ворвались в дом и убили варяга и его сына, «и невесть никто, где их положили...»

Когда Владимиру доложили о конце этой истории, он как раз ужинал вместе с цареградским послом, и тот сказал князю:

— Помилуйте, дорогой мой! Так дико никто уже и нигде не верует! Людей приносить в жертву, проливать кровь безвинных так, ни за что, ни про что, помилуйте!

Владимир побагровел и поперхнулся рыбьей костью и, незаметно для посла, тяжелым кулаком огрел стольника, велел тотчас же после ужина созвать советников и бояр и послать послов в разные страны дабы вызнать: *кто, где и како верует?!*

В это время приезжали к князю от других народов, и каждый предлагал свою веру: и евреи, и магометане. Но Владимир, например, узнав, что Коран запрещает пить вино, сразу веру эту отверг, сказав слова:

«Руси веселие есть пити, не можем без него быти!»

Долго путешествовали послы, а, вернувшись, объявили князю так: люди, мол, таперича во всем мире поклоняются тому, кого они сами распяли!

Владимир думал над этим день, думал другой и третий, но так ничего не понял, и никто толком ему не смог объяснить, только твердили, завороженные увиденным, великолепием храмов, пышностью обрядов, сверканьем золота риз и сиянием церковных огней, возжигаемых перед ликами божеств и святых угодников, и еще более того очарованные сладкозвучием неведомых и непонятных им молений, — твердили одно: «Не хотим иной веры, кроме этой!»

И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служили они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой... знаем только, что пребывает там Бог с людьми. (3)



Князь еще поразмыслил над всем этим и кое с кем посоветовался; и, застигнутый еще разными событиями, наконец, решился и крестил Владимир Красное Солнышко всю Русь в новую веру от Новгорода и до Киева с землями Ростовской, и Суздальской, и Залесской.

Человек он был решительный. И протекало все решительно и энергично.

В субботу, когда по зову князя киевский люд собрался у реки, где стоял истукан с серебряной главой и златым усом, велел того идола в назидание всем язычникам с горы сверзить и бить плетьюми.

Народ в безмолвном ужасе на поругание такое смотрел, ожидая немедленно грома небесного или какой-нибудь другой кары, слепоты, чумы или мгновенной смерти кощунцу, и для многих невозможно было уместить в своей голове и в своих глазах зрелище, когда болван, погромыхивая башкой о камни, среди мертвой тишины вниз скатился, и стоявший на берегу воин Рагуил пнул его сапогом, и идол плюхнулся в воду. Поставлена же была Владимиром по берегу вдоль течения Днепра и до самых порогов стража с батогами — отпихивать от берега деревянного болвана, пока плыл, не давая пристать, а народ следом бежал, раздирая волосы и плача и стеная, вопя:

«Вьдыбай, Господару наш Боже, вьдыбай!»

И те, кто не почли себя в тот день обездоленными, были словно в чем-то глубоко и дерзко обмануты.

На другой день, это было воскресенье, Владимир Красное Солнышко крестил киевский люд на реке Почайне.

— А ежели кто не придет, — так сказал, — тот обидит меня и заслужит казнь лютую!

Собравшиеся должны были снять с себя одежду и нагишом лезть в воду. Иные заходили по пояс, а иные по бороде. Жены держали на руках младенцев.

А не хотясчих креститися воины влачаху и кресчаху жены ниже моста а мужи выше моста. (3)

Окрестившимся, вылезавшим из воды, ходившие по берегу попы надевали на шею деревянный крест на бечеве. Те, кто побогаче, загодя запаслись золотыми крестами и с украшениями. Владимир здесь же был вместе со всеми на берегу.



Но и ночью не было покойно. Слышался плеск воды, тихий смех. Кто-то догонял кого-то по реке. Горели костры; где-то полыхал пожар, и звонил набат. На мосту несколько темных фигур возились, сбившись кучей и пыхтя. Там мелькнула быстрая, неразборчивая тень, послышался всплеск. Это стражники потопили волхва, того самого, что днем мутил народ предсказаниями, возвещая, что вскоре реки потекут вспять, а там, где была Русь, то будет Греция.

Из своего окна на зрелище крестимой Руси долго глядел цареградский посол. Владимир подошел и, с улицы заглянув, с завистью оглядел белоснежную сорочку и большой перстень с топазом на длинном, смуглом пальце посла, спросил хвастливо, что тот обо всем увиденном думает, а посол отвечал Владимиру вежливо и дипломатично.

— Предки мои, Ваше Княжье Достоинство, писали о людях, живших на этих землях, когда еще и помину не было о Вашем досточтимом государстве, называя их *склавинами*, *Склавос*, что по-нашему означает: **рабы**, Ваше Княжье Достоинство.

Владимир побагровел и, не сдержавшись, замахнулся на посла палкой и велел тому убираться немедленно вон из Руси, и еще, отойдя, велел отобрать у посла прежде даренную накидку на куньем меху и пошел войной на Царьград и осадил и, показав свою силу правившим там братьям Василию и Константину, поял их сестру деву Анну и взял себе в жены.

3.

Но много еще воды утекло, прежде чем новая вера дала ранее не виданные всходы, и вся Русь расцветилась церковными маковками, как сад цветами.

Не забыли и тех двух первых христианских мучеников, отца и сына, убитых язычниками на реке Почайне. Подробностей об этой истории уже не помнили, но говорили, будто бы сына звали Феодором, а отца Иоанном и будто бы, умирая, не проклинал своих убийц и Владимиру простил, сказав только, дескать: «Помянешь отца и сына!» Этих двоих теперь почитали святыми.



А что в земле Залеской, в том звездном граде Суждале, так там распяли язычники попа на Яруновой горке, повесив за руки и за ноги на кресте. Дикий народец! Пришлось самому туда ехать, порядок наводить. Много за эти годы довелось ему помотаться по Руси. Ехал однажды невесть где, нехоженой тропой, лесной стороной. Осенний полуоблетевший лес бурел стволами сосен вперемешку с тоненькими, белеющими стволами берез. Седой изморосью блестела прихваченная морозом трава. Седина мелькала в черных кудрях Владимира.

Он ехал впереди дружины шагом, бросив поводья, прислушиваясь к подымавшемуся в душе, подобно вечернему туману, едва различимому зову памяти. Внезапно вспомнилось, как проезжал здесь с Добрыней воевать Полоцк и за Рогнедою, и так тепло и мило вдруг сделалось на сердце, как только бывает, когда что-нибудь, предмет или место, нам напомнят о переживаниях и волнениях молодости.

Ярко рдели гроздья рябины. Князь обломил ветку, спугнув черного дрозда, морщась, жевал горькие, терпкие ягоды. Он вспомнил о Рогнеде. И решил на обратном пути заехать, навестить ее: жива ли?

С ожиданием и невольным замиранием сердца ступил князь щегольски окованным сапожком на скрипнувшие ступени, и в настороженные ноздри мгновенно ворвался кислотоватый запах сыреющего дерева. И вот перед Владимиром неподвижно стоит она, давно брошенная им жена; в первую минуту не узнал ее из-за низко, на самые брови, повязанного темного платя. Пригляделся: она почти не изменилась, пополнела. Красивая, пышная, зрелая, в темной, ладно скроенной одежде. Он воочию теперь видел, что она жива.

Рогнеда, молча, стояла перед ним. Столь долго ожидаемого и всё-таки нежданно, словно с неба свалившегося, она-то сразу его узнала и сейчас безмерно удивлялась тому, что не испытывает ни малейшего волнения. Лишь замедленно и ясно, с необычайной отчетливостью глаза ее замечали и запечатлевали всё вокруг, все мелочи. Она заметила и появившуюся у него седину; и легшую тенями на лицо усталость.

Ну а затем она провела желанного гостя в дом и усадила за стол, уставленный хоть не изысканной, но вкусной и полезной едой, на столе были пироги с капустой и с грибами, белое вино, рыба, мед. Владимир пил и ел охотно и ей подливал. А она, опомнившись от нежданного его появления, с тоской и робкой надеждой спраши-



вала себя, — с чем приехал к ней? С доброй, а может, дурной вестью? А может быть, он хочет спросить ее о сыне?.. Или... О, она не могла до конца расстаться с надеждой: вдруг он надумал вернуться к ней, устав от жизненных бурь?!

И чутко прислушивалась к его речам. Но Владимир беззаботно шутил, расспрашивал ее о житье-бытье. И обнял давно оставленную им жену с ласковой осторожностью.

У Рогнеды пунцовели щеки, дрожали опущенные ресницы. Она вздрагивала от его прикосновений. Видно было, что она всё еще нравилась ему; он желал ее. Но очень скоро поняла: это ненадолго! Может быть, на одну лишь ночь... А рассвет застанет его едущим на коне, далеко отсюда! И усталость, которую приметил в нем, была от долгого пути, а не от жизненных бурь. Старая, ее муж оставался большим ребенком.

Она, однако, не показывала своих чувств, была ровна, приветлива с ним и, отговорившись чем-то, ушла в спальню, а там, не в силах превозмочь нахлынувших чувств, упала вниз лицом на высоко взбитую кровать. Подошла старая полоцкая нянька ее утешить, но Рогнеда отослала ее прочь и, оставшись одна, села на перинах и отерла две скупые слезинки с разгоревшегося лица. Затем порывисто встала, вышла через боковую дверь и, пройдя несколько переходов, по витой лесенке поднялась в светелку, где спал мальчик.

Постояла, глядя с нежною лаской, поправила ножку, подоткнула одеяло, но не поцеловала и, к противоположной стене отойдя, туда, где развешано было детское его оружие, а посредине висел огромный, в потемневших ножнах меч Рогволода, попыталась вынуть без шума, но старое оружие грозно забряцало глухим звоном. Она оглянулась. Сын не проснулся.

По-женски не ловко неся в оттопыренных руках меч, выскользнула из светлицы, спустилась по лесенке. Меч Рогнеда положила под кроватью в своей спальне.

А когда ее муж насытился и подкрепил свои силы вином, то отвела его почивать, и с ним легла, и отдавала этой ночью ему нерастроченные, для него одного хранимые ласки. И когда они были совсем близко, так что соприкасались их колени, и губы, и кудри и, казалось, что мысли одного в эти минуты полного слияния не могут быть тай-



ной, открыты для другого, — обмирала от страха, что он, чернокудрый чародей, угадает, о чем она думает...

Но вот, в последний раз шевельнувшись, приоткрылись губы, и из них вылетело сонное, шумное дыхание, и разомкнулись руки, сжимавшие ее в объятиях. Рогнеда чуть приподнялась, наклонилась над спящим Владимиром и вдыхала полузабытый его запах. От него пахло вином, чесноком, потом и ребенком.

Он спал крепко. Рогнеда медлила свершить задуманное. Но не от нерешительности и не от того, что колебалась. Голова ее была холодна, руки готовы, не дрогнув, держать меч. Но ею овладело ненасытное желание глядеть на него, простертого перед нею, глядеть еще, пока не совершится перемена, и черты его не застынут, и из них уйдут тепло и трепет жизни.

Она слишком низко наклонилась над ним. Владимир вдруг сделал движение рукой и головой, глаза его раскрылись и по ней скользнули мутным взором, он что-то быстро и невнятно произнес во сне. Рогнеда замерла. Ее охватил безумный страх, что не удастся совершить, и он через несколько часов, легко поцеловав ее обманчивыми, хранящими следы поцелуев многих жен губами, уедет, и она потеряет его теперь уже навсегда! Если в молодости не сумела удержать, сумеет ли теперь, когда остывают чувства и жар тела?!

Убедившись, что муж снова спит крепко, она медленно, медленно, почти не дыша, с кровати сползла на пол и достала меч. Не спуская глаз со спящего, занесла над ним.

И тут только женщина сказала в ней. Не то чтобы в последнюю минуту проснулась жалость к живому, или былая любовь превозмогла стремление владеть им безраздельно ей одной, живым или мертвым, — нет! Но женщина взялась не за свое дело. Ведь убийство — занятие мужчины, и она промедлила еще некоторое время, сжав изо всей силы рукоять и примеривая силу удара и место, куда всадить острие.

Ну, а в нем сказался мужчина, чувявший опасность даже во время сна, и, не успевшая она опомниться, — Владимир змеей выскользнул из-под одеяла, молниеносным движением выхватив по дороге нож-засапожник, без которого в то время ни один русский не выходил из дому, и, оказавшись мгновенно за несколько шагов от смертоносного ложа, тут только с безопасного расстояния, окончательно



проснувшись, разглядел, что перед ним не враг лютый, а — женщина, жена его.

Черные, казавшиеся огромными глаза Владимира жалили ее, застывшую с полувыскользнувшим из повисших рук мечом.

— Ты... что? — только вымолвил, выдохнул тихо и грозно.

А она ему отвечала.

— Ты ходил войной на моего отца и моих братьев, чтобы овладеть мною. А теперь не любишь меня!

Он разглядывал ее с каким-то даже интересом, словно впервые в ней что-то увидав, и как будто бы спокойно. Но Рогнеда не обманывалась этим спокойствием. Она знала, что ее ждет неминуемая смерть и пребывала в страшной растерянности, ибо не была готова к смерти. Все смешалось у нее в голове. Она думала, что ему, должно быть, слышен стук ее сердца, от которого колыхалась на груди тонкая ткань рубашки.

Внезапно они оба, как по одному наитию, посмотрели в окно. Там на месте черной ночной мглы едва уже начала проступать предрассветная синь, на которой обозначились вязью перекрещивающиеся ветки деревьев с облетевшими листьями. И оба подумали одно и то же: что часа через полтора или два рассветет, а в снях чутко спит дружина князя, готовая в любую минуту вскочить, продирая глаза, по единому его свисту, и конь оседлан под окном стоит, и новый день застанет его едущим уже далеко отсюда, каковы бы ни были его здесь суд и действие.

4.

— **И**шь ты какой! Да я его сам убью! Дай мне меч Рогволода, матушка! Я защищу тебя! Я спрячусь здесь за занавеской, а как он войдет, я незаметно кинусь, он не успеет...

— Тише, тише, милый, мой хороший. Я знаю, мой голубчик, что ты уже большой и можешь защитить меня... но он может сейчас всякую минуту войти... У нас мало времени, послушай меня! Не говори так об отце. Я виновата перед ним. Ты не знаешь. Послушай же меня! Послушай, Изяслав! — и на ухо ему нашептала, повторяя приказ и глядя в глаза, целуя глаза и щеки рослого, перед ней стоявше-



го мальчика, а окончив шептать, слегка от себя отстранила, твердо сказав. — Послушай, сыночек. Ты обо мне не плачь, если что... Слышишь? Ничего нет страшного! Я совсем не боюсь! Вон какого я тебя вырастила, настоящий воин! Будь же мужественным, помни, чей ты сын. Ты — сын Владимира. Возьми, вот меч Рогволода. Не даю тебе ничего другого, только меч! Им ты добудешь все остальное! Помни древний зарок. А обо мне не горюй. Эй, ну?! Помни Гориславу!

И тут она в последний раз его к себе притянула, обняла крепко и провела губами по нежному лицу, а затем легонько, но твердо от себя оттолкнула, приказав и поглядев ему в очи почти веселым взглядом.

— Теперь иди! Сделай, как я сказала. Ничего нет страшного. Ничего нет страшного, говорю тебе! Иди.

И мальчик вышел, а она осталась одна сидеть на богато убранном ложе в светлой хранине и в княжеском уборе, как муж ей велел, одеться в платье, в котором за него шла, в княжеской шапке и с украшениями на шее и в ушах, которые ей дарил, ждала смерти. И, как только дверь закрылась за сыном, спина ее согнулась, словно подломленная, голова свесилась бессильно, она оперлась на колена и неподвижно так сидела.

Ждать недолго ей пришлось. Внизу хлопнула дверь. Раздались на лестнице шаги Владимира. Тогда Рогнеда снова выпрямилась, замерев, и теперь уже, в самом деле, не боялась, одно только сердце ныло, ныло, все сильнее, все смертельней схватывая.

Вот он вошел туда, где сидела она. Сейчас размахнется и убьет ее. Скажет ли что-нибудь ей перед смертью?.. Нет!..

Вот дверь позади него резко распахнулась. Владимир мгновенно обернулся и узрел прекрасного видом отрока в полном облачении воина, и глаза и ум тотчас же ему подсказали истину: что перед ним сын, и отцовское сердце наполнилось невольно восхищением и гордостью и любовью. Всего охотнее он сейчас отбросил бы меч и прижал к груди мальчика. Ничего более ему в ту минуту не хотелось, как расцеловать округлившиеся от волнения глазки и не утратившие нежной детской припухлости щеки, опуститься на колени перед сыном и прижаться губами к детским ладошкам. Но ладошки эти сжимали меч Рогволода, и глаза полуюноши-полуревенка сверкали и выражали одно отчаянное желание защитить мать, противоборствуя ему!



И в краткие те мгновения с горечью Владимир понял, как разное чувствуют дети и родители: для родителя нет вины перед ним собственного дитяти, а если когда и есть, то невыносимо горька и тяжела ноша, нету тяжело, и как легко все прощается! Но строгие и безжалостные судьи бывают дети, и бывают правы, даже когда и несправедливы и непримиримы. И еще в те краткие мгновения позабытой тенью, давним укором среди вереницы им обиженных и обещенных и убитых — прошли со скорбными ликами те двое, Феодор и Иоанн, задев усталое сердце удивлением и смутной даже завистью и болью: «Помянешь отца и сына»...



И сын, его сын, протянул отцу меч, сказав:
— *Ты не один, о родитель мой! Сын будет свидетелем!* (2)

Владимир же, который прежде даже, чем мысль эта достигла сознания, сердцем уже понял, что простит Рогнеду ради мальчика, отшвырнул в сторону едва заметным движением меч, и грозное оружие, послушное привычной руке воина, отлетело в угол и вонзилось в разошедшееся дерево, оставив в ушах находившихся в комнате тихий



звон. И, молвив смущенно: *«Кто ж знал, что ты здесь?»* — кусая ус и глядя в землю, князь Красное Солнышко вышел, оставив вдвоем мать и сына.

Но он еще советовался с боярами, как ему поступить с Рогнедою, и те тоже сказали согласно с князем: просили пощадить ее ради ее сына. Владимир так поступил. В полоцкой земле, на родине Рогнеды, он велел выстроить город и назвал: Изяславль. Отослал их туда, и больше они не виделись.



ДОРОГА





Мы с вами едем по Горьковскому шоссе, до революции это была печально известная Владимирка. Прямая эта дорога — прямоезжая, как говорили в старину, соединившая Москву с Нижним Новгородом, появилась в 14-м веке после присоединения к Москве Нижегородского княжества. А с 15-го века по дороге этой была учреждена *ямская гоньба*. О русской ямской гоньбе писали путешествовавшие по России — Адам Олеарий; австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн. В русских архивных документах наименование *ям* впервые появляется, как повинность, и происходит от татарского слова «*дзям*», что означает: «*д о р о г а*».

День третий. СУЗДАЛЬ

Автобусы стояли на платной стоянке в Суздале. Да кто же не знает платную стоянку в Суздале? Экскурсоводы, бывало, начнут объяснять: «В сторону от улицы, мимо гостиницы “Сокол”, — и, махнув рукой за угол, скажут:

— Да тут ее все знают, и местные, и туристы».

На платной стоянке в Суздале плотными шеренгами, борт к борту, стоят «Икарусы» и «Наташки», бегают туристы, отыскивая свой автобус, другие стоят в очереди за медовухой или если чего-то еще не докупили, у киосков с сувенирами.

На переднем сиденье одного из автобусов две дамы беседовали, при этом одна из них не спускала озабоченного взгляда с горбатившейся на подходе к площадке дорожки, по которой группочками непрерывно шли возвращавшиеся после прогулки по городу туристы. Моросил легкий дождик. Водитель дремал, обняв руль. Поднял голову, выразительно посмотрел, заметил:

— Сорок пять четырнадцать поехал уже. Надо было им сказать: в половине четвертого, тогда бы к четверем собрались.

— Сейчас придут, — отозвалась та, что глядела на дорожку, московский экскурсовод, — подмокнут и придут.

В дверях встала девушка в пушистой желтой кофточке, с сумкой и мольбертом, произнесла скороговоркой, словно заученно:



— Здравствуйте. Можно мне с вами доехать до Москвы? Я дочь Ангелины Аркадьевны Степановой. Я должна была встретиться сегодня с мамой, но она почему-то до сих пор не приехала...

— А кто такая Ангелина Аркадьевна Степанова? — немного помолчав, спросила москвичка.

— Она из бюро путешествий, многодневки, вы ее, наверно, не знаете, — вполголоса сказала вторая дама, владимирский экскурсовод

— А-а-а. Ну да. Они на улице Качалова.

Снова пауза. Дамы экскурсоводы явно колебались. Ведь в последнее время строго было запрещено брать в туристический автобус посторонних лиц. Проблемы даже случались с подвозом своих коллег из Суздаля во Владимир. Между тем, на смугловатом личике девочки отразилась явная растерянность, казалось, она вот-вот заплачет. Она была очень хорошенькая, голубые глазки под цвет сережкам из финифти.

— Мы должны были с ней встретиться в три, а сейчас уже четыре... Я не знаю... Может, что случилось...

Тут обе дамы начали наперебой ее успокаивать: ах, да не волнуйтесь, мало ли чего не бывает в дороге! Вот однажды зимой... Конечно, мы вас подвезем.

— Хозяин, возьмем девочку? — обратилась первая дама к молчавшему до сих пор водителю. — Хорошая девочка.

Тот что-то буркнул, не оборачиваясь. Девочка, шмыгнув носом, поблагодарив, отнесла на заднее сиденье сумку и мольберт и снова пошла искать маму.

— Геля Степанова, как же, — заговорила оживленно владимирская дама, — ее тут все знают наши. Рассказывает ярко, интересно, и собой, знаете, хороша. После нее даже трудно бывает работать, правда. За ней тянется такой шлейф восхищения... А тут влезает в автобус такое серое и малоинтересное существо, — в интонации прозвучали едкие нотки.

Между тем туристы потихоньку заполняли автобус, оживленные и довольные, приветливо обращались к экскурсоводу, показывали покупочки, у кого — свёрнутая трубкой грамота, писанная старинной вязью, буклеты, книги, кулоны и брошки из знаменитой ростовской финифти, подносы из Жостова...



На подножке появилась незнакомая дама в темном костюмчике, с гладко зачесанными волосами, серые глаза ее ласково улыбались.

— А я увидела знакомое лицо...

— Здравствуйте, Ангелина Аркадьевна, — приветливо отозвалась владимирский экскурсовод.

— А я вот дочку свою ищу. Мы из Гуся поздно приехали, по дороге чинились.

— Так она же только что была у нас! Вон ее вещи на заднем сиденье! — обрадовано воскликнула москвичка.

— Правда? Вот как удачно! Она у меня учится в художественном училище и здесь две недельки была на практике. А! Вон я уже вижу, мой ребенок идет! Спасибо вам огромное!

Последовала радостная встреча и вслед за тем быстрое дорожное расставание, ласковый и немного грустный взгляд.

Да, в дороге за короткое время вообще люди сближаются по-особенному, оторванные от привычной обстановки, захваченные новыми впечатлениями, они поневоле сбрасывают, пусть хоть ненадолго, груз забот и даже становятся в чем-то похожими на детей, только что не поднимают руку, обращаясь с вопросами к экскурсоводу. И, перезнакомившись, переделившись иногда сокровенным, наскоро, — чего не расскажешь постороннему человеку в дороге! — внезапно оказываются лицом к лицу с неизбежным расставанием. Это часто вызывает невольный внутренний протест! Как же так?! Неужели — с тобой, с вами, навсегда?!

Но, увы, расставания — закон жизни. И что было бы с нашими сердцами, если бы мы всерьез грустили после каждого дорожного знакомства, — только кивнут, улыбнутся на прощанье и — разбегутся в разные стороны, как встречаются и расстаются люди на дороге жизни...

* * *

— Ты почему опоздала?!

— Автобус поломался. Не мой, Машкин, Машки Бычковой, мы с ней вместе были в Гусе.

— Я так волновалась.



- Малыш, что ты! Мало ли чего не бывает в дороге!
- Сама говорила, как экскурсоводу руку отрезало!
- Ах, боже мой, это единичный случай! Нам с тех пор водители не разрешают сидеть на вертушке, только на сиденье. Ну, а ты-то как? Довольна? Везде побывала?
- Ой, везде! Это сказка, сразу подумала, как увидела все эти церковки. По тропке твоей ходила от Спасского монастыря. В музее три раза была.
- Парсуну видела? Евфросинью?
- Да, конечно.
- Глаза какие! Как будто глядит. А у меня группа ничего... Мусорщики.
- Кто-о-о?
- Ну, мусорщики, а что? У них в документах написано: «Служба благоустройства улиц», а мне водитель говорит: «Знаешь, это кто? Те, что за помойкой за машиной ходят». Ты не смейся. Они интересуются, вопросы задают. Я бы даже сказала, хотя сама удивилась, в каком-то смысле — аристократы духа. Не веришь? Они не только за помойкой. В конторках сидят. Девочки есть совсем молоденькие. Может, зарабатывают стаж... А еще с ними три художника, молодой человек и две дамы, твои коллеги, хочешь, познакомлю? Так что группа смешанная.

Она это заметила не сразу. Бегло на Курском вокзале взглянув в накладную, решила, по составу группы, «упрощать» текст.

Наш путь начинается от тех мест, где когда-то проходило оборонительное сооружение, одно из четырех кольцевых оборонительных сооружений, окружавших маленькую крепость, которая появилась в середине XII-го века на границах Владимиро-Суздальского княжества. «Кто думал-гадал, что Москве царством быти, и кто ж знал, что Москве государством слыти» — говорит летописец...

Экскурсовод «спиной» чувствует, как слушает группа. Даже, как она молчит, если вообще молчит; или тихо перешептываются, чем-то шуршат; кто досыпает раннее пробуждение; или впитывают, как губка, слова экскурсовода, и тогда он разговорится, и стихотворение Багрицкого про Суворова перед Ундролом прочитает, и о сосланной



по оговору невесте царя Михаила Федоровича насплетничает, немало чего группа может вытянуть из экскурсовода.

За Балашихой, во время недолгого перерыва дорожного рассказа, Геля обернулась и встретила взгляд широко раскрытых черных глаз. Парень в синей куртке, на вокзале назвавшийся старшим, даже слегка наклонился к проходу, чтобы лучше слышать.

Ну, а когда на 94-м километре, в «Сказке», к ней, стоявшей, озирая окрестности, на посту рядом с автобусом, подошел полноватый молодой человек в серой блузе и, представившись членом Союза художников, после обмена мнениями о фресках Рублева во владимирском Успенском соборе, перешел на впечатления от поездки в Италию, Геля пробормотала слегка сконфуженно: «Так вот кого я везу», — и улыбнулась очаровательной «маршрутной» улыбкой, продолжая внимательно следить за тем, что происходило на тесно уставленной автобусами площадке.

Вот водители Николай Иваныч и Толя, приоткрыв заднюю крышку и поковырявшись, отправились в «водительскую» рощицу, значит, с транспортом всё в порядке. Вот старший в синей куртке вместе с патлатым, расхристанным, спускаются по длинной лестнице из теремка, где дорожный буфет с дымящимся самоваром; вот нелегально путешествующая подруга Николай Иваныча (жена? Ну, нет. У нее на лбу большими буквами написано, кто она такая... Ах, нехорошо, нехорошо злословить, даже в мыслях!), спускаясь с подножки автобуса, высоко вытянула ногу из-под юбки; вот прошли мимо иностранцы, мужчина и дама, смеясь, обсуждая что-то, Геля немного разбирала французскую речь, они говорили, по всей видимости, о злосчастных туалетах на горке, туда, кажется, опять не дали воды из Покрова...

— Мы случайно с этой группой, — пояснил художник, — у них были свободные места. Со мной еще две дамы.

Геля потом увидела их, немолодые, сухопарые, с седыми бублями; серебряные перстни на суставчатых пальцах.

И — всю развернулась в седой Мещоре по дороге на Гусь, рассказывая свою любимую историю стеклодела.



— Какой у тебя автобус? «Икарус»?

— Длинная Наташка. Мы пришли, вот он.

В автобусе Гели собралось маленькое общество, центром был старший водитель Николай Иваныч, он сидел в своем кресле, облокотясь на баранку, молодой водитель Толя разлегся на сиденье экскурсовода, вытянув длинные ноги, за его спиной сидела Маша Бычкова, а Машин водитель стоял на подножке и посторонился, пропуская Гелю с дочерью.

— Ну, встретила дочку? А то всё волновалась, — заметил Николай Иваныч, приветливо кивнув девушке, а Толя встал, освобождая им место.

— Да, всё в порядке.

— А я вот тут рассказываю, как Филиппыч в мае завис по дороге на Гусь. Группу развезли, а он куковал сутки, ждал буксировщика. Слыхала?

— А как же. Он от нас вез какую-то знаменитость. Любу Репникову, кажется.

— Починиться нельзя было? — спросил Машин водитель.

— Не-а. Буксировщик приехал, зацепил удавку, поехали. Дорога на Гусь сам знаешь, какая извилистая.

— Сто одиннадцать поворотов! Наши посчитали, — выпалил молодой водитель, глядя на девушку.

— В мае можно сидеть, — заметил Машин водитель.

— Я как-то зимой под Смоленском сидел, — сказал Николай Иваныч. — Тоже группу развезли, я один остался. Сменщика не было. Ночевал в автобусе. Холодно! Печку включил, не греет. Вышел на дорогу, огонь развел. А там зайчики прыгают. И я прыгаю, — захохотал, глядя на подругу. — Зайчики прыгают, и я прыгаю.

— Я как-то в Кольчугине неделю сидел, — сказал Машин водитель. — Так мне старшина на мотоцикле еду привозил. Один раз даже выпить привез! Во, жизнь была!

— Мы как-то тоже застряли зимой на повороте на Гусь, — сказала Маша Бычкова, — воздух замерз. Поздно вечером было, дорога обледенела, как каток. Пока водитель разогревал, на наших глазах легковушка перевернулась на повороте. Там семья ехала, муж, жена и ребенок.



— Пострадал кто-нибудь?

— Слава богу, нет. Мужчина вылез весь белый. Ну, моя группа, молодцы, дружно навалились и поставили машину на колеса. А то что бы они делали одни ночью на такой дороге!

— Мой бывший сменщик Петька Сидоров, ты же его знаешь? — обратился Николай Иваныч к Машиному водителю, — после той аварии под Псковом три года получил. Полсрока уже отсидел в тюрьме в Калининне.

— Что это за авария?! — всполошилась дама Николая Иваныча, — Ты мне ничего не рассказывал.

— Как сейчас помню, двадцать второго января это было. День смерти Ленина. Мы ночью шли на Псков. Дорога тоже обледенела. Петька рулил, а я тут дремал, — кивнул на кресло-вертушку. — Вдруг просыпаюсь, в снегу лежу. Мать честная! А нас занесло, а оттуда выворачивал ЛАЗ. И — нос к носу. Петьке ничего, поцарапало только, синяк. А лазовец тот умер, не приходя в сознание.

— Какой ужас!

— Суд был. А мать его сказала на суде, того, который помер: «Значит, у него такая была судьба». И не плакала, не обвиняла, ничего. А мои думали: я погиб. А с базы позвонили, один водитель погиб, другой в тяжелом состоянии. И нету меня. А у меня ключицу поломало, ну я провалялся день. Прихожу домой, у нее вот такие глаза. После этого я полгода не мог за руль садиться.

— Да, так можно пить совсем бросить, — подтвердил Машин водитель.

— А наши там бывают, под Калининном. Привозят Петьке кто колбаски. Поддерживают.

В автобус возвращались туристы.

— Ладно, пошли что ль? — водитель подмигнул Маше, и они вышли.

Был последний, третий день экскурсии «Владимир-Суздаль-Гусь-Хрустальный». Впереди — возвращение в Москву. Геля встала в проходе, улыбаясь, оглядывая сидящих.

— Ну что, все? — спросил Николай Иваныч. — пощупайте каждый своего соседа.

— Или соседку! — крикнули из салона.



— Сколько времени?

Геля посмотрела на часы.

— Пять пятнадцать.

— Как стемнеет, будем брать!

— Как стемнеет, будем брать! — в один голос отозвались оба водителя, засмеявшись известной им одной поговорке.

Автобус плавно покотил к выезду из города. Мелькнули валы, Знаменские церкви...

Наша экскурсия близится к концу, мы оставляем пряничный и звездный Суздаль, «город церквей, колоколен, старинных преданий и темных надгробных плит. И мы, измученные, утомленные в шумихе современности, любуемся этими остатками старины, вспоминая о том, что никогда не вернется».

* * *

— Помнишь, как мы с тобой сюда первый раз приехали? Зимой? Ты маленькая была. Я еще тогда не работала в бюро. Мы жили два дня в этой гостинице «Сокол». Тогда даже туристского комплекса еще не было. Ты счастливая. Уже два раза была в Суздале. А я той зимой сама первый раз приехала.

Погода стояла ясная, мороз под 20 градусов, а вокруг — ослепительно белая, сверкающая искорками на солнце снежная пелена. Поодаль на пологом холмике, не поймешь на равнине, далеко или близко, доносился стук топоров, там работали плотники, тогда только еще начинали строить музей деревянного зодчества за слободой Щупачихой.

И оглушительная, непривычная тишина! Только галдели вороны, кружась над колокольней, да мелодично позвякивали старинные часы. В тот первый раз не могла наглядеться на эту красоту и белизну и с заслезившимися то ли от солнца, то ли от восхищения глазами пообещала себе, что приедет сюда, не откладывая далеко... ну, прямо хоть этой весной. Да, в марте! Весна света!



— Мало что помню, — засмеялась. — Помню, как мы обедали, и нам подавали еду в горшочках в архиерейской трапезной. Суздальское жаркое.

— Ты говорила: «жаркО». И рисовала с открытки Золотые ворота. Качнулись эмалевые сережки, улыбнулись глазки. Какие ясные! А всё кажется, что в глубине их какая-то непроглядная голубая пелена... И по этой пелене, как по озерной глади, вьётся тихим омутом, серебряною змейкой *кружилиха-напасть*...

Геля достала из сумки буклет, развернула.

— Вот она, Евфросинья Суздальская, ее именем названа самая высокая колокольня в городе.

— Преподобенская.

На пергаментном лице глаза живые, как две черные смородины.

— А вот гляди еще, что во Владимире я купила. Это о ней же.

Тоненькая книжица в голубой обложке.





ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ ЄВФРОСИИИ СУЗДАЛЬСКОЙ

1.

В преславном городе Чернигове некогда правил добрый и благочестивый князь Михаил. Одна у них с женой была неизбывная печаль: боженька не давал им чадо. Были и в Киеве, в Печерском монастыре, и к ворожеям ходили, одаривали, просили помолиться, чтобы даровал им плод. После одной такой поездки княгиня затяжелела, а через положенный срок разрешилась от бремени девочкой. Назвали счастливые родители дочку Феодулией. Говорили еще, что княгине привиделась во сне Богородица и предрекла зачатие.

Девочка росла, и все, кто видели ее, и сами родители не могли надивиться ее уму и красоте. К тому времени, как ей войти в девичий возраст, молва повсюду разнеслась об ее телесных и душевных достоинствах, и многие князья соседние желали взять ее за своих сыновей. А в звездном граде Суздале в то время знали Миню Суздальского, род которого, говорили, шел от варягов и от римского кесаря. И он возмечтал взять себе в жену деву Феодулию и задаривал богатыми подарками ее родителей. А поелику и сам был пригож, то и он пришелся девице по сердцу и объявлен был женихом. То-то радости было!



Но потом вот что случилось. Прошел слух, и в доме князя о том заговорили, что в Ризоположенском монастыре что под Суздалем старице по имени Елена начали сниться вещи сны. И в тех снах являлась ей дева Феодулия в белых одеждах, яко голубица, летающая над монастырем. А как исполниться Феодулии пятнадцать лет, отказалась она от брака с Миней Суздальским и возжелала посвятить себя навечно Богу...

— В мо-на-стырь?!! Не пойду! Хоть зарежьте! Сраму наделаю! По-дожгу обитель! По-жа-леете!

— Не ори, дура. Связать ее что ли?

— Нет. Иди. Я сама с ней поговорю.

Князь Михаил вышел, хлопнув в сердцах дверь. Княгиня подошла к кровати, где дочь лежала, уткнувшись лицом в подушки, боязливо руку поднесла, погладила ее по разметавшимся волосам. Заговорила ласково, тихо.

— Дочушка милая, послушай слово материнское. Мать-отец зла тебе не пожелают. Но так, видно, Бог велел.

Замотала головой, руку матери отвела.

— А ты послушай. Послушай, кровиночка ты наша возлюбленная, долгожданная, — шепотом. — Люб он тебе? Минька-то? Да не по тебе он.

Громче рыдания.

— А, думаешь, замужем-то так уж сладко? Все вы молодые так. И я была молодая. И я любила, доченька моя дорогая, но другого, не отца твоего. Никому до сих пор этого не говорила, был у меня сердечный дружок. А выдали вот за князя Михайлу. То-то слёз я пролила в одиночестве в своей девичьей келейке. А ничего, прожили душа в душу, дай Бог всем так. А за любимым-то мужем вона как мучаются! Далеко не надо ходить, возьми тётку твою, мою сестру резанскую. В тридцать лет, а она уже старуха.

Отняла от подушки заплаканное лицо, узор кружева отпечатался на мокрой щеке.

— Пойми ж и ты меня, мамушка! Сама хочу жить, не с твоих слов, что горя и радости, всё моё! Не пойду, хоть режьте, в могилу каменную!

— Дивным видением, дочушка, было ознаменовано твое рождение. Иная судьба предназначена тебе! Уготовано прожить славную да благодравную жизнь. Люди будут говорить о тебе... Вон и твер-



ские Борисовичи своего сынка отдали в монастырь, и ростовские Мстиславичи...

— Ну и пусть!!!

— Старица Елена благонравная сон видела о тебе.

Отерла слезы, молвила сухо, трезво.

— Старице Елене Минькина мать в кулечке поднесла, чтобы те сны вещие ей показались.

— Молчи, глупая! Блаженной-то! Как такое может быть!

— Она невесту ему другую нашла. Не знаю уж, чем я ей не люба. Только он, мама, кроме меня никого не захочет.

И явилась Феодулии во сне Богородица. «И да не коснется тебя, — так сказала, — скверна мира сего и не будешь сочетаема с нареченным тебе, но в обители Моей девственниц жилище твое пребудет...

— Ну, вот. Небесный твой жених теперь меня не захочет.

— Ты... где была, поганка?! Молчи, знаю. С этим долговязым Минькой. То-то хоронился от меня под забором, думала: поглазнилось!

— Погодите, мама, не кричите. Может быть... всё будет по-вашему.

Глядела в растерянности, как дочь осторожно присаживается на лавку ...

— Ах ты!.. Тварь бесстыжая, — свистящим шепотом, — Ты что такое удумала?! А ну как отцу скажу!

— Не надо, мама, никому ничего говорить. А что было, того не вернешь, — слова вперемешку со слезами застряли в горле; передохнула, выдавила через силу. — Он, мама, женится. Поперек воли родительской не пойдет. Проститься приехал.

И зарыдала горько, безутешно. Княгиня присела рядом, как могла, утешала дочь. А та твердила исступленно, почти крича:

— В монастырь хочу! Везите, только скорее!

— Ладно, ладно, родная. Такая, знать, твоя судьба... Счас pošлю весточку тетке твоей в Рязань.

— Не хочу в Рязань.

— Можно и в Киев, батюшка договорится.

— Не поеду в Киев.

— Да куда ж ты хочешь-то, дочечка?



— Отвезите меня, мама, в звездный град Суждаль. Там под стенами городскими монастырь Ризоположения, где старица Елена...

— Ты что опять задумала? — шепотом.

— Ничего я, мама, не задумала. Больше мы с ним не увидимся. Высоки те ворота монастырские! Рядом буду, одним воздухом с ним буду дышать. Одну эту ночь помнить.

— Господи, помилуй, нас, грешных, — крестится.

— Только он, слышите, мама, меня одну любит. И всегда любить будет. Кабы плохого из этого всего не вышло...

И упала блаженная на колени перед игуменьей и молила со слезами принять ее в обитель, бо в мир она уже не сможет вернуться. А по монастырскому обычаю при постриге дева получила новое имя и стала зваться Евфросиньей.

С первых же дней своего монастырского бытия Евфросинья превзошла всех мудростью речей, трудолюбием и воздержностью. Постилась с утра и до вечера, а то и через один вечер не кушала ничего, а потом и по два, по три вечера, а то целую неделю без еды и мало пила воды...

— Ну как она, мать игуменья?

— Плохо, дочь моя, плохо. Не ест, не пьёт уже какой день. С постели не встает. Не померла бы, не дай то, Господи!

— Господи, помилуй и спаси, помилуй и спаси, — плачет. — Что делать, научи, святая мать! А я-то грешница раздумалась, что доченьку свою разлюбезную, моленную, зачем к вам отдала в каменную могилу...

— Что говоришь-то! Дьявол глаголет твоими устами! Молись! Молись!

— Господи, помилуй нас, грешных, Господи, помилуй...

— Иди таперича. Счас служба окончится. Неча тебе смущать видом мирским больную и монахинь. Авось всё и обойдется. Не надо тебя. После придешь. Поди, поди.

— Прости... прощай.

Заплакав, княгиня ушла. А игуменья, проводив ту глазами, прошептала:



— Эка, схватилась, болванка. Думала б раньше. Такую девку да в монастырь! К нам в каменну-то могилу. В ней огонь. Не пожар бы ее совсем... Молоденькая, красивенькая, жалко. А вот что, — встала, выпрямилась, была она маленького роста и плотная, подошла к образу. — Помолюсь-ка за нее сама. Попрошу милости у боженьки. Не так-то много я просила у Тебя. Но всегда, — скосив глаза, поплевала через плечо, — доходила молитва моя.

Молитва игумены.

«Ты, Боженька, покамест не бери к себе деву Феодулию. Ей рано еще, пусть поживет? Молоденькая, красивенькая, жалко. А сколько в жизни радостей. Снег талый, ручьи ли бегут, капель каплет, птички поют. Время пройдет, и боль заживет, я-то уж знаю... Да что же это я тебя учу? Ты и сам не надумал ли ее к себе брать?! А с чего бы силу в нее вложил Ты неизреченную? Свет из глаз ее исходит!»

* * *

И настал день, когда Евфросинья встала со своего ложа в кельюшке своей и спросила квасу али еще какого питания. Тотчас ей принесли с травками и с малиной, что росла за монастырским кладбищем, добавив по велению игумены ложечку настойки, и дева выпила. В тот день она впервые пела в церкви. И если раньше дивились черницы, какова умна и добра очами, то теперь заслушались ее бесподобного пения. Истинно то был дар Божий. И исходил из глаз ее свет неизреченный.

Так пела Евфросинья в третью годину своей монастырской жизни, и в четвертую, и в пятую... А как пришла ее двадцать первая весна, то вот что случилось. К деве повадился искушать ее диавол. Монахини между собой называли его: «Пронырливый». А посещал он деву в снах, наполняя их разными мечтаниями. То снилось ей, что прислужницы расчесывают ее волосы, не постриженные, до полу, и влетают в них унизанные жемчугом нити, набрасывают на нее одежды из ярких тканей, вдевают в уши серебряные кольца с привесками... А то виделось, что у ее постели стоит муж в богатой одежде и с ним много юношей, а ей зазорно перед ними лежать неубранной, но во сне не может она пошевелиться. А он говорит ей сладкие, льстивые речи



и хвалит ее красоту и говорит, что послан к ней ее женихом Миней Суздальским. И слышатся ей «призывы к бесстыдному греху, она видит духов злобы и нерадения, лености, самолюбия и ненависти и сребролюбия, готового пожрать весь мир... Именем Христа и молитвою к Богородице отгоняла видения». (1)

Утром со смущением и стыдом вспоминала те ночные томления, и, усердно помолясь, накидывала бедную одежку, следила только, чтоб чистенько было и не драное, кушала скудную монастырскую пищу и принималась за работу какая ни на есть, с радением, дабы заглушить в себе мысли греховные.

И кто знает? — не познай она хотя бы во сне глубину греховного падения, то и не вознеслась бы потом столь высоко, яко колокольня, имянем ее названная, Преподобенская, что у Ризоположенского монастыря во граде Суждале...

Лишь один единственный образ не явился ей ни разочка, тот, которого втайне ожидала, лежа вечером поздним после заполненного трудами и хлопотами дня на узком, жестком своем ложе и глядя в окошко, где за перекрещивающимися ветками виделась в темном небе крохотная звездочка.

И вот однажды...

— Неужели не ты ли, Феодулия?! Постой, не убегай! Да не снишься ли мне?!

— Нет, князюшка, не снюсь. Только я не Феодулия. Другое теперь имечко мое. Отпусти, князь, не неволь.

— Да как же так! Сколько дней бродил в заповедном бору вокруг монастыря, всё думал: вот-вот встречу! И вот встретил, а ты: отпусти, не неволь!

Говорил и говорил ей всякие слова, придвигаясь ближе, вот руки коснулся.

— Дай хоть наглядеться на тебя. Переменилась!

— Плохая стала. Работа и пост не красят.

— Похудела, побледнела. Но еще краше стала, вся высветилась изнутри, звездочка моя. Видно, — с горечью, — хорошо тебе без меня. А я вот без тебя...

Отвернулся, показалось, вот-вот заплачет. И словно уйти хотел и не мог, и не было сил удержаться его, только тихо прошелестел вопрос.



— Как ты-то?

— Жив, вот видишь... покуда. А то хворь неведомая вдруг найдет, и не то чтобы болит, а чувствую, жизнь уходит из меня. Всё тебя забыть не могу. Я уж взаправду думал, не колдунья ли ты, наузница? Не ведьмака ли?

Стоял, опустив голову, не оборачиваясь, и не видел, как вязанка с хворостом упала из ее рук и рассыпалась по траве, и, не в силах слова вымолвить, ожидала, что обернется к ней, чтобы припасть к его груди, с глубоким вздохом разматывая душившую рясу...

Вернулась в обитель поздно, легко соврала, что в лесу заблудилась, напугавшись медведя. Беспокоились о ней сестры и игуменья, а она удивлялась про себя легкости и ловкости лжи, и что сразу ей поверили, и совестно было из-за их веры и заботы о ней.

В своей кельюшке долго в окошко глядела на запутавшуюся в ветвях звездочку, и так было покойно и хорошо, и не знала, как дальше будет, только знала, что теперь с Миней ее не разлучит ничто, *кроме смерти...*

И почивала в ту ночь глубоко и спокойно.

То преобразился он, Пронырливый, приняв образ отца Феодулии, и уговаривал ту покинуть обитель и вернуться в мир, но праведница не обманулась его видом и, молитву сотворив, воскликнула: «Уйди, Сатона!»

— Батюшка, здравствуй.

— Здравствуй, Феодулия, доченька.

— Ты один что ли приехал?

— Ась? Ну да, один. А матушка твоя занемогла. Кланяться велела.

— Охти! Да что с ней?!

— Ничего, пройдет... По правде, тоскует она по тебе очень, доченька. Всё плачет и не может утешиться. А тут еще...

— Да что такое?

— А, да ничего. А вот гляжу я на тебя и не узнаю. Словно и не ты, чадо наше ненаглядное, выстраданное, вымоленное. Сидишь на койке в этой рубище... А прости ты меня, до седых волос вот дожил, а ума не нажил, прости нас, дочушка, а и послушался я этих двух дур,



матушку твою и сестру ее резанскую, расквохтались обе: «В монастырь да в монастырь!» — все таперича своих чад отдают...

— Что же теперь делать-то, батюшка? Ты уж не казись так. Я по привыкла.

— А вот что я тебе скажу, чадо наше ненаглядное, — зашептал, оглянувшись на дверь. — Я вот что тебе скажу: пошли отседова сей же час!

— Да как же можно?!

— Всё можно. Я после договорюсь. А я и за тобой пришел, вот и платьишко твое прихватил. А матушка рада невесть как будет, с постели тотчас вскочит. Расхворалась. А славно как заживем! Как прежде, али еще лучше. Пойдем, пойдем, говорю, ничего не бойся, — целуя ее. — Замуж мою голубку выдадим. Женишка найдем, хошь княжеска сына, а хошь боярского. Кто люб будет! Твой-то нареченный Миня волей Божией помре... — крестится. — Царство ему небесное, совсем молоденький. А я на похороны приехал, а матушка вот с расстройства занемогла. Тебя молила привезти. Феодулия, доченька! Да что с тобой?!

Долго тряс ее, вдруг помертвевшую, побелевшую, хотел уже на помощь позвать, но она вроде начала приходить в себя.

— Что с тобой, касатка, молви хоть словечко!

— Ни-че-го. К вечерней зазвонят счас. Ты поди...

— Как так?! Да ты со мной ли, Феодулия!

— Ась? Я-то?.. А я тут... покамест останусь. Ни-че-го. Зазвонят, говорю, вот-вот. Отпеваем нонече старицу Елену. Преставилась намедни. А счас иди, пожалей меня. Неможется мне, право.

— Да не позвать ли кого, сестер? За лечьцей не послать ли?

— Не надо. Пройдет. Помолюсь за усопшего и за грех мой.

— Да какой же грех-то, доченька?!

— То знаю я. Матушке передай, что всё хорошо, что я здо-ро-ва. И прости меня непутевую! Поди, батюшка, Христос с тобой! Поди!



2.

Русская монастырская жизнь, нескончаемая и однообразная, как дорога через поле и лес, в туманные дали. Весной слякоть непролазная, птицы поют, и лохматые жучки носятся, радуясь солнцу. Зимой долгие вечера при лучине, снегом заметены кельюшки. Темные согбенные спины, запах ладана, пенье. Молоденький служка в храме на всенощной. Летом жара, кусты сочной малины за монастырским кладбищем. Старые монашки лакомятся вареньем и вздыхают, думают о смерти; молодые расшивают покровы и воздуха золотой и серебряной канителью по бархату рыхлому, двоєморхому.

Русская монастырская жизнь, покой и вечность в каждом мгновении. Иных манит она притягательно. И бесконечно медленно вызревает туманная еще не мысль, — грёза.

Слобода Скучилово, Скучиловка, Скучилиха на большой дороге. Сплетни слободских, мелкие события, проступки монахинь. Найденный вчера на берегу Каменки в тине утопленник. Экое несчастье, такой молоденький!..

Силен диавол, сестры! Он рассыпает на пути человеческом соблазны. Мы не святые, и нас порой терзают злые духи сребролюбия и зависти и любострастия. Хвала же нам, черненьким, что, сбрасывая бремя страстей греховных, обращаем взоры свои к небесам!

От сладкой жизни людишки изнеживаются и забывают, что на смену беззаботным временам приходит пора тяжких испытаний. Хвала нам, что напоминаем о том, а и в лихую годину укажем путь к спасению.

Праздничный обед в монастырской трапезной. Лавки сдвинуты, колышутся ветром в окнах кисейные занавески, ярко горят свечи перед киотом. Березовые веточки всюду развешаны, канун святых Троицы. На столе расписные блюда, кружки со сладким монастырским вином. Монашки слушают Евфросинью. Первая после игуменьи старица Маремьяна даже прослезилась, хлебнув еще ранее в своей келье настоечки.



*Хвала нам, черненьким, что не устаем напоминать об истинном и непреходящем. Ярко горит свеча, но вот зажглася в небе первая звездочка, крохотная, она светила, когда в мире еще не было Адама и Евы, и будет светить, когда мы уйдем, и уйдут наши дети и дети наших детей, и весь род человеческий завершит свой путь в назначенный срок, о котором не ведает никто, лишь сам Господь. Помолимся же, сестры, чтобы **Свеча бы та да не погасла!***

Возненавидим же греховное житие, а добродетельное и духовное возлюбим! Ибо сказано: скорбящая утроба смиряет сердце и рождает помыслы великие! А кто во грехе живут, у тех око не видит, и ухо не слышит.. Хвала нам, юным, умевшим при старейших молчати, простым — премудрых слушати. Недаром же идут к нам и из Суждалья и ото всех сторон жены града и боярйни...

Окончила речи и вышла из-за стола и через монастырский сад далее пошла за ворота, и никто не посмел за нею идти, а еще подумали, что идет помянуть старицу Елену к недавно выкопанной могилке. Шла бездумно, обрывая цветки, и желтую сурепку, и розовеющий анюткин сон, и душистую полынь, нежный, неяркий июньский первоцвет, и даже припевала тихонько, а тропка всё дальше вьется вниз, к берегу речки Каменки, что, сказывают, вытекла *с полудни в полночь из-под камня*. Лишь на одно мгновение стало тесно в груди, и жарко щекам, она подумала, что не старая еще.. Вот зашла за покосившуюся ограду старого слободского кладбища, встала на колени перед ухоженной могилкой с большим деревянным крестом, уронила цветы. Горло сдавило, но глаза были сухи, не плакалось. Господи, чего бы, кажется, не отдала, годы жизни за миг единый увидеть его живого, до руки дотронуться, до мягких волосиков... Ан нет. Землюшка цепко свою добычу держит. Ей самой по нраву Миня Суздальский. Всея плотью своей ощутила тоску и непоправимость этого: «никогда»...

Вдруг тихий говор донесся из-под полуразвалившейся стены. Замерла, невольно прислушиваясь.

— Пусти, я пойду. Хватятся в обители.

— Подожди еще! Сколько времени бродил вокруг монастыря, всё думал: встречу тебя, вот и встретил, а ты: пойду!

— Пусти же. Нельзя мне. Скоро к вечерней зазвонят. После приду.

— Дай хоть наглядеться на тебя, на личико твое!



- Плохая стала. Работа да пост не красят.
— Похудела, побледнела, но высветилась вся, еще краше стала, звездочка моя.

Затихли голоса, лишь шепот и шорох да тихий смех. Господи, да что это?! Монахиня опустила на траву. Взаправду ли слышала али, откликнувшись на ее тоску, пришло из прошлого, словно вчера всё случилось. Засумерничало, в небе над храмом на горе заблестел тоненький рогатый месяц. Снова тихий говор зазвучал за стеной.

- Иди, родная. Не бойся ничего.
— Я не боюсь.
— Придешь еще?
— Приду, милый. Нас с тобой теперь не разлучит ничего в мире... кроме смерти.

Застонала тихонько Евфросинья. Подождала еще, не услышит ли чего. Только шорох травы от быстрых, легких шагов, звук осыпающихся камешков, и стихло всё. Она выглянула из-за ограды. Пусто всё, только карабкается по крутому откосу в сторону слободы фигура в коричневом армяке.

* * *

С*тех же пор, как Евфросинья вступила в Ризоположенскую обитель, заведен был игуменьей новый обычай. В монастырь брали только дев нескверных, для тех же, которые познали мужа и для вдов, выстроили за стеной Троицкую женскую обитель. Разговаривать и сноситься между собою монахиням из той и другой обители запрещалось.*

- Феодулия! Зайди ко мне.
— Что это, матушка, как кличешь меня? Так давно уже меня никто не звал.
— Да как-то вышло само собою. Зайди, девонька, разговор к тебе есть. Так. Дверку закрой. А теперь половичок отодвинь да вот тут



пол подыми, подыми, не бойся, за кольцо потяни, у меня у самой уже силушек нету.

Открылся в полу глубокий лаз, ведущий во тьму

— Не гляди, не гляди, некогда. Свечу вот возьми. Нам надо поскорее вернуться, чтоб не заметили.

— Господи, помилуй! Да что там, матушка?

— Идем, идем. Всё сама увидишь. Ход этот никто не знает, только я и еще один человечек, а таперича вот и ты.

— Да куда же идем-то мы, матушка?

— Куда, куда. Села баба на козла. Закудыкала. На гору, девонька, идем к монахам, пиво ячменно пити да любовь крутити.

Шли молча в глубокой тишине по узкому, низкому проходу, высокая Евфросинья, наклонив голову, за маленькой, уверенно шагающей монахиней. Вот внизу, в темноте шарахнулся кто-то в сторону, будто некрупный зверек, в руках игуменьи дрогнула свеча, закачался слабый огонек, вот-вот погаснет! Евфросинья тихонько взвизгнула.

— Цыц ты, непутевая. Не боись. Сейчас придем. Послушай, что скажу, — голос игуменьи прозвучал строго. — Помру я скоро, деушка.

— Господь с тобой, что говоришь-то, матушка!

— Не причитай. Говорю, значит знаю. Чувствую. Недолго мне осталось. Надоела я туточки Боженьке, к себе зовет. Да ты не страшись, не переживай. Черед придет, все там будем.

— Да как же так!..

— Ладно, погоди, не плачь. Я еще не завтра помру, — хихикнула. — И не в могилу тебя веду. Может, поживу еще малость. Теперь слушай, говорю. Мало у нас с тобой времени. А как помру, надоть будет новую вам игуменью.

— Матушка!

— Молчи, молчи. Как водится, должна ею стать первая старица. Но ты знай вот что: монастырь на тебя оставляю. Дело тебе завещаю.

— Охти, да как же!..

— Здесь всё держится именем твоим, ты не знала? Из-за тебя, голубица моя непорочная, из-за имени твоего, святости твоей идут к нам жены града и болярыни, и молва по Руси идет, и приходят и из других мест взглянуть в очи твои лучистые, послушати



речей твоих разумных, да пениев твоих заслушаться, птичка моя сладкоголосая.

— Благодарствуй за такие твои слова, матушка, только невместно мне такое слышать. Недостойная я доброты и доверия твоего.

— Вот те на. С чего бы это?

— Не всё ты обо мне знаешь, — еле слышно вымолвила. — Грешна я перед Богом.

— Все мы грешные перед Богом, деушка. А всё один лишь Он знает, Господь.

— Есть же в обители благочестивее меня!

— Это кто ж, к примеру, благочестивее? — в голосе маленькой монахини зазвучала явная насмешка.

— Ну... старица Маремьяна.

— Сказанула! Эта Маремьянка-то благочестивая?! Не смехи. Это час она немного унялась, разве пропустит перед обедом сладенькой наливочки, вот и весь грех. А когда помоложе-то была, такой бляди, прости, Господи, в слободе не знавали. К ночи, кроме меня, никто не мог загнать ее в обитель. Меня одну она боялась. А уж как пьяная напется, тьфу! — монахиня сплюнула, в руке ее снова закачалась свеча. — Ведешь ее, бывалочке, задами, от людей зазорно! Люди-то всё видят.

— Ну а... матушка Епифания?

— У Епифании сын в слободе растет. Да ты знаешь его. Летось у монахов на стене работал. Его все знают. Гаврюшка-плотник.

— Гаврюшка... ее сын?

— Ну. Не трудись, девонька. Всех я их знаю, как облупленных. Да вот мы и пришли.

В самом деле, Евфросинья едва лбом не уперлась в тяжелую дверь, из-под которой пробивалась едва приметная полоска света. Игуменья толкнула, дверь неожиданно легко отворилась, и обе монахини вошли в просторное помещение с низкими сводами, освещаемое одной свечой, горевшей в светцах. У Евфросиньи в глазах зарыбило от множества кипами лежавших по стенам книг в кожаных и сафьяновых переплетах, с неровными обрезками пергаментных страниц. Раскрытые рукописи разложены были и на широком столе, за которым на высоком табурете сидел, согнув спину, маленький человечек в монашеской рясе и высокой шапке и взирал на вошедших больши-



ми, лучащимися светом, широко раскрытыми, как у плохо видящих вдаль, глазами. Он сделал попытку слезть со своего сиденья, игуменья его остановила:

— Сиди, Гришенька, сиди, — но он всё-таки вылез, и стало видно, что не согбенная спина то была, а стоял перед ними маленький горбун.

— Это вот наш Гришенька, — сказала ласково игуменья, — а это, Гришенька, Евфросинья, я тебе про нее рассказывала, помнишь, молились мы с тобой за ее исцеление.

Горбун радостно покивал большой головой.

— Она будет сюда к тебе тоже приходиться... Да скажи, исправно ли тебе приносят поесть-то с горы? Всё ли ладно?

— Всё так, всё ладно, матушка, — кланяясь отвечал горбун.

А Евфросинья, изумленными, засиявшими глазами озирала всё вокруг, груды книг и, раскинув рученьки, словно желая ими объять необъятное, воскликнула:

— Господи, великия премудрости! Да около этого, матушка, можно... прожить жизнь!

— Вот и живи... долго!

А приказав долго жить, вскорости сама отошла, легко, как дитя, недолго поболев, и не увидела она огненной грозы, обрушившейся на Русь великим бедствием, пришедшей вместе с именем нечестивого хана Батыея.

3.

Иулия лета шесть тысяч семьсот сорок шестого нечестивый хан Батый пришел на Русь с неисчислимой силой, и было тогда всем городам великое разорение и людям поругание от поганых. Князь же володимерьский Георгий и с дружиною головушки свои сложили при реке Сити, а татаровья приступом взяли Володимерь град и пожгли и дальше шли по Нерли до самого до звездна града Суждаля.



Долгая, глухая ночь опустилась над Русью. Татары разорвали города и села, жгли жилища людей и храмы Божии, беспощадно убивали жителей или уводили в полон. И не знал никто, сколько продлится разорение, грабежи и пожары и убийства. А в иных местах, где прошли вороги поганые, людей побивая, оставалась пустыня, так, словно и *вчера здесь ничего не было*.

В месяце феврале тьма Батыева подошла к Суздалю. Не найти об этом слов, сильнее, печальнее и выразительнее, чем выстраданные, выкованные чернокованной вязью строки летописи:

Взяша Сүждаль и Святую Богородицу раграбиша, двор княж пожгоша, монастырь Св. Дмитрия пожгоша, а прочие разграбиша. (4)

Попробуйте проехать, особенно зимой, по селам Владимирщины. Прочитайте названия деревень: Батыево, Кощеево, Арзамки, Побойки, — они отдаются глухой памятью, века сплющиваются, сплачиваются, и из воздуха и снега вблизи деревенок с почернелыми избами сгущиваются тени, слышны звон, плач, стоны, крики минувшего!

В те жестокие времена люди нередко искали спасения, скрывались за каменными стенами монастырей, находя там убежище и кров. Ну, а когда вороги вторглись в Ризоположенский монастырь что под Суздалем, то не нашли в обители за наглухо запертыми дверьми ни одной живой души. После уже говорили, что это Преподобная Евфросинья увела сестер от позора и гибели через одной ей известный потайной лаз к реке, далеко от города. Сказывали также, не знаю, правда ли, что сама она после вернулась, закрыла тот лаз дверкою, застелила половичком, да и ушла неведомо куда. Из тех немногих, кому чудом удалось уцелеть, рассказывали еще, будто видели высокую женщину в монашеской одежде и с низеньким, горбатеньким в одежде мирянина, и шли напрямиком не куда-нибудь, а к шатру идолища поганого, нечестивого хана Батыя.

— Тебе чего, старая ведьма?

— Я пришла к тебе, царь, без нужды и без мольбы, а взглянуть на тебя, какой ты есть всем страшен, в очи твои грозные.



— Да, я страшен. Я грозен. Половина людей на земле трепещут от одного звука моего имени. Но ты выбрала удачное время. Я в расположении и даже могу отвечать тебе. А то бы тотчас приказал моим батырам удавить тебя. На что ты нужна? Ты стара, лечь с тобой, не получишь удовольствия, — он захохотал, и дружное ржание раздалось из рядов стоявших вокруг трона советников хана и стражников. — Ну, дальше говори. Кто такая? Откуда ты пришла? Как тебе удалось уцелеть? Я повелел не оставить в городе ни одного дыхания! Я сказал: пусть тут будет пустыня, так, словно и вчера здесь ничего не было!

— Зовут меня Евфросинья, царь, я из того девичьего монастыря, что под Суздалем.

— Девичьего, говоришь? Что ж, в твоём монастыре все девы?

— Да, царь. В нашей обители могут жить только девы нескверные, не познавшие мужа.

— Это значит, мои батыры туда еще не добрались, — захохотал, — иначе бы ни одной девы там не осталось!

Снова дружное ржание.

— А ты что же, — насмешливо, — тоже дева?

— Нет, царь. У меня был муж.

— Где же он?

— Он умер.

— Убит? Он сражался против меня?

— Нет, царь. Он умер давно.

— От чего же?

— От любви ко мне.

— Я видел много смертей, — сказал, помолчав, — ты даже не представляешь себе, женщина из монастыря, сколько я делал зла. Я видел полные ужаса глаза моливших не лишать их жизни. Но что-бы сотворить такое из-за бабы, из-за любви, как ты говоришь, в это невозможно мне поверить. Хотя я допускаю, что ты была молода и красива. Не знаю, почему я так долго говорю с тобой. Ты, кажется, совсем не боишься меня, женщина из монастыря? Я не вижу страха в твоих глазах.

— Я много лет провела в обители, грозный царь. Мирская жизнь едва коснулась меня. Пост и лишения, годы, проведенные в молитвах и размышлениях, отучили меня от страха смерти. Я не боюсь тебя, грозный царь, — несколько мгновений они глядели друг другу в гла-



за, беспомощная женщина и всесильный хан в окружении стражи, — и я не прошу у тебя ни пощады себе или кому-нибудь из людей, потому что теперь, взглянув в твои очи, вижу, каково оно есть, земное зло, не ведающее по природе своей милосердия и пощады.

— Ты еще и дерзишь мне. Но ты права. Я олицетворение зла. Убийство — мое занятие. Я к этому призван. Кем? Твоим же богом, женщина. Не веришь? Зря. Да, у меня нет жалости. Ты ужасаешься? Судишь меня, судишь зло, как ты говоришь? А помнишь ли ты, что сказано в вашем писании, которому вы молитесь так усердно?! Там сказано: «*Время убивать и время врачевать*». Ты призвана врачевать. Ну, а не думала ты, что было бы, если бы я не убивал? Царство добра? Рай на земле? Ошибаешься, женщина. По моему мнению, люди вообще не могут быть счастливыми. Если бы я не убивал, их сделалось бы слишком много, им всегда не хватало бы чего-то: богатства, еды, места на земле! И они стали бы завидовать друг другу, и один мешал бы другому, и каждый желал бы иметь то, что имеет другой. И они стали бы сами убивать друг друга... за медный грош! Я знаю людей. Я понял жизнь. Я всё постиг. Зло необходимо в мире так же, как и добро. Это закон жизни. Ты можешь не соглашаться со мной, женщина из монастыря, но запомни мои слова. Каждому — свое.

— Я вспомнила сейчас, что прочитала однажды в книге, кладезе древней премудрости, их много было у нас в монастыре, пока твои воины не сожгли обитель... Там было написано, что ***мир создан либо для совершенных праведников, либо для законченных злодеев.***

— Ну, вот мы с тобой и встретились Я злодей, а ты праведница. Что ты так странно смотришь на меня? Ты колдунья, да? Что ты увидела сейчас в моем лице?! Говори, что ведомо тебе, или я, в самом деле, тотчас же велю удавить тебя!

— Ты скоро умрешь, царь. *Нужной смертью*, в далекой стране.

Он остановил движением руки бросившихся к ней стражников. Подошел к окну. Молвил, помолчав.

— Где, ты говоришь, был твой монастырь? За той горой? Странно, я ничего не вижу! Только свет! Он застилает мне глаза. Откуда столько света?! — он отвернулся от окна. —

Как, ты говоришь, тебя зовут?

— Евфросинья, царь. В миру меня звали Феодулией.



— Ты чем-то мне напомнила мою мать, Феодулия. Не видом, нет. Она старая татарка. А ты, может быть, не так уж и стара. Просто жизнь, полная лишений, изменила тебя. Она еще жива, моя мать. Она тоже ругала меня. Есть что-то в вас схожее в неумолимой суровости взгляда, бесстрашии и мудрости речей. Она тоже немного колдунья. Ладно, я отпущу тебя. Ты уйдешь отсюда невредимой, Феодулия. Прощай же. У меня нет времени и не о чем больше беседовать с тобой. Помни, что я сказал: каждому свое в этой жизни, у каждого свое предназначение и своя судьба. А сейчас поди. Эй! Пропустите матку Евфросинью!

* * *

Из-за начавшейся в столице моголов, что стоит посреди безбрежной степи, там, где идол поганый, каменная черепаха, оборотившаяся мордой на Запад, далеко от Каракорума, свары из-за престола, хан Батый не вернулся туда, а основал на берегу Волги, что в древности называлась: Итиль, свое государство со столицей в Сарай-Бату, а вокруг той столицы на многие километры раскинулось становище со своими мечетями и базарами, где от великой тьмы кибиток на повозках подымались в небо бесчисленные дымы, — там жила, бушевала, пьянствовала, совершала бесчисленные набеги на ближние и дальние города и селенья, наводя цепенящий ужас на жителей, лихая Орда.

Хан послал своих наместников-баскаков с войском по деревням и селам пересчитать покоренный народ и обложить тяжелыми даями. Князья же русские могли править в своих наделах, только получив «ярлык», разрешение хана на княжение, за этим ярлыком ездили в Орду и жили там порой подолгу, дожидаясь ханской милости и не зная своей судьбы: удастся ли вернуться живым, и нередко были коварно побиваемы, погибая от кривой татарской сабли или от злого зелья. От иных, по прихоти хана, требовали перейти в веру языческую, *поклониться кусту*.

Моголы поклонялись земле и солнцу и луне и звездам и источникам.



По зову ханскому приехал в Орду и князь Михаил черниговский, отец Евфросиньи, со своим воеводой Федором. А жизнь в Орде для русичей была нелегкая, ночевали под телегой, кормились, почитай, одним пшеном. Так продержал их хан четыре седмицы, после чего, призвал к себе и, будучи не в расположении, повелел им под страхом злой гибели тотчас перенять веру языческую. Князь Михаил к тому времени сильно ослаб телом и душою и плакал, и некому было поддержать его дух. Еще говорят, что перед самой кончиной получил он письмо от дочери, и в том письме она умоляла его укрепиться душою и не предавать родной веры и напоминала о подвигах святых угодников, дабы придать ему силы и мужества принять венец мученический.

Государь ты мой батюшка, родной и единственный. А исчо читала я книжняя премудрости что в земле фараоновой поклонялися немысленным идолам. За то наказал их Господь, наслав тму ночную. Постигла же азъ тцету и суету мирских деяний. Плюнь же, родимый ты, плюнь в рожу поганыи да зделай как они велят, поклонися идолам ихним, бо земля от этого не перекрутица и звезды не погаснуть. И отпустит тебя хан живым и здоровым и возвернешься к себе а то приезжай ты ко мне в звездный град Суждаль, приютим туточки тебя старинушку на закате дней твоих. Писала сие дщерь твоя единственная Дуня а по здешнему Евфросинья Ризоположенского монастыря первая старица.

Получив то послание и ночь прорыдав, поутру князь Михаил и вместе с боярином Федором явились к зловердному хану и без страха объявили о своем несогласии расстаться с верой отцов.

— Не поклонимся, и вас, думающих только о славе света этого, — так сказали, — не слушаем.

И немысленные слуги, волю царёву исполняя, истинных праведников мучиши и ножи убиши, а тела их, отрезавши головы, бросили псам на съедение. Было это лета 6753-го, месяца сентября в 20-й день. (7)

Так умирали те, кто родились свободными и помнили Русь веселую и обильную, сказочную, с песнями и плясками, с лешими и лелями. Ну, а новые молодые знали о той прежней жизни только по рас-



сказам, родившись под игом, под черной тучей, застившей солнце, и не знали жизни иной.

Моголы потом ушли из русского улуса дальше на запад, огненная их гроза уже бушевала за пределами Руси, но после опять вернулись, когда вскорости нечестивый хан Батый был убит в далекой земле *от краля угорского*.

В эту тяжелую пору выделились особенные люди. Как путник, бредущий во мраке, идет на мелькнувший вдали слабый огонек, так они шли на человеческую боль. Это были люди-утешители, их голо-сов не бывает слышно в благополучные и счастливые, мирные годы, но они откликаются, когда люди нуждаются в их помощи, в укреплении духа, мудром слове и утешении. А беды на Русь сыпались, как из ведра: мор, землетрясения, набеги...

В эту тяжелую пору пошла по всей Владимирской земле молва о Преподобной Евфросинье, настоятельнице Ризоположенского монастыря, обладавшей особенным даром помогать страждущим и исцелять людские души. И шли к ней из всех мест жены посадские и боярыни. Иные оставались в обители.

«Как она посмотрела! Каким взглядом на меня. Молоденькая, красивенькая. И я была такая... Нет, не такая. Не такие они, теперешние молодые, какие мы были. Нам от рождения всё было дано, знатности и богатство. И мы с легкостью и без печали от всего от этого отказывались, как от лишнего бремени. И в том находили радость и утешение. А теперешние молодые живут одним днем и жизни другой не знают, как под страхом, как под игом! Жалко их. От рожденья бо лишены всего, что мы имели, и не чувствуют они несвободы своей, привыкли, другого не знают, в чем ужас-то весь! Живут одним днем, желая получить хоть капельку блага и радости, да разве осудишь их?! А я ей говорю:

— А ты, доченька, к нам в обитель не хочешь ли? Как другие сестры, черноризицей?

А она ка-а-ак на меня глазками зыркнула да губами дернула:

— Нет!!

И отшатнулась. И посмотрела на меня... как на чучело. Молоденькая, красивенькая, жалко. И чегой-то так она посмотрела? Али



я так уж стала страшна? И когда же, Феодулия, ты в последний раз глядела-то на себя? Ась? Вот уже и не помню. А не поглядеться ли сей же час?»

Пошла, задумавшись, по двору и за ворота, по тропке к речке Каменке, той, что *вытекла с полудня в полночь из-под камня*. Постояла на берегу, раздышавшись весенним воздушком. А уже сквозь потемневший, подтаявший снег земля везде проглядывает, ручьи бегут. Постояв так, пригнулась к воде, погляделась в темное ее зеркало. Выпрямилась.

— Ай-яй-яй, Феодулия... Ай-яй-яй, Феодулия. И что же это с тобою сделалось?! Будто и не так уж много времени прошло... А оно, времечко, быстро летит! Страсти посмотреть, какая я стала. А была молоденькая, красивенькая. Теперь-то знаю, отчего так она посмотрела. Как на чучело.

Вот и жизнь твоя вся прошла, Феодулия. Жалеешь ли о чем, что было не так? А не лучше ли, коли бы иначе? Да иначе как же это? У каждого своя судьба... свое предназначение... Каждому своё... Это не ты сейчас сказала, Феодулия, эти слова. А кто же? А, ну да. Это сказал злоречивый хан Батый, тот, что вскорости был убит *от краля угорского*.

А о чем мне жалеть? Меня любили... И я любила... Я была очень счастлива. Я всю жизнь была счастлива. Говорят люди, что о тебе, Евфросинья, бродят по Руси легенды. А вот посмотрелась я на себя таперича и вижу, что при тех при легендах я сама уже... никому не нужна.

И матушка игуменья, вон, кивает мне и улыбается, Господи, вот и разлюбезный мой Миня манит к себе: пора, мол...

Да, Феодулия. Скоро ты умрешь, Феодулия. Скоро ты умрешь... старая ведьма!

И, недолго поболевав, Преподобная отошла в жизнь вечную, приказав всем долго жить. А перед самой перед смертью привиделось ей прежде никогда не виданное ***море окиян, синяя волна***.





Но — не приехала ни в этом марте и ни в следующем, ни в последующем. А через несколько лет, окончив курсы, работала внештатным экскурсоводом в бюро путешествий и как-то, идя по центральной улице Владимира, подумала: «Вот до чего хорошо я теперь живу! Вчера в Москве была, а сейчас вот во Владимире, а завтра в Суздале, и никаких проблем!»

Но совсем без проблем не обошлось. А начиналось всё в промозглые осенние сумерки с дождем и холодным ветром. Геля собиралась на первое занятие на вечерних курсах. Он за пишущей машинкой строчил что-то, не оборачиваясь, подчеркнуто не обращая внимания на ее сборы.

Разговор короткий был немногим раньше:

— Ты не будешь против? Если я на эти курсы пойду?

— Если я скажу, что буду против, ты ведь всё равно пойдешь?

Молчание. (Вопрос! Конечно, пойду).

Да только ли муж, вся семья, родственнички на дыбки встали, хотя им-то что за забота?! «Зачем тебе это?! Есть специальность, работа, даже какие-то там еще занятия, увлечения (отвлекающие от кухни), ну и хватит!»

Попробуй объяснить, втолковать им, что просто любишь **дорогу**. **И камни**. Старые камни, которые столько всего видели и слышали! Попробуй серьезным, взрослым людям объяснить, что с ума сходишь от старых камней, от мучительного порой желания проникнуть в минувшее, *вспомнить прошлое, тихие голоса и смех ночью у зажженного костра услышать!..*

Тихо шмыгала, как мышка, поглядывала на его спину в толстовяном свитере. В маленькой комнате Олька делала уроки. Точно зна-



ла: если сдастся сегодня, не пойдет сейчас, через пятнадцать минут, останется дома, то о затее этой своей с экскурсиями по Владимирке можно будет напрочь забыть.

А как, в самом деле, просто и хорошо было бы остаться! Она даже обрадовалась этой мысли. Не тащиться невесть куда в промозглую стынь, не возвращаться поздно, ожидая на остановке долгий автобус... Дома так тепло и уютно. И он будет рад. Виду не покажет. Обернется неторопливо, с озабоченным видом потреплет ее по плечу, скажет:

— Поставь чаю.

И они будут пить чай на кухне, и он в хорошем настроении будет ей читать из Салтыкова-Щедрина свое любимое... Проще надо жить, проще, легче, правильно люди говорят!

Неожиданно подумала о себе: «Артистка!»

Застегнула пальто, поправила перед зеркалом шляпку. Женщина вносила возмущение в домашний уют, уходя из дому в сырую вечернюю тьму. Обернулась на серую вязаную спину. Гора окурков в пепельнице. Скомканые, брошенные на пол листы. Пискнула тоненьким голоском, страдальчески заломив высокие брови:

— Юрочка, я пошла!

«Артистка!» — подумал он, но ничего не сказал и не обернулся.

День первый. ВЛАДИМИР

Следы прошлого нас окружают. На месте любой современной магистрали, обтекаемой днем и ночью потоками автомобилей, когда-то пролегал большой торговый путь, по которому шли конные и пешие, горожане, селяне и купцы, русские и иноземные, а во время войны князь выводил свою рать на борьбу с врагом. А сейчас за поворотом у нас откроется вид на уникальное сооружение военно-инженерного искусства, владимирские Золотые ворота. Эти стены многое видели...

По крутой, узкой лестнице с высоченными ступенями вслед за группой и местным экскурсоводом поднялась в надвратную церковь, где на стене вырезанная ножом надпись: *Гюргичь* — в память



об убитом воинами хана перед городскими воротами на глазах у его братьев молодом князе Владимире Юрьевиче.

Вспыхнула широкая диарама, и ожили картины разорения, силуэты церквей в огне. Геля, видевшая всё это множество раз, встала позади всех. Чем-то группа ее заинтересовала. Ближе всех к ней стояла пожилая, с выпитым жизнью лицом, в ситцевом застиранном халатике, который напялила поверх юбки и кофты. Старший в синей куртке, подняв голову и широко раскрыв глаза, словно впитывал всё, раскрывшуюся картину и то, что говорила экскурсовод. Какая, однако, посадка головы, держится свободно, ловко, словно и не мурщик какой-нибудь, а... бывший граф! А, может, так оно и есть... Рядом с ним этот патлатый, расхристаный, Саня. А вон та молодлица в цветастом платке на плечах, с высокой грудью и русыми волосами, какое миловидное лицо, тип рязанский или вологодский? А высокая, с пышной, темной гривой, которая всё время вертится и хохочет шуткам своего кавалера, — та вообще не пошла.

А сейчас перед вами уникальный памятник древности, владимирский Успенский собор XII-го века. Он был построен в княжение сына Юрия Долгорукого, князя Андрея, прозванного Боголюбским. Мы сейчас с вами выйдем из автобуса и познакомимся с интерьером собора. Там идет реставрация гениальных фресок Андрея Рублева, — отведя в сторону микрофон, водителю. — Так. Здесь, у «кирпича», направо, у нас есть разрешение, у колонки останись. Там будешь ждать.

Несколько лет назад, когда только открыли Успенский собор после реставрации зимой с Любой Репниковой поздним уже вечером, закончив работу с группами, после ужина побежали. Морозный воздух обжигал свежестью, было к ночи градусов под тридцать. В черном небе грозно и ярко сверкали огромные, мохнатые звезды. На улицах — ни души, а на паперти и в храме народу полно, праздник Крещения. Старухи в темных одеждах тянулись к иконам поставить свечечку. Из боковой двери рядом с алтарем быстро и деловито выходили, размахивая кадилами, молодые попы в золотой парче. Между двумя тесными толпами молящихся тяжело поворачивался в богатых одеждах главный иерей, острыми лучиками сверкали алмазы на высокой шапке.



Полумрак, тусклые огни свечей, темные, согнутые спины, запахах ладана, пенье... Начало темной истории московских царей...

Геля купила три тоненькие красные свечечки: Ольке, себе и ему, в варежку запахнула: домой привезу.

Дома, вернувшись, едва порог переступив, рассказывала взახлеб: ночь! Мороз! Звезды! Светлый силуэт собора, словно плавающий в сливово-черном небе!

Он сидел за машинкой, словно и не вставал. Серый свитер. Гора окурков в пепельнице, смятые листы. Закричал раздраженно:

— Мне это не интересно!

«Ну и дура! — выговаривала себе на кухне, быстренько готовя ужин. — Нет, чтобы накормить мужика, лезет со своими впечатлениями! Помалкивала бы в тряпочку. Отпускает, и скажи спасибо».

Около Успенского собора плохо стало девочке, она выходила вместе со всеми из церкви и вдруг начала падать, заваливаться на руки матери. Девочке лет десять, с белым личиком, ухоженная, в яркой курточке. Черные полукружия сомкнутых ресниц. Около них тотчас собралась у ступеней храма небольшая толпа сочувствующих.

— Сердечница?

— Лекарство дать?

— Конечно, душно в церкви. Больная девочка-то?

— Да нет, — отвечала мать, удерживая дочку на руках, но, казалось, не проявляя особенного беспокойства, а только поглядывая смущенно на собравшихся, — она была здорова.

— Может, Скорую вызвать?

— В больницу?

— Да не надо, — отозвался неожиданно гражданин, стоявший в толпе, как зритель, оказавшийся отцом, — у нас своя машина.

Как-то странно всё это выглядело. Девочка всё еще лежала на руках у матери, а родители не суетились, мешкали и не несли ее в «свою» машину, выглядели нерешительно и смущенно. Это поневоле рождало какие-то неопределенные предположения... И ругалась сквозь зубы стоявшая в сторонке экскурсовод, высокая, статная, с красиво вьющимися каштановыми волосами:

— Дикари какие-то!

Геля подошла сзади, погладила по плечу.



— Здравствуй, родная.

— Ой! Ты! Милая! Куда едешь?!

— В Гусь.

Взвизгнула, захлопала в ладоши.

— Ой, как славно! И я тоже! Поговорим, погуляем! У тебя какая группа?

— Мусорщики. Не смейся. Служба благоустройства улиц. Нет, они интересуются, спрашивают. И еще три художника. А у тебя?

— Не лучше. Овощная база. Уже с утра тепленькие. Кричат водителю: «Шеф, притормози, а то расплещем!» Помидорами вот такими закусывают. Меня грушами закармлили. Вон, вон они!

— Интеллектуалки, — задумчиво протянула Геля, проводив взглядом стайку девиц, и, немного подумав, добавила из лексики мужа, — твою мать.

Маша Бычкова затряслась в беззвучном смехе.

— Вечером погуляем?

— Конечно. Если ты не будешь занята...

— Чем это я буду занята?.. Ах, ты об этом! Нет, там всё кончено.

— Извини, — озадаченно отозвалась Геля, — я не знала.

— Я так сама решила. С меня хватит. Он, собственно, еще тоже не знает... Я ему позвонила из Москвы, что приеду. А он сказал, что намечается выставка стекла здесь, во Владимире, и он должен на ней быть...

— Так он здесь, во Владимире?

— Не знаю. Меня это теперь не интересует. Правда. Я же говорю, я решила порвать! Да у нас, собственно, и не было ничего серьезного. Так, романтика. Я подумала: сколько можно трепать друг другу нервы?!

Геля озадаченно молчала, глядя на заклызьменные дали. Подумала, что, в принципе, трепать друг другу нервы можно долго. А вслух спросила.

— Может, тебе всё-таки позвонить ему? В студию? Творческая личность, надо быть снисходительнее.

— Надоели мне творческие личности, — отозвалась Маша. — Я звонила. Никто не берет трубку.

— Если он еще ничего не знает, ты ему не сказала, что хочешь порвать, то, может быть, пока и не говорить ничего? — развивала Геля



еще не вполне ясную ей самой мысль. — Ты так решила и веди себя, как будто вы уже расстались... Посмотришь, как онотреагирует. Тебе ведь теперь всё равно, раз ты решила? Зачем вылезать с инициативой? Это и не женское дело. Пусть сам поймет...

Во время этой вдохновенно, экспромтом рождающейся в ее голове тирады, всё еще глядя на заклызьменные дали, почувствовала Геля, что Маша, не перебивая, прислушивается всё внимательнее и потихоньку поворачивается к ней, так что когда она закончила, та уже смотрела ей в лицо золотисто-кариими глазами.

— Так ты думаешь, не надо сразу рвать? — переспросила, и голос зазвучал почти радостно.

— Конечно! — подхватила. — Если ты будешь так себя вести с ним, он сам почувствует, и посмотришь его реакцию.

— Какая ты умница! — взвизгнула Маша.

— Вообще-то нет. Советы давать легко, а когда тебя самой коснется, такого навывтворяешь...

— Ты прелесть!

— ...такого наколбасишь.

— Значит, ты считаешь, пока ничего не надо ему говорить? — уточнила.

— Конечно! Зачем? Это никогда не поздно.

— Спасибо тебе, правда. Я побегу, вон мои пришли. Вечером увидимся.

— К Покрова пойдете?! — вдогонку крикнула.

— Не знаю! Вряд ли. Зачем им?

Геля побрела к своему автобусу. Николай Иваныч на водительском месте читал газету. Его дама ушла вместе с группой в интерьер смотреть фрески Рублева. Геля села на свое место, зевнула.

— Не выспалась?

— В пять часов. И без будильника, спала плохо.

— А в три не хочешь?

— Зачем так рано?

— То да сё. Вот и за ней надо было заехать, — кивнул назад, на пустое сиденье.



Группа вышла из собора, разбрелась по площади. Художник в серой блузе подошел и, поставив одну ногу на подножку, отведя руку с сигаретой, заговорил неожиданно агрессивно.

— Нет, вы мне вот что скажите! Вот мы сейчас всем этим любуемся, умиляемся, реставрируем. А где же была наша национальная гордость, когда всё это разрушалось варварски!? И не надо говорить о командах свыше! Делали-то всё это своими руками простые русские люди! Вот вы что мне скажите!

Геля облокотилась о барьер, положила подбородок на руки, серые глаза заискрились мягкой улыбкой.

— Объяснение, пожалуй, есть. А оправдания, пожалуй, нет. Но это же, в общем, вы и сами знаете, не единственный в истории случай варварства. Ну да, сами русские люди своими руками погубили Россию, прекрасную страну с многовековой историей. Помните фразу Герцена, что России суждено дать миру «страшный урок»? Так у него в «Былом и думам» сказано, именно: «страшный», а не «важный», как потом переиначили. Пришла к власти, — извините за резкое слово, — чернь. И властители с изуверской методичностью уничтожали элиту, целый пласт людей, у которых были знания, талант! Необычайный подъем русской культуры, вы же знаете: великолепный Серебряный век! — имена... — И, что не менее страшно, были вытравлены из людских душ честь и сознание собственного достоинства, и что получилось? Вывели новый ген советского человека. Отсутствие собственного достоинства — национальная черта. Но вот что я еще сказала бы. Действительно, мы сейчас всё это, традиции, восстанавливаем, умиляемся, восхищаемся. Иконки, свечки, колокольные звоны... *(темные, согнутые спины, запах ладана. пенье...)* Да, это наша история, и в этом бесконечное обаяние всех этих традиций. Но это сейчас, когда всё это как бы вне закона. А представьте себе то время, когда церковь была властной, темной силой!.. Вы когда-нибудь слышали, — вспомнив что-то, — колокольный звон, «живой» не записанный на магнитофон?

Прежде, чем поняла — **что** это, — охватило невидимой волной, мягко толкнуло в спину, окатило, оглушило, и она невольно оставалась, как вкопанная, на центральной улице Владимира. Глухой, мощный, дробный звук, пронизывающий, подавляющий чувства,



стелился по-над землей. Посмотрела на часы: пять. К вечерней звонят. Постояв немного, медленно пошла на этот звук, словно подхваченная невидимым вихрем, подчиняясь ему. Это был не тот выхолощенный, сусальный, технически совершенно исполненный и записанный на магнитофонную ленту звон, но и не тот мелодичный, нежно-печальный, рассыпающийся серебром в воздухе, которым так мастерски владеет знаменитый звонарь Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале Юрий Юрьевич Юрьев, а неведомо как сохранившийся, пришедший из старинных времен, живой, полнокровный звон, и было непонятно, в чем его властная сила! В дробной ли частоте мерно, тяжело падающих вздохов, в тоне ли их, таящем неведомую угрозу? И, послушные зову Божией Матери Владимирской черными ручейками по обитому зеленым бархатом пригоруку потекли люди...

— У меня от бабушки, — помолчав, продолжала, — остались иконы. Я однажды повесила на стенку одну, Божью Матерь Казанскую. Как картину. Но скоро сняла. Странное было чувство, она словно мешала мне, угнетала... Она словно следила за мной. Темное какое-то исходило от нее словно дыханье... И вообще ее нельзя было так просто на стенку вешать... А я потом подумала, что это отраженная, намоленная энергия стольких обращенных к ней вер и слез и страданий оживила ее! Я хочу сказать, может быть, отчасти у тех, кто разрушали это, старину, был как бы протест против этой властной, угнетающей силы?

— Ну, не знаю, не знаю. Можно бы поспорить с вами... Ах, простите!

Сбоку подходили дамы-художницы, неся в вытянутых руках, в осеребренных перстнях пальцев, крестики, иконки.

— Посмотрите. Виталий, какая прелесть!

— Чего он к тебе всё пристаёт? — спросил Николай Иваныч, когда художник отошел, — чего ему от тебя надо?

Геля откинулась на спинку сиденья, надвинула на лоб беретку.

— Я бы сказала, чего ему надо, — отозвалась, без труда переходя на дорожный сленг.

— А ты скажи, — посоветовал водитель, — облегчи душу. Можешь по-иностранному, мы пойдем.



Заморосил мелкий, сопровождавший все три последующих дня их поездку, частый дождик. Группа собралась в автобусе. Пора было ехать. Владимирский экскурсовод нетерпеливо поглядывала на водителя. А Николай Иванович сидел, облокотившись на руль, и твердым взглядом, не отрываясь, наблюдал за тем, как буксовал по размокшей колее, перегораживая им дорогу, владимирский автобус, «короткая Наташка».

— Такая погода, — примирительно заметила Геля, покосившись туда.

Водитель только хмыкнул, а, когда владимирец, наконец, уехал, — лихо, за один присест, развернулся и победно оглянулся на Гелю.

— Ты все поняла? Дело было не в бобине, знаешь, как говорят?

— Просто нехороший человек сидел в кабине.

— С тобой неинтересно, — заключил водитель, — ты всё знаешь.

Старый Владимир, так говорили, начинался тюрьмой и кладбищем и кончался тюрьмой и кладбищем. Вот сейчас мы проезжаем мимо одной из самых мрачных российских тюрем, это бывший владимирский централ...

Голос из группы.

— А сейчас здесь что?

Решетки на окнах. Голос Сани, ехидно.

— Бани.

— А вот здесь, — продолжала, проигнорировав этот небольшой обмен репликами, экскурсовод, — когда-то стояли Серебряные ворота.

Серебряные ворота... Золотые... были и Медные. Русь, веселая и страшная сказка. Вспомнилось однажды увиденное в музее деревянной резьбы в Коломенском: на резной надвратной доске — *два льва с длинными локонами и усами и очами в раскидистых ресницах, поднявши лапу и замерев в прыжке навстречу друг другу, оборотив к глядевшему полужверины, полуженские лики, улыбались весело и страшно!*

Ансамбль Боголюбовского монастыря неизменно оставлял странное, мрачноватое впечатление. Тесно громоздящиеся купола, серые камни над сохранившейся старинной кладкой в том месте, где заго-



ворщики нашли и убили истекающего кровью Андрея. Всё кажется, что здесь свершится злему делу...

— К Покрова пойдут, не знаете? — спросила владимирский экскурсовод у Гели.

Поделилась: у нее сегодня еще много работы. Будет группа иностранцев. Видно было, что ей не хочется топтать полтора километра по лугу. Геля покосилась на высокие каблуки, пожалала плечами.

Художницы раскричались: «Только ради этого ехали!»

Автобус подрулил и остановился у железнодорожного переезда. Водитель Толя ушел на заднее сиденье и растянулся за занавеской. Николай Иваныч с подругой отправились в село, должно быть, в магазин. Владимирский экскурсовод, не оборачиваясь, пошла по тропке, за ней вся группа, растянувшись на раздолье, к видневшейся за лугом маленькой белой церковке.

О, Покров на Нерли, жемчужина белокаменного зодчества!

Геля шла позади всех. Пожилая, в ситцевом халатике, тихо вздохнула:

— Хорошо-то как!

— В теплую погоду здесь даже босиком ходят, — сказала Геля. — И цветы растут на лугу весной, большие, желтые.

К ней подошел этот патлатый, расхристанный, Саня.

— Премудрая дева, вы всё знаете. А я запутался в этих богоматерях. Тут говорят: Владимирская, Боголюбовская. А вы по дороге рассказывали... позабыл.

— Казанская, — Геля улыбнулась. — Не надо путаться. Есть шесть канонизированных изображений Богоматери. *Умиление, Оранта*... А еще есть иконы, приуроченные к праздникам: Казанская, в честь взятия Казани, перед Донской молился Дмитрий Донской накануне Куликовской битвы. С этой точки зрения говорят, что в совокупности иконы описывают события русской истории.

— Откуда вы всё это знаете, премудрая дева? Учились?

Похвастался: он тоже образованный. Достал из кармана маевский значок с самолетиком. Да нет, не доучился. А значок у приятеля взял. Он всё равно не носит.

Геля слушала рассеянно, улыбаясь любезной, «маршрутной» улыбкой. Поглядывала на идущую впереди парочку. Та, с длинными, распущенными темной, пышной гривой волосами, обращала на себя внимание, громко хохотала словам своего спутника, всё время вер-



телась, мелькал бледный, исчезающий профиль... Встречные прохожие оглядывались, иные неодобрительно качали головами.

Рязанская молодуха в цветастом платке на краю небольшого, перерезавшего дорогу овражка разбежалась:

— Держите меня, держите! Да не вы, а вон тот брюнет!

Когда дошли до церковки и собрались в кружок около экскурсовода, Геля встала напротив этой гривастой, пытаясь разглядеть ее лицо, неуловимое и мелькавшее, но отчего-то не удавалось. Кажется, красивая.

Церковь Покрова на Нерли была поставлена князем Андреем на оживленном водном пути, она являлась как бы воротами, позволяющими контролировать движение по Клязьме и притокам. Не так-то уж Андрей Боголюбский был сентиментален...

«Откуда ты знаешь?!» — мысленно прикрикнула Геля.

На обратном пути по лугу дождь перестал, небо посветлело и стало выше. Похолодало. Солнце сквозь плотные серые тучи проглядывало наподобие маленькой, ослепительно сиявшей бляшки. («Так было в тот день, когда казнили Федора!»).

Судьбы незагаданные, ушедшие, людские, вы не дадите мне покою!

Когда вернулись, Николай Иваныч уже на своем месте сидел, Геля заняла свой пост около автобуса, поджидая растянувшуюся по тропе группу. К ней подошли художницы с выражением застывшего экстаза на лицах.

— Ангелина Аркадьевна! Мы что, уже уезжаем?!

— Да. На сегодня экскурсионная программа у нас закончена, мы сейчас едем в Гусь Хрустальный, там у нас обед и расселение в гостинице «Мещерские зори», а завтра...

— А нельзя остаться здесь?! — хором.

— Как?? — Геля опешила.

Тетя не понимает, что спрашивает.

— Ну поменять программу, гостиницу... Что там делать, в этом Гусе?! А здесь «галопом по Европам»! — хором.

— К сожалению, это никак невозможно, — пряча улыбку. — Маршрут утвержден до мелочей: проживание, питание. Я вот что



могу вам посоветовать: приезжайте сюда еще раз с другой экскурсией. У нас есть такая: «Чистый Суздаль», два с половиной дня только в Суздале.

Они были недовольны.

— У нас всегда всё нельзя!

Отошли, тихонько бурча. Николай Иваныч проводил их задумчивым взглядом.

— Была бы моя, — сказал тихо, с мечтательной ненавистью, — она бы у меня повертелась!

И снова сердце города, Соборная площадь. В последний раз на повороте мелькнуло золото куполов Успенского собора, белокаменная резьба Дмитриевского. Провожая взглядом, пока был виден, сморгнула невольную влагу с ресниц. Подумала удивленно: «Сколько уже езжу, а все не привыкла. Не насмотрелась».

И, как не раз уже бывало с ней, вдруг глухой и далекий, отдельный от нее голос неслышно произнес:

«Красота моя неопишная...»

Красота моя неопишная...»

А скажи мне...

А скажи мне...

А скажи мне...





Я З Ы Ч Н И Ц А

— **А** скажи мне, премудрая дева, правду ли говорят люди, что тебе ведомо и будущее, и прошедшее?

— Люди не лгут; но и не всю правду скажут, княже.

— А скажи мне, ежели спрошу тебя, как будешь мне гадать, по блюдечку али по руке, по ее затейливым линиям, как умеют хироманты?

— Спрашивай, княже. А на этот твой вопрос мне ответить мудрено.

— А скажи мне, премудрая дева, будет ли мне в жизни исполнение моей мечты, чего я желаю более богатства и почестей и злата и славы и ласк любимой жены?

Она помолчала, не переставая прясть. Не подымая очей, так отвечала:

— Вот что скажу тебе. Ведомо мне, что не сегодня и не завтра, но сбудется мечта твоя, чего желаешь так сильно. Да не мечем булатным; ни хитростию; ни силою; а одним лишь промыслом божиим сбудется...

Он заерзал, шумно вздохнул.

— Да много ли радости, много ли славы тебе будет в том? — продолжала неумолимо. — Знай, что скоро ты умрешь, как исполнится твоё заветное желание!

Недолгая тишина повисла в маленькой светлице, напоенной запахом трав.



— Да знаешь ли ты, — спросил, грозно сдвинув брови, — с кем говоришь, кто перед тобою сидит?!

— Как не знать. Ты князь суждальский Гюрги али еще Дюрги, так тебя кличут людишки в Суздале, сын и наследник Мономах.

Часть 1. КНЯЗЬ И ВАССАЛ

Аще ли убьет осподарь челядина своего, несть ему душегубства, но вина его есть от Бога.

(«Правда русская», «Правосудие митрополичь»)

1.

Суздальский князь Юрий Владимирович с юных лет, с тех самых пор, как двенадцатилетним отроком отослан был из Киева своим отцом Владимиром Мономахом править Белою Русью, имел заветную мечту: вернуться в Киев, на свою родину. И не как-нибудь, а беспременно на белом иноходце с алмазной сбруей, дабы воссесть на великокняжеском столе. Несмотря на то, что в те времена уже много народу перебежало, переселялось из Южной Руси, разоряемой не одно столетие ордами кочевников, сюда, в защищенную лесами и реками, богатую зверем и птицей и бобровыми ловами Русь Белую, Русь Залесскую, — сам Юрий этой земли так и не полюбил.

Уже не раз и не два пытался он силою отобрать, отвоевать великое княжение у сидевшего в Киеве своего племянника, светлоробородого Изяслава. В этом деле у него были союзники, два его свата, черниговский князь Святослав Ольгович, брат которого сейчас сидел в сыром порубе в Киеве, в плену у Изяслава, и хитроумный Владимирко Галицкий.

Той осенью снова об этом деле они стоваривались, сидя за хлебо-сольным столом у князя Юрия в Суздале, и алогубый чашник Петр с глазами, обведенными синевой, то и дело подливал им зеленого вина в чары.

Было еще не поздно, но темно из-за ненастья в просторной трапезной, где три дня и три ночи пировали князья; ярко горели лучины в светцах, тускло блестело тяжелое золото перстней на трясущихся руках сильно захмелевшего Ольговича. Юрий мрачен сидел. Вдруг



кулаком об стол шарахнул со всей силы, вскричав с налитыми вином и кровью глазами:

— Изяславу Киевом владети не дам!!

Вышли во двор проветриться. Там дождь только что перестал, и выскочившее из-за туч солнце заплясало в лужах, сверкнуло на остриях длинных, составленных у забора пик. Молодые дружинники, собравшиеся на дворе у князя, громкими криками приветствовали их, изъявляя решимость двинуться хоть сейчас, пусть и до зимы недалеко, в поход против Изяслава. Откуда ни возьмись, над головами озорников взвилось соломенное чучело на шесте с болтающейся мочалой вместо бороды, которое должно было изображать киевского князя. Находившийся тут же во дворе тысяцкий Степан Кучко, давний, верный слуга Юрия, пытался остудить их задор. Он негромко, но властно приказал им разойтись вон с княжеска двора да обернуть лучше после дождя пики, чтобы не заржавели. Но Юрий ему возразил, молвив:

— Постой, боярин! Не спеши. Не к месту гневливы твои речи. Дружина пока пусть останется здесь. А надумал я счас послать ребят в провочатые свату своему князю Ольговичу. Да дабы он, сильно пьян, да не сверзился бы с коня и не достался легкой добычей ворогу моему Изяславу. Довольно уже того, что один Ольгович у него сидит в сыром порубе! А пошлю-ка я с вами, детушки, своего сына. Да которого же послать? — раздумался. — Ростислава, того не доищешься, где-нибудь счас пьян сидит у чужой жены; Андрей мне самому нужен; Борис и Глеб, те малолетки. Так и быть, детушки! Пошлю с вами Ивана! Собирайтесь, Господь с вами. Да не спешите ворочаться, погуляйте на Смоленщине, потешьте силу молодецкую да пограбьте села Изяславовы, а что ни добудете добра, что у тех смолян у их жен на шеях и в ушах, то всё ваше!

Громкий, восторженный гомон покрыл эти слова Юрия.

— А мы тем временем, — продолжал, — как со сватами приговорили, соберемся да сразу с трех сторон и ударим!

Однако исполнению воинственных замыслов не суждено было сбыться так скоро, как порешили в тот ненастный день в Суздале князья, соседи и союзники. И у всех на то были свои причины. Хитроумный Владимирко к зиме призадумался. Боязливый и осто-



рожный Святослав Ольгович пригорюнился. А Юрий-то что ж, начальник делу?

Он как-то поехал поохотиться, выбрав на этот раз местом заповедный бор далече от Суздаля, что на склоне большого холма, спускавшегося к речке со странным именем: Москва. А у самого в голове одно: вспомнил пышные великокняжеские ловы в Тисменице под Киевом и расстроился. От зависти да от досады в раж вошел и сам преследовал лося, как по завету отца: *«Не щадя живота, не блюдя головы своя»**, и далеко позади оставил непроторную дружину. Но зверь ушел от него. Призывный рог, украшенный серебром, князь потерял в пылу погони. И, не считая достойным криком обозначить свое присутствие, долго по лесу бродил с конем, злясь и бранясь, пока не вышел на окруженную с трех сторон лесом большую поляну.

Боярский дом, как маленькая крепостца, стоял посреди поляны, окруженный заросшим рвом и деревянной стеной, и, пока шел туда, ведя под узцы коня, край шитого серебром и жемчугом плаща волооча по высокой траве, усеянной облачками мелких, белых цветов, издающих пряный, сладкий запах, — вглядывался сперва рассеянно, а потом все пристальнее, в резной узор на верху ворот, ведущих в усадьбу.

Там среди невиданных вьющихся растений и птиц с человеческими головами — два льва, застывших в прыжке навстречу друг другу, подняв лапу и обернув к глядевшему полужвериные-полуженские лики с длинными локонами и усами и очами в раскидистых ресницах, улыбались весело и страшно!

Дюрги, так звали князя в Суздале, переименовав Гюрги, как в старину произносили нередко имя Юрий или Георгий, стоял и смотрел, свесив длинный нос, и по мрачному его взгляду нельзя было догадаться, что при виде сих искусно вырезанных чудищ в душе пятидесятишестилетнего мужа разыгралась радость языческая, какая бывает от вида встающего из-за реки солнца; преследуемого и поверженного зверя; истекающего кровью врага.

День клонился к вечеру. Солнце, освещая край неба лимонно-желтым светом, готовилось вот-вот опуститься за черный часток елей на большом холме. Где-то за рекой, не поймешь, далеко или близко, по прозрачному воздуху, по-над серой гладью песня свободно неслась. Из ворот с деревянными львами выбежала девица с чер-



ной косой, увидев Юрия, глаза ее внезапно и дико сверкнули, она метнулась и застыла, прислонясь к резному столбу.

Следом за ней сама боярыня, он тотчас узнал ее, это была жена тысяцкого Степана Кучко (так вот куда он забрел!), вышла на крыльцо встретить нежданного гостя, — не такая уже молодая и нельзя сказать, чтобы красивая женщина с живыми черными глазами и темно-золотистым телом, в цветастой шелковой кофте. Она его привечала и проводила в дом, потчевала и напоила хмельного. Князь позабыл и об охоте, и о дружине, безуспешно искавшей его по лесу, и при ярко горевших свечах поздно к ночи долго хохотала чему-то боярыня Кучкова. Сам тысяцкий по его делам был в Суздале.

Вы, может быть, уже догадались, что влюбчивый князь увлекся женой своего тысяцкого. Об этом вскоре затолковали в Суздале, когда зачастил Юрий на московские ловы, а после даже терем для себя велел выстроить по ту сторону большого холма, и боярыня Кучкова по ночам тайной тропой в сопровождении евнуха к нему ходила. Лукавая жонка словно приворожила князя ей известной ворожкой. Только один человек ничего не ведал и не знал, это был сам боярин Кучко. Однако ему глаза открыла княгиня Юрьева. В свое время взятая из Половецкого Стана, дочь хана Аепы, она уже состарилась и много болела. Русские долгие снега и весенние грязи и веселые игрища утомляли ее. Из дому она почти уже не выходила, и суздальские люди, забыв об ее существовании, бывало, пугались, увидя в верхнем окне княжеска терема ее лицо, похожее на белую маску, с выпуклыми серыми очами и седеющими бровями-луками, взлетающими к вискам, хранившее признаки нечеловеческой, нерусской красоты; в нем застыла тоска по молодости и родному Полю.

А боярин Кучко был худой и грустный человек. Он уже несколько лет маялся болями в животе и на двор ходил с кровью.

— Видно жонка твоя, — сказала ему, — секрет какой бабий знает? Ото всех полюбовниц моего мужа отвела! — и засмеялась так, что жутко стало бедняге, и очами совиными так к нему приковалась, будто в самом деле был такой секрет, и он его знал и должен был ей сей час открыть!

Словами этими, нечего говорить, что боярин был смущен и опечален. Служил он князю Юрию верным и преданным слугой с малых



лет, с тех самых пор, когда Юрий сюда послан был отцом своим; так выросли и старились вместе, князь и его неподкупный, не падкий на лесть, порою ворчливый и несговорчивый слуга.

Боярин Степан сразу поверил услышанному, и понятны ему стали намеки и насмешки людей.

Да и как было не поверить старой, косой ведьме!

2.

*Хочет тебя вся Русская земля и весь
Черный Клобук! **

Однако и в объятиях жены тысяцкого Юрий не забывал о своей мечте: владеть Киевом! В одну из ночей, когда были они вдвоем, ему во сне даже привиделось, как он въезжает в лучший в мире город!

Вот из черно-красной мути проступил изгиб знакомой с детства улицы. Он въезжает в Киев со стороны Боричева ввоза, всё выше на гору, всё круче забирает дорога, а впереди уже слышен малиновый звон колоколов святой Софии. Легко его несет белый иноходец с алмазной сбруей... Однако вот это уже и не конь-иноходец под ним, а... лев со смеющейся разинутой пастью! Идут к нему от площади... отец? Или ближний боярин? Несут с поклоном Мономахову шапку с соболем и золотыми дщицами. Юрий берет шапку, подносит к поседевшим, посивевшим кудрям...

Он дернулся, разбудив Кучкову жену, вскочил, забегал босыми ногами по полу, размахивая руками и бормоча несуразное, словно кого-то кляня, должно быть, племянника. Ведь наяву-то не ему, а светлородому Изяславу подносили ту шапку, ему писали жившие берегом Днепра торки и берендеи и сами лукавые кияне:

Хочет тебя

вся Руськая земля

и весь Черный Клобук!

Словно только сейчас вдруг осознал, что жизнь, в сущности, прожита, и мечта, вера всей его жизни может обернуться обманом, не исполнится, не успеет! И вслед за всяким живущим и теми, кто еще будут жить, да воскликнет: «Как быстро, други, и незаметно, в по-



ходах и охотах, пирах и веселиях пролетели дни!» Хотя силы у него еще хоть отбавляй, неистощимой, гульливой силы Мономашичей, но, когда выбегает зимней ночью, надев кафтан потеплее, длинным валенком проваливаясь в снег, один или вдвоем с Афоней, для княжеской тайной забавы, для сладкой и лихой охоты, — в такие ночи в Суздале стоит на верхушке высокой ели месяц-рогач, и молочным сиянием светятся в темноте стены княжеских палат, — то девушки зовут его стариком!

Женщина, присев на постели, следила за ним, бегающим по комнате без штанов, и, недопоняв причину его раздражения, утешала:

— Ну, какой он, в самом деле, стари-и-ик!

Она так ловко повела речи, отвлекая его, переводя на нужное ей дело. Помня всякую минуту, что власть ее над пылким, непостоянным Юрием может окончиться, хитрая жонка давно уже внушала ему вот какую мысль: уговаривала отдать за одного из княжичей, сыновей Юрия, свою дочь, молодую боярышню Улиту Кучковну. Обычно он отговаривался, либо, молча, посмеивался; а тут вдруг спросил:

— Это не ты ли девку с красной лентой, что ко мне тогда выбежала?! Она что ли дочь-то твоя?

(«Углядел-таки!»)

— Ай ты, князюшка мой соколик, желанный да ласковый! Да разве то ли дочь моя, белая лебедушка Улитушка?! То чернавка-девка Олька... очумелая она! А на дворе у нас живет из милости. А ты послушай-ка лучше меня, разлюбезный мой полюбовничек, порадуя сердце материнское! Отдай Улиту, отдай за княжича!

— Да за какого ж отдать? — раздумался, вздохнув. — Ростислав женат. Андрей вдов, да того мать не отдаст, потому беспрременно в жены ему хочет красну девку половецкую. Борис и Глеб те малолетки. Будь по-твоему, Настасьюшка! Отдам дочь твою за Ивана!

Тогда она его к себе позвала и жаркой постельничей любовью напоила и нашептала такого, что лешачьей темной зеленью зашлись глаза у Юрия, разлетелись крутые брови.

Но малиновый звон, мешающийся со звоном мечей, все еще стоял у него в ушах, и ни ласкам, ни медовым речам Кучковой жены уже нельзя было того звона заглушить. И, засыпая, вновь подумал: «Сейчас или никогда!»



И мысли эти его черным клубком перенесли далеко отсюда, понад Днепром, над темной водой, и от неясной тревоги посреди ночи с постели встал светлородый Изяслав. И разлетелись те мысли невидимыми молниями по Руси, повсюду сея смуту и беспокойство, предвещаая раздоры и кровь.

В те дни еще люди замечали много разных несчастливых примет: Видали под Киевом зверей и птиц, ранее не виданных.

В Полоцке по ночам являлись летающие мертвецы и били полочан.

В самом же Киеве было грозное видение:

Видали, как летел с неба огненный круг, после переменился, и в середине его явился змей и продолжился до часу единого... (3)

Ну а Юрий в ту же ночь, едва веки опять сомкнул, то снова, — вот чудо-то! — увидел тот же сон, продолжающийся! Будто он надел Мономахову шапку, и всё вокруг осветилось, площадь перед святой Софией, толпа бояр, приветствующий его народ. Послы его приветствуют. Среди них один чудной такой, кургузый, с оранжевым лицом, в лисьей шапке, и с чудным именем, прежде никогда не слыханным: *Тримыш!* — выступает вперед и говорит гугниво:

«Хочет тебя вся Русская земля и весь Черный Клубок!»

3.

*Пряди моя пряха, пряди не леняся,
я бы рада прядла меня в гости звали*

Стояли русалии недели*. Молодая боярская дочь Улита Кучков-кам, кликала названную сестру свою и не могла нигде найти. Наконец, что-то припомнив, бросилась к заповедному, запретному месту, куда бегать ей строго было заказано, звалось место то «Девичьей заводью». Там, по семейному преданию, много уже лет назад утонула сестра боярина Степана молодая Верхуслава. Там и нашла, обхватила за плечи, горячей щекой прижалась к волосам.

— Оля! Оленька! Меня сватают! За княжича...



— Ой, как славно-то, сестрица Улитушка! Да за какого, их пятеро?!

— Ах, ну ты же знаешь: Ростислав женат. Борис и Глеб — те малолетки. За Ивана.

— Хорош молодец, ничего не скажешь, — дева улыбнулась, покусала сорванную травинку. — Да только ты будто не рада? Не люб тебе? Али секрет от меня какой на сердце держишь? Тотчас говори!

— Ах, да какой секрет. И он, правда, ничего. Но послушай, что скажу, — оглянувшись, зашептала, чуть-чуть задыхаясь и давясь словами, — было со мной такое, словно не сон, а будто явь, и так-то страшно! Разлежалась давеча я на солнышке, разморило, а он будто и идет, руки длинные и словно достать меня ими хочет, а я испугалась и убежать хочу, и крикнуть, и не могу! Проснулась и вся дрожу со страха.

— Да кто же такой-то?!

— Ну, этот... Ражий. Андрей. Вдовый сын князь Юрия. С чего это он мне приснился-то? Я об нем и думать никогда не думала. Неприятный он. На половчанина похож. Боюсь его. Сестрица-ягодка! Что попрошу тебя. Погадай мне. Ты умеешь угадывать, я знаю, сама сказывала. Погадай, к чему это он привиделся-то, что будет со мной?!

Дева помолчала, покусывая травинку. Проговорила, будто нехотя.

— Не проси о том. Не могу.

— Да почему?! Отчего не хочешь? Али я рассердила чем тебя? Кажется, заступалась всегда за тебя, когда матушка гнала со двора или кричала, что ты очумелая! Ну прошу тебя, сестрица, голубушка!

— Прости, ягодка, Улитушка. А вот послушай, — резко обернувшись, глядит ей в глаза и продолжает певучим речитативом, словно подражая в манере кому-то, — глазыньки твои, сестрица, как озерная лазурь, а в них словно омут пеленой покрыт, а на этой пелене, на чистой волне, будто кружится змейкой серебряной неведомая *кружилиха-напасть...*

— Кружилиха-напасть...

Боярская дочь легла на траву.

— Не сердись на меня, сестрица. Только заглядывать туда, за эту пелену, мне не велено, и сказывать тебе твою судьбу не заповедано...

— Но ты сама говорила, что научила тебя разным премудростям твоя бабулечка-наузница, ее тоже звали Ольгою, а только, пока она жива была, к вам в теремок я ходить боялась.



— Ее все боялись. Она знала много, и про сны, и про травы. Она была волхва. У нас в роду что ни мужеска пола младенец родится, то называли: Вольг, а когда женского естества, то Вольгою. А у меня знание само выходит, не знаю, как. Обман еще завсегда вижу. Когда если матушка обманывает боярина Степана. Или когда смеется Петр. А еще, скажу тебе, как было, когда в первый раз забрел к нам суздальский Дюрги на двор, я к воротам выбежала, и что за человек не разглядела, а вижу только, что высок, плечами могуч, взглядом угрюм, нос покривлен, подумала тогда чудно, *что он может убить...* И до сих пор его боюсь.

— Правда, чудно, — молвила дочь боярская, — он в доме никому слова дурного не сказал, — помолчав. — Так про Петра ты, стало быть, знаешь, а про меня — нет?

— Для Петра... я бы всё могла сделать. Была бы его матерью... сестрой... его рабой...

— Женой?

— Нет!

— Почему?

— Петр меня не захочет.

— Да почему?!

— Я — девка чернавка.

— Ну и что? Ты красивенькая. И матушка про тебя сказывала. А ты говорила ли ему? Петру-то?

— Ах, что ты! Как можно?!

— Очень просто. Надо ему сказать. Хочешь, шепну ему про тебя словечко, пока он здесь, не умчался в свой Суздаль? Обнимать белотелых жен боярских?

— Ах, что ты! Нет, нет!

— Чудная ты. Да почему?

— Петр меня не захочет.

— Да почему ты знаешь?!

— Я — девка-чернавка.

— Зала-а-адила. Да ты посмотри на себя! — потянула к краю берега, две головки низко наклонились над зеленоватой гладью. — Да я рядом с тобой настоящий крокодил!.. Ай! Ай! Водяной!



Долго бежали, сверкая пятками из-под развевающихся юбок, через лес, только когда впереди просвет забрезжил, и завиднелась за деревьями широкая поляна, упали, тяжело дыша, на траву.

— Ох, страшно, моченьки нет! Ты видела его?

— Нет.

— А я видела! Голова зеленая, волосатая! Господи Иисусе, как страшно! А я тебя хотела и прежде спросить, а чего ты всё ходишь туда, к этой заводи? Там нехорошее место.

— Почему?

— Так люди сказывают. И матушка не велела. Ты разве не знаешь? Там тетенька утопилась, бабушкина сестрица, Верхуслава. Ты помнишь ли ее?

— Нет.

— И я не помню. Говорят кра-асивая была. И будто после видели ее.

— Как видели?

— Ну будто из воды выходит, — зашептала Улита, — на русалии недели. На берегу будто сидит, волосы свои зеленые гребнем чешет, а гребень тот из рыбьих костей! И дочку свою зовет и плачет. А разве была у нее дочка-то?

— Не знаю.

— И я не знаю.

* * *

Улита все-таки шепнула брату своему Петру словечко, и он на другой день под вечер постучался в теремок, что в усадьбе боярина стоял в углу у самой стены, а вокруг кустов было бузины-малины-смородины видимо-невидимо. Дева ему открыла, нарядная, в душегрее, под которой виднелись ряды бус, а на концах пышных рукавов стеклянные, по тогдашней моде, браслетки. Она показалась ему очень красивой, поклонилась чинно, словно и не росли они вместе и не бегали детьми взапуски повсюду; провела по узкой лестничке наверх, где сидела всегда за прялкой. Петр оглядывался, немного смущенный, стараясь придать себе молодеватый вид, говорил с нарочитой развязностью, чтобы ей показать, что он уж не тот, прежний Петруша, ее дружок, а взрослый молодец, служит чашником у князя



в Суздале. В окно светлицы уже заглядывал рогатый месяц, и пахло пряно ночными фиалками, серебряной сканью белея, они повсюду были расставлены в маленьких глиняных кувшинчиках. Он засмотрелся на обилие вышитых салфеток и ковриков и половичков. Достронулся до разложенных на подоконнике пучков сухих трав.

— Да это же простая полынь! Я люблю ее запах. А она еще помогает от ран, глубоких, гнилых... — она заговорила речитативом, голос ее сделался тягучим и низким, словно в интонации подражала кому-то. — Это ландыш. Это мята. А это простой луговой одуванчик, из его цветов варят пахучий мед, а листья дают раненым воинам, внутрь и местно.

— Да откуда все премудрости тебе ведомы?

— От кого же мне и знать, Петр? Ни отца своего, ни матушки я не помню, приемьшей у вас всегда жила. А научила меня премудростям моя бабулечка. Она уж в последние годы перед смертью никуда из теремка не выходила, из лесу я приносила ей травушки разные, она же говорила мне наговоры наузные. И рассказывала про наш род волхвов, что идет от того волхва, убитого на Белоозере Яном Вышатичем. Потому у нас что ни младенец мужеска пола родится, имя дают ему: Вольг; а ежели девица, то называют Вольгою. А того убитого волхва баба, сказывают, была змеей. Все люди, знаешь, Петр, ведут свой род от птицы или от змеи...

— Ну ладно, — прервал он ее. — А это что?

— Трава-горлицвет. Ее рвут в июне и настоящую в вине дают выпить любимому, чтобы не разлюбил свою ладу.

— Пробовала? — насмешливо спросил. — Помогает?

— Нет, не пробовала, Петр. У меня еще не было любимого. А ежели кто меня полюбит, то и так, думаю, не забудет...

— Зачем ты так говоришь?! — вдруг вспылил. — Не надо тебе так говорить, слышишь?! Так все говорят!..

— Не буду, Петр.

— Ну а что еще, — веселея спросил, — ведомо тебе, мудрая лечьца?

— Ведомо мне, Петр, что волчье сердце если иссушить на вольном духу, и когда оно сгорит, то жженое сердце принимать, то будешь непобедим в бою, лют и коварен, как дикий зверь! А волчью печень носят в мошне и в одеждах, а шкуру волчью пристойно класть на брюхо...



— А когти?

— А когти волчьи, Петр, ни к чему не годятся.

За окном быстро синело. Месяц над лесом ярче засиял. Кто-то из дому Кучка вышел и стоял на крыльце, всматриваясь в темноту.

— Давеча сказывал мне еще Дюрги. «Полно тебе, Петр, слоняться да станом тонким и алыми губами приманивать белотелых дур, жен боярских. А послужи-ка ты, грит, мне, Петр, в чистом поле!» — помолчав. — А ежели вправду он пошлет меня с дружиной по весне в поход, будешь ли ждать меня? — играя глазами, будто бы шутя. — Настойку свою животворную сварить ли мне, мудрая лечьца?

— Буду ждать, Петр, — отвечала серьезно.

— Ну ладно. Расскажи еще что-нибудь, да я пойду.

— Я расскажу тебе, Петр, одну сказочку. Мне ее сказывала моя бабулечка, та сказочка про молодого князя и деву-язычницу, деву-лебедушку, и так друг дружку они сильно полюбили и поклялись, ежели умрет один, то другому живу идти в могилу.

— Ну, ты был у Ольги? — за ужином спросила брата, улучив минутку, любопытная Улита. — Тебе понравилась она? Ты в нее влюбился?

— Что ж мне делать что ли нечего, влюбляться не в кого, как в деву-чернавку, — в сердцах отвечал и утром ранним, никому не сказавшись, ускакал в Суздаль.

4.

«Москва основана в половине второго на десять века князем Юрием Долгоруким, храбрым, хитрым, властолюбивым, иногда жестоким, но до старости любителем красоты, подобно многим древним и новым героям».

(Н. М. Карамзин «История государства Российского»)

Всем хорош был княжич Иван, высок, строен и румян, глаз остер, и бровь соболиная, волосы — пшеница, не в пример старшему брату Ростиславу, ни среднему Андрею, ничем не пошел в мать полочанку, чистый русак. А вот ведь родился не под счастливой звездой.



С осени еще писали Юрию со Смоленщины, что мор начался среди людей в дружине. Юрий послал туда своего лекаря-гречина.

А в середине зимы, в январе, чудное в небе было видение:

Днем три солнца, а ночью три столпа, исходящие от земли и аки дуга луну обстоящие... (3)

А в феврале горестное пришло известие, что княжич Иван, жених Улиты, скончался от злой болезни в смоленских топях. Юрий сам хоронить сына не поехал, сильно загоревал, занедужил. С плачем предать тела брата земле выехали Борис и Глеб.

«Поклон от Петра Ольге. Со Смоленщины. Здесь сыро и холодно. Воевать не воюем, а толко все у нас болеют. И я болел, да вылечил гречин. А княжича нашего Ивана в животе больше нету. Настойку животворную готовь жди меня моя лечьца. Кланяйся матушке да скажи, пусть пришлет мне шапку. По весне буду в Кучкове».

Но к весне Юрий, рассорясь с Кучковой женой, собрался с войском сам в поход против племянника. Однако не на юг пошел, не к Киеву, а на север, в землю Новгородскую, вотчину Изяслава.

«Поклон от Петра Ольге. Шли на Новгород да остановились под Торжком. И идяжу не идоша. Воевать не воюем, а с торжичанами бранимся словесно. Где счас батюшка? Здоров ли?»

«Поклон от Ольги Петру Кучковичу. Государь мой батюшка Петр! У нас неладно. Боярин Степан болел и болея сильно серчал на боярыню и ей пенял княжескую любовь. А счас запер наверху в доме и не выпускает, а боярыня грозитя, а Уля плачет. Письмо тебе это взялся передать один человек, который к князю послан боярыней, не ведаю зачем?»

«Ай ты, князюшка, мой соколик, желанный да ласковый! Пишу к тебе разнесчастная я жонка Кучкова, что муж мой меня запер и не выпускает, а сам-то, не верь ему не верь, что хвор, здоров он да задумал бежать на юг к ворогу твоему Изяславу! Ноженьки твои омыла б я слезами, но не знаю, увидишь ли еще живую верную рабу твою Настасью...»



Князь, прочитав, бросил письмо в печь и задумался. Против обыкновения, услышав имя племянника, не осерчал, не закричал и ножкой не затопал, а сделался тих и сумрачен, оттого еще больше грозен. Велел седлать тотчас себе коня. А ехать с собой велел одному Афоне. Но, подумав еще, сказал собираться Петру.

Скакали день и ночь, отдыхали в проезжей избе, а утром снова в путь, и в тех местах, как и в первый раз, очутился Юрий под вечер, когда уже солнце, освещая край неба лимоново-желтым светом, готовилось вот-вот опуститься за черный частокол елей на большом холме. Вокруг стояла ненарушимая тишина. Лес и река словно замерли. Лишь где-то от Красных сел боярина Кучки слышно было, не поймешь далеко или близко, музыкант играл на струне, по прозрачному воздуху, по-над серой гладью, песня свободно неслась.

Но вот три всадника, во весь опор выехав из лесу, остановились у рва, окружавшего боярский двор и дом. Юрий слез с коня, ни слова ни говоря, бросил повод Афоне и, отпихнув ногой плачуща Петра, перешел через мостик, во двор прошел, никем не узнан, и дальше в дом, где в первой же горнице увидел своего тысяцкого у стола сидяща, положив голову на руки. Вот голову поднял и дико воззрился на вошедшего. А князь, все так же ни слова не говоря и тому не дав вымолвить, внезапно размахнувшись, с силой ударил своего вассала по голове, как пришлось, бронзовым топориком, висевшим у него на сгибе локтя, с каким хаживал на зверя.

Мимо дверей в ту пору случайно проходил челядин, видевший, как, всхрипнув и руками взмахнув, неловко со стула сполз боярин, и глаза прежде, нежели ум, ему сказали, что хозяин мертв!

Но еще прежде, чем вбежала Улита, и дом наполнился звуками топтливых шагов, хлопаньем дверей, приглушенными вскрикиваниями, еще несколько растянувшихся мгновений стояла ненарушимая тишина.

Словно ничего не произошло. По двору снова нерасторопная челядь. Солнце наполовину ушло за верхушки елей. И только трое знали о происшедшей непоправимой перемене: боярин Кучко, который, впрочем, уже ничего не знал, ибо был мертв; князь-убийца; и замерший в дверях в ужасе с замершим криком на губах челядин.

Князь в тот день никуда не уехал, остался ночевать в доме убитого боярина. Ночь провел с Кучковой вдовой. А утром, рано восстав от сна, ушел на вершину большого холма, где городища старого,



полуразрушенного, виднелись останки, и там бродил, и мысли его были никому неизвестны. Совесть из-за содеянного, кажется, вовсе не мучила его. Хотя к своему тысяцкому был он привязан. Не помнил и о дружине, брошенной им под Торжком, воины которой, беззлобно переругиваясь с жителями осажденного города, потихоньку разбежались. Мысли и мечты его, как бы обретя свободу, побежали по иному руслу.

В самом ли деле его душа накрепко привязалась к этому прекрасному месту, в память ли об убитом боярине, на земле его и на крови его задумал тотчас же строить городок-крепостцу у слияния двух рек на большом холме, и имя тому городу уже сразу пришло ему на ум, стало быть, затее удасться. И, намерениями теми захвачен, быстрым шагом обратно в усадьбу идет, и вот уже сам-друг по двору похаживает, на всех покрикивает:

— Эй вы, лодыри да бездельники, а ну-ка позвать ко мне Петра! Чтой-то я его давно не видел! Нигде нету?! Как так нету?! Сыскать сей час да привести ко мне!

— Афоня! Ты, милый, скажи-ка в Чернигов. К нашему свату и дородому брату Святославу Ольговичу. Зови его на пир. Он это любит. Скажи ему так: **«Приезжай, дескать, ко мне, свате, в Москов!»** (4)

— А ты, эй, как тебя?.. Скажи с тем же в Галич к свату моему Владимирко. Тоже и он пусть едет. Скажешь, что на свадьбу сына моего Андрея. Да. Всё понял? Ну, гляди.

— Таперича, брат, ты... Ан нет, чтой-то ты с виду больно дурак. Скажи-ка лучше ты тогда в Чернигов. А, Афоня, ты, езжай в Суздаль. Прямо сейчас... али лучше к вечеру. А то можно и завтра рано поутру. Андрею скажешь: бороду пусть расчешет, рубаху шелкову наденет и едет пусть ко мне по моему отцовскому приказу. Да. Про свадьбу-то покамест ничего ему не говори. Уразумел? Ну, давай! Да где же Петр?!

Задумал разом два дела свершить. Город выстроить на этом самом месте и выполнить данное им Кучковой боярыне обещание выдать ее дочь Улиту за княжича, хотя ли вину тем перед ними искупить. Так горе и радость, свадьба и поминки, любовь и смертный грех убийства, пролитая кровь и душевный порыв слились в одно, связавшись неразрывным узлом, словно одно без другого и быть не могло. И от этого потом всё пошло.



Собирались гости *на силен пир*. Вот и Андрей прискакал из Суздаля. Не пенял отцу, но насуплен, молчалив ходил. Про свадьбу узнал. Ничего не сказал. Всё молчком. А Юрию тут словно не по себе стало. Да и все гости, приготовившиеся было к веселью, притихли. Святослав Ольгович, приехавший еще раньше вместе с сыном и наладившийся было к питьям, затосковал. По брату своему, убиенному в Киеве у Изяслава, плакался. А хитроумный Владимирко Галицкий пенял Андрею за отца, сказав так:

— Кабы твой отец, а мой сват так к нападению и защите прилежал, как к питьям и веселиям с женами, больше было б проку!

И, не ожидая окончания свадебных торжеств, плюнув всердцах, отъехал обратно в Галич.

Юрий же с суеверным страхом, тайком крестясь, дивился: что сие такое означает?! А показалось вдруг ему: Андрей как говорил, ходил, всё чудилось, что словно это тот самый, убиенный!.. Будто, прости, Господи, душа переселилась! И с виду-то вовсе на того не похож! Сын невысок, коренаст, руки длинные, голова задрана, словно прямо из плеч, без шеи, растет. Скулы косые, как у половчанина, немалые очи раскосы смотрят задумчиво, мечтательно и жестоко. Недаром мать половчанка более других сыновей любила этого и ему одному при рождении дала еще другое, половецкое имя: Китан...

А вот, поди ж ты, чудится и всё тут! Словно только тут усовершенствовавшись, велел отслужить по покойному панихиду. И родню одарил, вдове повязку с драгоценными камнями и душегрею на лисьем меху, а невесте сына — кулечек серебра и перстень. После панихиды вроде полегчало, и наваждение прошло. Скрывая смущенье, ворчал на сына:

— Чтой-то, брат, больно ты вонюч. Женишься ведь! Рубаху шелкову вона напялил, а воши ползают, и блохи, чай, кусаюца. Помылся бы хоть перед свадьбой!

На это Андрей ему отвечал.

— Женить меня в твоей воле, батюшка, также и в жизни моей и твоих вассалов волен, — два взгляда схлестнулись в немом укоре. — А моюца одни иноверцы. Благочестивому же христианину это непристойно. Тряпицей мокрой, пожалуй, изволь, оботрусь...



И грянул свадебный пир и продолжался пять дней, и во все эти дни в доме боярина Кучко ярко горели свечи, и из-за реки, из Красных сел, подвозили без конца меду, дичи, орехов. Музыканты играли на дудках и балалайках. Среди них был один, гуслиар Константин, сам невидный и ростом невелик, но как возьмется рукой за струны да запоет негромко, так за душу берет. Имел он такой дар от бога управлять сердцами людей, заставляя их согласно биться, плакать и смеяться, рука его порхала птицей по струнам, и слушатели не могли от него оторвать удивленного и радостного взгляда.

И у гостей, тех, что сидели за длинными столами, уставленными яствами, залитыми вином, да и у тех, что глазели в окна на пирующих, вопрошающие взоры то и дело устремлялись на красавицу невесту, лапушку боярышню Улиту, с которой только что совлекли одежды тризны и надели расшитый серебром и жемчугом свадебный наряд. Высматривали на белом личике следы слез и печали, но ничегошеньки не могли углядеть в ясной и безмятежной сини ее очей, как озерная гладь, лишь в ее глубине, на лазурной пелене, как в омуте, вилась серебряною змейкой ею самой до времени не знаемая — *кружилиха-напасть...*

Андрей сидел чуть позади за ее плечами. Улита чувствовала его присутствие и дыхание. Тускло поблескивал при свечах алый шелк рубахи, ложившийся поперек широкой груди косыми складками. Жених на пиру пил мало. Объятия его длинных, сильных рук были неожиданно легки, поцелуи — сухи. Нечто похожее на тоску и неясный страх мелькнуло в лице этого крепкого мужа, когда обалдевшие, мокрые от вина, слез и пота гости с хохотом и прибаутками провожали молодых на покой и, прежде чем лечь с женой, долго в боковой комнате молился перед темным ликом, освещаемым колеблющимся светом лампы, тщетно пытаясь унять дрожание рук.

Было иулиа лета шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого.

В тот вечер, в ночь ту долго народ гулял на берегу реки Москвы, плясали и пели и через костры прыгали и бесились всяко. Лишь начали понемногу затихать и расходиться, когда погасли огни в доме Кучко, и заперли ворота. Лаяли собаки. Тихо потрескивая, гасли костры. В лесу заухал филин. Только поодаль на бережку, сидя на бревнышке, скоморох Константин поигрывал на струне, сказывая



негромким голосом им самим сочиненные баллады и песни, а когда подошла его послушать боярская приемыша Ольга, запел он старинную песню о молодом князе и деве-язычнице, девушке-лебеди, они так друг друга полюбили и поклялись, что ежели умрет из них один, то другому *живу идти в могилу*.

Стемнело. Круглая луна встала над лесом. Вдруг оттуда, из леса, раздался громкий свист, потом повторился. Ольга пошла потихоньку к дому мимо поляны. Вот шевельнулись кусты, и из-за них, не выходя из тени, выступил...

— Петр!

— Тихо! Не делай виду, что увидела меня.

— Да где ж ты всё время был?! А у нас-то знаешь ли...

— Всё знаю. А где я был, там таперича меня уже нету. Слушай...

Улька там? С этим ражим?

— С ним... Послушай, Петр...

— Ну чего тебе? Чего заладила: «Петр, Петр!» — он поглядел на нее пристально. Глаза его странно блестели в темноте. — Чего тебе от меня надобно?! Думаешь, приворожила меня к себе своими сказками? Как бы не так! Знай, многих я люблю и многих разлюблю, — кривляясь пропел. — И тебя больше не люблю. Ступай от меня, ступа-а-ай!

Он толкнул ее, и Ольга упала, несильно ударившись о ствол дерева. Подняться не успела, послышался на тропинке, ведущей от усадьбы к лесу, шорох осторожных шагов, вот в темноте обозначилась женская фигура, укутанная с головы до пят в покрывало из персидской парчи, затканное блестящими цветами. Петр внезапно прыгнул на тропу, загораживая ей дорогу. Женщина остановилась. Они тихо, полупшепотом, но ожесточенно о чем-то недолгое время спорили, вдруг он крикнул тоном, почти умоляющим:

— Не ходи туда сегодня, мать! — и, убегая, скрываясь за деревьями, повторил, как заклинание, — Не хо-ди!!!

Убежал. А она по-прежнему стояла неподвижно на дороге. Вот покрывало упало на плечи, открыв застывшее, голубовато-мертвенное в свете луны лицо. Глаза выделялись глубокими черными точками. Почти не разжимая темную полоску губ, не молвила, прошелестела, не глядя на ту, что под деревом, упав, так лежала:



— Уходи от нас. Завтра и уходи. Не надо тебя, колдунья, наузница ты. Змея...

Медленно повернулась и пошла обратно к дому. Растаяла ее тень, и стихло всё. Умерли все звуки дневные, и стали едва слышны звуки ночные, шорохи трав и шевеленья букашек. Ночь была непроглядно черна. Лишь те, кто по какой-то причине еще не спали, могли узреть за лесом, со стороны большого холма стоявшее некоторое время в небе, освещаая его розоватым светом, словно зарево. Вот стало выше, багровее. Ветер донес запах гари. Вдруг, разорвав тишину, донесся, раскатился над лесом, истощный, похожий на звериный, женский крик. Выбежал на поляну высокий, перепачканный сажей монах с рзметавшимися волосами. В миг всё проснулось, зашевелилось, куда-то побежали люди.

Пожар бушевал всю ночь. Летний терем князя Юрия сгорел дотла. Выгорел лес по ту сторону холма и старое городище на его вершине. Огонь добирался до дома Кучко, но потушили, слава богу, дом уцелел, сгорела только окружавшая усадьбу стена, одни от той стены остались — ворота и висели на почерневших столбах, а на них два льва, всё так же победно подъяв лапу, замерев в прыжке навстречу друг другу и устремив к глядящему полужверинные-полуженские лики в усах, длинных локонах и раскидистых ресницах, — улыбались весело и страшно!

А князь Юрий заболел; может, угорел. Только вдруг свалился на лавку без памяти, пока разъезжались, разбежались перепуганные гости, таща, пользуясь суматохой, ежели что где плохо лежало, и так оставался недвижим. Один раз слышал, как переворачивали его и в рот налили. Кто-то над ним склонился с висящими волосами, почувдилось, то ли это мать, то ли русалка-наузница, какой пугали в детстве. Два глянули на него зеленых колдуньиных ока с огромными, чуть не во весь глаз, черными зрачками...

Юрий заснул под этим зеленым взглядом. А утром хватились — нету князиньки нигде в доме! Нету и во дворе. Бегают, кличут, беспокоятся, спрашивают, охают... А он — вон он идет от ворот, целехонек, только малость осунулся, опираясь на плечо молчаливого, улыбающегося Афони.



И, едва от болезни неведомой очухался, уже по двору похаживает и командует людишкам, что собрались налаживать новую стену взамен сгоревшей вокруг боярской усадьбы.

— Здесь, — грит, — бросьте. А вон там, подале, будете строить, ребяташки, у того старого городища что на вершине холма!

И распорядился еще звать отовсюду работных людей, кто что умеет делать, копателей и лесорубов и плотников. И началось строительство крепостцы на Москве-реке.

5.

А в доме Кучковичей покамест всё оставалось по-прежнему, не было только Петра, сгинувшего неведомо куда. Даже еще народу прибавилось. С запозданием прискакал из Суздаля по болезни князя и по зову его лекарь-гречин. Он жил уже несколько лет там у свояка своего, монаха Федора, игумена монастыря что в звездном Суздале на горе. Не столько из-за корысти или выгоды какой, а больше по свойству натуры тот гречин, что много знал книжные премудрости, понимал и в лекарском деле, и в зодчества, князю Юрию служил. Молодой, волоса черные и борода черная клинышком, очи немалые голубые, сверкавшие как драгоценные сапиры, ростом невысок, всегда изысканно одет, был он везде и всюду ко двору, на разные забавы большой мастер, любимец женского пола, приятный и любезный собеседник. Имя же ему было Астор. Некоторые считали его за колдуна и чернокнижника.

Нередко их теперь видели вместе, как шли к лесу взглянуть на строительство, худой, длиннорукий Юрий в долгополой одежде и невысокий, легкий на ногу гречин. Иногда с этими двумя шел третий, дюжий молодой монах с головой, обильно заросшей волосами и бородой цвета сивого, на солнце отливавшими ржиной.

Пока жил у них в усадьбе тот гречин, Ольга встречала его повсюду, и на дворе и в доме, и за воротами. Куда ни пойдет, он тут как тут ей навстречу. Подумалось однажды, что встречается он ей что-то очень уж часто... Однако, казалось, он вовсе и не замечает ее. Взгляд его широко раскрытых глаз всегда направлен был, словно нарочно... мимо ее лица. Да ей не до того было думать, кто и куда смотрит,



не мимо ли нее. А все думки ее были о Петре и о последней неласковой их встрече... И шептала потихоньку:

«Что же такое, Петр, бедный мой Петр! Чего же ты наговорил-то мне! Я-то знаю, что ни мне от тебя, ни тебе от меня вовек не освободиться!»

Готовились к отъезду Улиты с мужем в звездный град Суздаль, с ними и сама боярыня с чады и домочадцы. Об Ольге словно позабыли. Вот-вот соберут добро, и тронутся с места повозки, и заколотят окна в доме боярина Кучка...

А пока что — гляньте-ка, как на зеленом лужку посередь двора у заднего крыльца княжеска терема пляшет медведь. Весь в бубенцах, коричнево-косматый, с мордой, туго перетянутой сыромятным ремешком, он то приседал неуклюже, а то смешно приплясывал, поводя колыхавшимся длинной шерстью широким задом, поднимал то одну, то другую когтистую лапу, валился на землю под смех обступившей его и вожатого неплотным кольцом дворни.

— А ну-тко, сиволапый, покаж, как Еропка водку пьет? А пьяный как на земле валяется?! А за Машкой как ухаживает?! Гляди, гляди! Вот потеха, так потеха!

Послушно, шустро выполнял привычные команды вожатого, и безо всякого выражения, туповато глядели с длинной морды маленькие медвежьи глазки.

Вот окно в тереме растворилось, откинулась кисейная занавеска, дева глядит пристально на пляшуща медведя, белый плат низко на лоб повязан, лицо еще белее плата. Каковы нелепы казаться должны ему, жителю лесному, людские забавы... И на лицо вожатого под закрывающей лицо шапкой загляделась. Почудилось ли? Быть того не может! Вроде похож... но не он это, не может быть, это не Петр! А везде чудится лицо его, прекрасное и мучающее...

Бедный мишка! Жарко ему. Отомкнула бы цепь, взяла его за холку и за ворота отвела к лесу: «Беги, косолапый!» И нисколечки ей было бы не страшно медведя, а людей боязно, и без того толковавших про нее, как про колдунью.

Вот и сам Дюрги подымается тяжело снизу, из подпола, по черной лесенке наверх. Встал посередь двора, опершись на посох, насупись, глядит на медведя. Поглядел-поглядел, лужок пересек и — шась к ней в теремок. Слышно было, как лезет, шумно дыша,



по витой лесенке, вот в светелку вошел, на лавку сел, глядит, как пряжу прядет.

— А скажи мне, — так молвил, помолчав, — премудрая дева, правду ли говорят люди, что ведомо тебе и будущее и прошедшее?

— Люди не лгут. Но и не всю правду скажут, княже.

— А скажи мне, ежели спрошу тебя, как мне будешь ты гадать: по блюдечку али по руке, по затейливым линиям ее, как умеют хироманты?

— Спрашивай, княже. А на этот твой вопрос мне ответить мудро.

— А скажи мне, премудрая дева, будет ли мне в жизни исполнение моей мечты, чего я желаю более богатства и почестей, и злата и славы и ласк любимой жены?

Дева молчала, не переставая прясть. После, не подымая очей и словно бы не своим голосом, низким и тягучим, нараспев ему отвечала:

— Ведомо мне, княже, что не сегодня и не завтра, мечта твоя заветная сбудется, чего желаешь так сильно. Да не мечем булатным; ни хитростию; ни силою, а одним лишь промыслом божиим сбудется.

Он заерзал, шумно вздохнул.

— Но много ль проку, радости много ли, — продолжала неумолимо, — будет тебе в том? Знай! Верно, скоро ты умрешь, как исполнится твое заветное желание.

Дюрги ошарашенно молчал. Раздумывал, не поднять ли на смех всё гадание? Али припугнуть зеленоглазую колдунью? Неожиданно для себя самого вдруг спросил.

— Кем тебе приходился этот... убиенный... вор Степка?

— Отец мой, вольный мастер-деревщик, — она отвечала, — здесь работал. Видал, княже, на воротах двух играющих львов? Это его работа. Он был, сказывали люди, веселый, красивый! Все его любили... и молодая сестра боярина Степана, Верхуслава тоже... любила. А когда он убился, упав с тех ворот, в тот же год и она утопилась в заводи. А я откуда взялась, не знаю. С младенчества тут живу на дворе у боярина названной сестрой его дочери Улите и сыну Петру... Знаешь Петра, холопа твоего?

Больше ничего не спрашивал Тяжело с лавки поднялся. У самых дверей, обернувшись, молвил.

— Ты счас куда? А то едем со мной. Будешь мне гадать. Не обижу сироту, не бойсь. Я ж не ирод какой.



Еле слышно ему отвечала.

— Нет, старче, счас не могу. Дело есть одно у меня...

— Ну, как знаешь, — молвил и вышел.

Она же, метнувшись к оконцу, смотрела, как идет по двору, горбась, и жаль ей стало отчего-то расстроившегося старика.

А он вбок шагнул через кучи мусора и обгорелые бревна, оставшиеся от сторевшей стены, и к лесу пошел взглянуть, **как строилась Москва.**

Днем шел дождь. А к вечеру прояснилось. Светились, проплывая по небу, оранжевым светом облака. Сочно зеленела омытая дождем трава. Плескалась рыба в заводи. Кусали комары. Прохладой потянуло от реки. Запахло дымом. Это на дворе Кучко раздували самовар.

Думал ли тогда Юрий, глядя на работу, как одни пни корчуют, другие таскают песок, а третьи роют широкий и глубокий ров, — что из многих заложенных им в Белой Руси городов, именно эта крепостца, Москва, оставит имя его, Юрия, в веках?

Конечно, нет. Вовсе ничего такого он не думал. И даже вряд ли ошибемся, предположив, что мысли его сейчас были далеко отсюда. Вот еще раз рассеянно воззрясь на дочерна загорелую, потную спину ближнего из копавших, высокого, черноволосого мужика, сплюнув пыль и отшвырнув ногой подале от ямы каменистый комок земли, князь зашагал вниз, к реке. И, когда мало его уже видно стало за деревьями, от двора Кучко тихо растворилось окно, и в нем забелев, женское лицо глядело долго в сторону ту, куда ушел Дюрги.





- Сколько времени?
- Пять пятнадцать.
- Как стемнеет, будем брать!
- Как стемнеет, будем брать!

Автобус, покинув Владимир, катил по заклязьменской пойме, по Муромскому тракту, позади остался великолепный вид на высокий берег Клязьмы, на панораму старой части города с его соборами, стеной Рождественского монастыря.

Подуставшие, разомлевшие туристы спели уже «На Муромской дороженьке» и другие. Молодуха в цветастом платке вела хор, слегка повернувшись к проходу и сдвинув брови; пели слаженно, негромко, стройно, сперва одни только женские голоса, потом вдруг враз, порывисто и доверчиво, приглушенно влились в хор мужские. Геля даже засмеялась тихо, так хорошо было их слушать.

Повернули на узкое шоссе, ведущее на Гусь, дорога пошла петлять по поворотам. И близко подступила, смыкая наверху темно-зеленые кроны, таинственная Мещора. Развеселились, разошлись. Саня, недоучившийся маевец, в хвосте салона плясал в проходе, покрикивая: «Теще моей поет соловей, не дает покою он теще моей!»

— Скажи, чтоб сел! — обернувшись, сердито сказал Николай Иваныч.

Геля сделала замечание. Пояснила: водитель беспокоится, может случиться неприятность, тем более на такой извилистой дороге.

— Я всегда знаю, что делаю, — возразил Саня, но послушался, сел.



— У меня вот тоже так один дятел, — сказал водитель, — плясал в проходе. Я тормознул, он у меня через весь салон летел, чуть стекло не вышиб!

Вот и погорелая роща, напоминание о пожаре, подступившем вплотную к городу несколько лет назад, очень знойным, засушливым летом.

Высокий белый столб у дороги с выбитой на камне датой основания: 1856 год.

Всё еще день первый. ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ

А правда, что интересного в Гусе, бывшем поселке стеклодувов? Забежавшая с краю города одногими соснами Мещора; быстрая, рыжеглазая речушка Гусь; большое озеро, вокруг него тонкий, мелкий, очень светлый песочек, который, нагнувшись и зачерпнув, долго рассматривал и мял в пальцах купец Аким Мальцев, проходивший в этих местах с бригадой мастеров-стеклодувов со своего бывшего завода в Можайском уезде.

Запылала первая печь-гута, и уже зимой по санному пути отправился из поселка на Нижегородскую ярмарку первый обоз с хрусталем.

Вот и центр города. Огромный, старинный дом Мальцевых, торговые ряды прошлого века, просторные мрачноватые помещения, широкая, выщербленная по краям лестница. Провинция, глубинка, где не прошла таким безжалостным катком, как в столицах, всё уравнивая, заминая, закатывая, власть черни, — хранила черты ушедшей России, ее прошлого, многими столь страстно любимого.

Вот и современное здание, светлое, просторное, четырехэтажное, гостиница «Мещерские зори». Высокая, раскидистая черемуха на углу.

Что же интересного в Гусе-Хрустальном? Название, нежно звенящее. Тихий драматизм русской провинциальной жизни. Зеленая улица, узкий ряд одинаких каменных изоб, купцы Мальцевы строили их для своих рабочих. Там и сейчас живут рабочие-стеклодувы. Вон двое в черных робах сидят у деревянного забора на корточках, глядят на приезжих.



А есть еще здесь улица со старинным названием: Вышвырка, туда селили уволенных с завода работников.

На центральной улице — бывшие купеческие деревянные доходные дома. На рынке старинные торговые ряды, почти пустые. Время дефицита, пока еще частичного, доперестроечного, советского. Где-то торгуют семечками и цветами, у киоска очередь за мороженой рыбой; перед входом торговка в белом халате продает с лотка невкусные пирожные с алыми и зелеными цветочками из крема. Снаружи рынка — броская современная скульптура из чугуна и цветного стекла. Изделия местных мастеров и художников всюду бросаются в глаза. Ресторан при гостинице тоже красиво отделан изнутри узорчатыми деревянными панелями, металлом и цветным стеклом; вазочки из цветного стекла с зеленой веточкой на белоснежных скатертях.

Автобус Маши Бычковой уже стоял на небольшой площадке перед гостиницей, группа Маши сидела за столиками, а самой Маши обнаружить нигде не удалось.

— Проходите, рассаживайтесь вот в этом ряду, — приглашала Геля.

Пожилая в линялом ситцевом халате поверх кофты и юбки робко оглядывалась, словно не веря, что и для нее тоже всё это великолепие, надменные официантки с крахмальным венчиком на волосах и длинноволосые молодые люди с музыкальными инструментами на возвышении в углу.

Гелю поселили в одном номере с ней. Администраторша извинялась:

— Ни одного номера одноместного не осталось, Ангелиночка! Последний отдала Марии Александровне, они раньше заехали. А у нас сегодня спортсмены живут, завтра утром они уедут, я вас переселю!

Это значит, что сегодня отдохнуть, как следует, не удастся. Вопросы, душевные разговоры...

Соседка назвалась Паней. Сказала, что работает на заводе переплетчицей, а эту путевку ей зять достал.

«Как же это... Паня? — подумала, — Прасковья что ли?» — а вслух спросила:

— А... по отчеству?

— Просто Паня, — подтвердила женщина.



Приятельница Николая Иваныча успела к обеду переодеться и появилась в ресторане в облегающей маечке. Когда подали закуски, спросила полушепотом, наклонясь к плечу водителя:

— Лук есть можно?! — и расхохоталась хриплым смехом.

Геля, — она сидела за одним столиком с ребятами, — сделала глубокий вдох-выдох.

После обеда пошла искать Машку. На лестнице ей встретились эти двое неразлучных, Саня и черноглазый старший в синем костюме. Снова рассыпались в комплиментах:

— Вы так интересно рассказываете! Нет, честно! Я всю жизнь живу в Москве и ничего этого не знал. И про Ямскую слободу... Очень интересно!

Кинув мельком взгляд на ее правую руку с обручальным колечком, сдержанно поинтересовались, как относится к ее поездкам муж?

Экскурсоводу, как пророку Самуилу, — на это жаловался еще Остап Бендер, — всегда задают одни и те же вопросы: много ли приходится ездить, и как смотрит на это муж?

Геля улыбнулась ослепительной, «маршрутной» улыбкой.

— Я внештатный экскурсовод. Поездки раза два в месяц. Это не основная моя работа. Мужу тоже приходится много ездить в командировки. Он журналист, газетчик. Так что он меня понимает.

Как говорится, «на любой вопрос — любой ответ». Во время слегка затянувшейся паузы уместно было, улыбнувшись и кивнув, смяться.

— Вы не хотите принять допинг? — мягко и лишь чуть играя глазами, спросил старший.

— Чи-во? — переспросила шутливо.

Они объяснили.

— Я тогда совсем засну, — доверительно сообщила.

Они тихо, чинно улыбнулись и не настаивали.

Машки в номере не было. И не обедала. Загуляла девка!

Задержавшись на секунду у окна в просторном вестибюле, к ней подошел молодой водитель Толя.

— Ты где была?

— Машку искала. Не видел ее?

— Не-а. Знаешь что? Приходи к нам сейчас в тридцать шестой, — настойчиво, глядя ей в лицо.



Геля помолчала секунду; отвела глаза к окну. Там через площадь, обнявшись, проходили две девушки.

— Устала жутко... Слушай, ну зачем я вам? — вкрадчиво-искренне, подняв к нему ясные серые глаза. — Со мной скучно. Честно тебе говорю, — быстро переведев разговор. — Что же ты здесь никого не нашел себе? Тут много девочек, — кивнула на окно, на тех двоих, по заученному правилу экскурсовода: сопровождать рассказ показом.

— Я не искал, — сказал гордо и, немного подумав, добавил. — Они тут все шалавы. И грязные.

От такого заявления слегка растерялась.

— Ладно, — сказала, и на выразительном лице на одно мгновение отразились серьезность и, совсем чуточку, тоска, — только если ненадолго. Правда, очень устала и спать хочу. Посижу немного и уйду, не обидитесь?

— Никто на тебя не обидится, — важно ответил. — Посидишь и уйдешь, когда захочешь.

С водителями надо ладить на маршруте.

— Идите, идите. Гуляйте, — сказала переплетчица Паня. — А я в номере буду. Никуда не пойду. Я тут не знаю никого. Мне путевку эту зять принес. А я работаю в другом месте, на заводе.

— Я через час вернусь, — словно оправдываясь, Геля. — Не побеспокою вас?

— А чего мне? Я помоюсь и лягу. А вы меня заприте. А ключ с собой возьмите.

— Как же так?!

— А так. Заприте и все.

Едва войдя в тридцать шестой номер, поняла: поставлено «на широкую ногу». На столе миска с вареной курицей, ветчина; маринованные огурчики, водка две бутылки. Дама Николай Ивановича на правах хозяйки усиленно приглашала Гелю, раскрасневшаяся, в алом капоте, отделанном черными кружевами, и в расшитых золотом шлепанцах с загнутыми мысками. Геля прижмурилась. Николай Иванович, тоже раскрасневшийся, благодушный, в облаках табачного дыма, восседал на примятой кровати. Геля загляделась на пепельницу стеклянную в виде гуся, больше похожего на лебедя, с длинной шеей.



— Откуда такая прелесть?

— Гусь-то? А мужик в автобус приносил целый мешок. По тройку. Ты где была?

— В бюро, наверно, ходила. Ой, как жалко. Я бы купила!

— Как же у тебя нет такого? Ездишь в Гусь, и нету гуся?

— В магазине такого не купишь?

— В магазине ты такого не увидишь. А знаешь что? Вечером спустишься в вестибюль. Они тебе за «пузырь» все, что хочешь, продадут.

Геля очень ясно представила себя с «пузырем» в вестибюле гостиницы.

— Мне никогда ничего не предлагают, — возразила. — У них «глаз» на экскурсовода.

— Они эту боятся, здешнюю, Юлю, ты знаешь! — воскликнул Толя.

— Их одно время поприжали, — заметил Николай Иваныч, — после того, как туристку из Риги убили. Гонялись здорово за ними. Несколько месяцев потише было. А сейчас опять. У них и милиция в доле.

— Несут с завода, ты, понял, открыто! — воскликнул Толя. — Прямо через проходную. Тут посчитали, приводили цифры в газете, сколько в год воруют. Раз в десять занижено! А дома у них не была? — обратился к Геле. — Нет? Грязь! Пьянь! А хрустала полно!

— Что это за случай такой?! — всполошилась дама Николай Иваныча. — Кого убили?! Ты мне ничего не рассказывал!

— Автобус приехал из Риги. Женщина договорилась с одним барыгой, он ей вазу обещал принести вечером. Встретились в переулке за гостиницей, пока она деньги отсчитывала, он ее этой вазой и стукнул. Деньги взял, кольца снял. Но не насмерть. Она еще до милиции смогла дойти. А там умерла.

— Какая дикость!

— Мой бывший сменщик Петька Сидоров, — продолжал Николай Иваныч, — купил как-то вазу тоже, здоровущую! Всё хвастался. А у него дома «горка» целая была этого хрустала ворованного. Он туда вазу эту поставил. А она возьми и взорвись. И все вдребезги, весь хрусталь. Мать его ругала...

— Где-нибудь недодержали там, на обжиге, — пояснил Толя. — Они ведь прямо с линии тащат.

— Ладно, будем живы, — Николай Иваныч поднял стакан.



— Ой, как ты это говоришь! — воскликнула его подруга. — Я была! «Попьешь чаю...» Скажи!

Николай Иваныч, опустив голову, помолчал, снова голову поднял и со всей серьезностью продекламировал:

Чай попьешь, — орлом летаешь.
Водка пьешь — свинья лежишь.
Деньги есть, с чужой гуляешь,
Денег нет, — к своей бежишь.

Поощрительный смех. Геля, едва обмочив губы, спрятала чашку за миску с курицей. Подумала: «Неудобно. Для виду кусну чего-нибудь и уйду, — и еще подумала. — Если б кто-нибудь... он сейчас увидел, что бы подумал? Две женщины и два мужика, смятая постель. А ведь даже близко, у них даже в мыслях, у ребят, ничего нет, она-то это знала. Как бы в приятной компании посидеть, ну и как бы ей, как руководителю маршрута, дань любезности за то, что закрыла глаза на «провоз посторонних лиц». Попробовала бы она не закрыть! Неписанный дорожный закон — не препятствовать водителю, если желает взять в поездку жену или...

— Дочку, значит, встречаем в Суздале? — благодушно поддержал разговор Николай Иваныч. — Отдыхает тут?

— Нет, она на практике. Учится в художественном училище.

— А муж не против, что ты ездешь?

— Я не часто. Раза два в месяц. А он журналист, сам много ездит.

— Папа, значит, пишет, а дочка рисует. Способная. В папу пошла.

— Он у меня второй муж. Отчим.

— Да-а? А я-то думал, у тебя всё в порядке.

— Ну что ты пристал к человеку! — возмутилась его подруга.

Пододвинулась к Геле. Завладела ее вниманием, пока Толя и Николай Иваныч завели нескончаемый разговор, упоминая диспетчера и износившуюся рессору.

Она, оказывается, тоже раньше работала в бюро путешествий. Железнодорожным сопровождающим. («Ах вот оно что-о-о!»).

Взяла Гелину руку в свою, спросила про перстенок с сапфиром. «Старинный? Сразу видно!» У нее тоже кое-что осталось от бабушки. Бабушка с дедом жили до революции на Урале. У деда там был завод. Он был немец... Окончил в Петербурге Пажеский кадетский корпус... («Боже, зачем эти биографические подробности?!»)



Женщина говорила безостановочно. Должно быть, порядочно выпила. Геля пыталась слушать добросовестно, прямо глядя в близко пододвинувшееся к ней немолодое, нетрезвое, раскрасневшееся лицо. Морщины на лбу. Отчаянно рыжие волосы. Светлые глаза. Грубый смех.

(«Могла бы быть хорошенькой... Что, что-о?! Что такое?! Только не засмеяться!»)

Она взгляделась внимательнее в непрерывно двигающиеся губы. Нет, ей не послышалось. Только не засмеяться! Сидевшая перед ней нетрезвая дама с помятым лицом, по ее словам, приходилась по отцу пра-пра-правнучкой Анне Керн, пушкинской музе! Вот уж действительно «чудное мгновенье!» Чего только не услышишь **в дороге!**

* * *

Переплетчица Паня еще не ложилась, когда Геля вернулась в номер. Прикрывшись одеялом, при свете гостиничных бра, явно тушуясь соседки, тихо, как мышка, раздевалась, маленькая, кургузенькая, с длинными, вислыми грудями; надела рубашку; намазывалась кремом.

Геля ходила по комнате, доставала из сумки и раскладывала привезенные на три дня одежды, косметику. Запах крема показался ей знакомым.

— Да это так... Не то чтобы настоящий крем, а...

— Декоративный? — подсказала Геля.

Женщина кивнула.

— Мне нравится всё, как вы говорите, — сказала негромко. — И рассказываете так интересно. И всё. Вот и сейчас это слово сказали: «декоративный!»

Видно было, что ей хочется выразить все сегодняшние впечатления, и что и для нее тоже стараются умные и начитанные люди; и этот чистый и красивый номер, мохеровые покрывала, тяжелая пельница из цветного стекла...

Ей вот сорок шесть уже. Жизнь прожила, а ничего не видела. Детей растила. Трое у нее, сын и две дочки.

Геля покосилась со страхом. Господи, неужели в сорок шесть лет можно уже так выглядеть?!



В дверь поцарапались. Геля выглянула. В темноте блестящие глаза, горячее дыхание.

— К тебе нельзя? Ты не одна?

Геля вышла в коридор, прикрыв за собою дверь.

— Ты где была? Я тебя обыскалась!

— Ходила... туда. Не к нему. Только поглядеть на окна: правда, он во Владимире или здесь... Да всё это чепуха, теперь уже всё равно! Просто так пошла прогуляться и заодно посмотреть, есть ли свет в окошках.

Секундное молчание. Геля почему-то не спросила про свет в окошках.

— У тебя там кто?

— Туристка. Меня с ней поселили. Одноместных уже не было. У них спортсмены заехали.

— Наглость какая! То-то я смотрю, шантрапа по этажам бегаёт. Знаешь что? Забирай вещички, идем ко мне! У меня там диванчик, как-нибудь устроимся!

— Спасибо, солнышко. Да ладно, только одну ночь. Неудобно сейчас уже... Завтра Клавдия Андреевна сказала, что утром меня переселит, — махнула рукой в сторону двери. — Она пожилая. Спокойная, тихая. Переплетчица Паня.

— Пойдем ко мне, хоть посидим, поговорим.

— Ой, миленький, я так сегодня ухлодалась! Я ведь старая уже кляча. Еще у водителей пришлось посидеть, не отвертелась. Расскажу тебе, тоже была умора... Давай до завтра, а? Завтра весь день наш. Отправим группы и в загул.

— Ну, давай до завтра. Я, честно говоря, тоже устала. Только до койки добраться. Ну, спокойной ночи?

— Спокойной ночи, родная.

Осторожно поцеловались, чтобы не измазаться помадой.

Дочери уже замужем. У нее и внуки есть. Дети живут отдельно. А у нее квартира в Измайлово, на Пятой Парковой. Они с бабушкой вдвоем живут. А муж умер.

Геля укладывалась, переодевалась, прислушиваясь к ее речи. Женщина говорила тихо монотонно, безостановочно, словно на одной ноте... Но это отчего-то не раздражало и не утомляло.



— Я тоже, — рассеянно сказала Геля, — раньше жила в Измайлово. Теперь всё есть у нее. А ничего как будто уже и не хочется. И денег хватает. Может поехать куда-нибудь. Недавно в Прибалтике была. А сейчас вот эту путевку зять принес в Гусь Хрустальный.

Видно было, что ей надо выговориться, и это даже очень хорошо, что в незнакомом месте, чужому человеку, такому милому и внимательному, рассказать свою жизнь.

Дети у нее все очень хорошие. Красивые. И муж был красивый, веселый. Когда был молодой... И мастер хороший, столяр. Все его уважали. Мог один дом построить! Только пил очень. Допивался до беспамятства. Очень мучил ее. Деньги пропивал, ей не отдавал...

(«Обычная история. Да, да.») Геля кивала сочувственно. Но знала: стоит ей коснуться головой подушки... Так с нею бывало только в поездке, в первый день, и после, когда возвращалась домой, старалась еще покрутиться, побольше успеть, пока не наступит э т о. Она вдруг посреди кручения внезапно садилась на диван и, посидев несколько секунд, валилась, как сноп, вырубалась сразу и полностью, и никакими силами, пока не выспится, нельзя было ее в человеческое состояние вернуть.

Одевался всегда чисто, красиво. Петь любил. Очень хороший был мастер. А с собой не мог совладать. Допивался до белой горячки. А потом бывали у него, когда выпьет, фантазии... — женщина немного помолчала. — Запирался один в комнате. Дочек гулять отсылал, еще маленькие были. Хотел повеситься, — она еще помолчала. — А то с топором по квартире бегал, кого-то хотел убить... Очень было страшно. Мучительно.

Голос, ровно льющийся, словно речка небольшая течет...

(«Слушать! Это, кажется, надо слушать!»)

Невидимой волной окатило, словно мягкой култышкой, прибило голову к подушке. Удерживала изо всех сил расплывающиеся мысли. Четырнадцатого августа это случилось. В позапрошлом году.

(«А сегодня какое? Двадцать первое...»)

Он в тот день тоже напился. Не в себе был. Заперся у себя в комнате и одно только слово кричал двадцать минут, — женщина помолчала. Видимо, она помнила это слово и думала сейчас об этом.



Потом ушел. И не было его. Не приходил. А утром мальчик его увидел...

Мысли путались, наплывали не связанные с реальностью, странные образы. Геля с усилием разомкнула смежившиеся веки. Слушать! Это надо слушать!..

В Измайловском парке. Там место есть под мостом у речки. Мальчик гулял с отцом и его увидел. Он повесился. На подтяжках...

(«Я знаю эту речушку, помню... Мы там гуляли в Измайловском парке! Олька маленькая была. Речушка, как ручеек, но быстрая. Берега высокие, мостик. Олька бросала с него в воду старые игрушки...»)

Под мостом. На подтяжках. Мальчик утром его увидел...

Утром смущенно простилась, уходя в другой номер, унося в душе словно вину за что-то, и еще — трудно выражаемый словами вопрос: «Почему вешается — не какой-нибудь гнилой интеллигент из-за мировой скорби, — а рабочий-столяр, хороший мастер, который любил чисто, красиво одеваться, хотя пил много, имел сына и двух дочерей, — на подтяжках под мостом в Измайловском парке в августовский день?»

День второй. ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ

Утро было ветреным и сухим, налетающий порывами ветер швырял в лицо колючую пыль, закручивался вихрями на асфальте, предвещая снова дождь. Но пока было солнечно; по небу быстро неслись белые облака.

На площадке перед гостиницей — обычная утренняя суета. Тихонько пофыркивая, пыхтят автобусы; группы туристов выходят из дверей, разбредаются по площади перед началом обзорной экскурсии по городу. В сторонке небольшой кучкой стоят экскурсоводы, московские и местные. Геля подошла к Юле Лапиной, грозе местных несунув и заядлой грибнице, поздоровались приветливо.

— Вы с моей группой работаете?

— Да... Вчера в спешке не спросила. Кто у вас? Дети?



— Нет! — поспешила заверить (все экскурсоводы почему-то боятся детей). — Служба благоустройства улиц. Но слушают хорошо. Куда повезете?

— Как всегда: обзорная по городу, храм, музей хрусталя.

— А на завод сейчас не водите?

— На завод сейчас нет. Запретили. А что, просят?

— Да нет...

Какое-то выяснение было около Машкиного автобуса. Там образовался кружок, в середине стояла Маша с видом третьейского судьи, скрестив полные руки на груди. Ей что-то просительно объясняла старшая группы, Любовь Алексеевна, заведующая складом. Тут же в крайнем раздражении крутился водитель. Объектом разборок, как оказалось, был маленький, плюгавенький мужичонка из группы, пьяненький вдребезину, его то подводили, поддерживая с двух сторон, пред грозные очи экскурсовода, то отводили в сторонку и прислоняли к чему-нибудь, потому что сам он не мог не только стоять, но и находиться если не в бесчувственном, то, во всяком случае, в безмолвном состоянии, виновато улыбался, поглядывая заплывшими от пьянки глазками, при этом один глаз был кривой.

Оказалось, что мужичонка — местный, тут родина его была, в Гусе, он просился отлучиться к родне до завтра, здесь недалеко, на «Красном химике»... А завтра утром, не беспокойся, командир, придет во время, все будет тип-топ, — дружно ручалась группа.

— Да как же он пойдет? — с сомнением цедила Маша, приглядываясь к мужичонке.

— Да если он сейчас пойдет, его милиция тут же заберет! — крутятся на месте, психовал водитель.

— Да чего там заберет, — тихо возразила Маша и добавила с тоской. — Здесь в с е такие.

— Ну я не буду его завтра утром искать по вытрезвителям! — с сердцем прошипел водитель и полез в автобус.

Мужичонку, махнув рукой, в конце концов, отпустили, и он неожиданно шустро, без посторонней помощи, заковылял, вихляясь, и через минуту исчез за углом.



Проходная гусевского хрустального завода находилась здесь же, в центре, за углом, позади бывших палат Мальцевых и за булочной «Колобок», где по вечерам светились окна алым и зеленым от лампы, просвечивающей через прозрачный целлофан, — наивная попытка расцветить скудость и стынь провинциальной жизни. Территория завода начиналась за старинными, чугунными, еще времен Нечаевых-Мальцевых, воротами, старые, прокопченные, тех же времен, кирпичные здания цехов.

Лет пять тому назад зимой группу тогда еще только начинающих, окончивших курсы, московских экскурсоводов привела на завод она же, Юлия Лапина. Все тут знали ее, она держалась уверенно, высокая, худошавая, в шубке из черного каракуля, немного ей узковатой. Прошли через прокопченное, с высоченными потолками, помещение автоматического цеха, где оглушительно бумкал, стучал, скрежетал черный массив, колоссальных размеров стол с возвышавшейся над ним черной трубой и двигающимися поршнями, а на столе поблескивали готовые уже стаканчики из прессованного стекла. В экспериментальной мастерской было потише, там за каждым из установленных в ряд станочков сидела девушка в белом халате, а перед ее глазами вертелся знаменитый «алмазный диск», и интересно было видеть, как она, установив готовое изделие на вертящийся привод и обмакнув кисточку в золотую краску, чуть улыбаясь и кося глазом на вошедших, но не отрывая ни на мгновение взгляда от диска, ловко, легко и на удивление точно проводит этой кисточкой тоненькую золотую полоску. Нет нужды, что итогом всего этого захватывающего зрелища был ординарный стакан за двадцать копеек. Хотя у некоторых мастериц в руках были массивные вазы из прозрачного или рубинового стекла.

Был февраль. Зрители в шубках, плащах и дубленках, в меховых шапках, невольно в удивлении застыли, когда Юлия Лапина ввела их в другое помещение тоже с высоким потолком, показавшееся сперва полупустым. Было полутемно. Посреди помещения, на довольно высоком помосте, как на сцене, двигались, молча, словно в пантомиме, молодые парни и девушки в рубашках с расстегнутым воротом и застегнутыми рукавами и в ситцевых платьицах, как в летний жаркий



день на пляже у реки. А посредине помоста-сцены, огороженная черными, чугунными стенками, яростно гудела, полыхала рвавшимся сквозь чугунные заслонки и щели рыжим, лохматым пламенем массивная печь-гута. Это был цех, где стекло выплавляли ручным, старинным, «гутенским» способом, еще с тех времен, когда пришел в этот лесистый край купец Аким Мальцев с небольшим отрядом работников. Нарубив лесу и поставив первую гуту, назвали поселок Гусем Хрустальным, потому что был уже в устье речки Гусь Железный, завод братьев Баташевых...

Парни на помосте держали каждый во рту конец длиннющей, до полу, тонкой трубочки из сверкающего стекла, подходя к гуте, неторопливо и ловко стеклодув захватывал другим концом через заслонку в печи кусок раскаленной, рыже-красной стекломассы, «баночку», она яростно шипела и плевалась, но, удерживаясь на конце трубочки, постепенно остывала, стихала, подчиняясь стеклодуву, вертевшему ее так и эдак, и приобретала форму, прежде чем совсем остыть, превратившись в изделие. Девушки с открытыми шеями и голыми руками и русоголовые парни с бледными, широкими лицами двигались по сцене неторопливо, говорить они не могли, всё равно не было бы слышно из-за рычания гуты, да и ребята не выпускали изо рта трубочек; время от времени какая-нибудь из девушек близко подходила к парню и кричала тому на ухо, улыбаясь и глядя на вошедших. И, странно, — несмотря на вселенский грохот, доносившийся и из соседних помещений, и грозное гудение гуты, было ощущение т и ш и н ы, в которой происходила эта неторопливая, сложная, привычная работа...

* * *

— Мы познакомились на дне рождения М. Он тогда только что вернулся из Италии. Ты видела, конечно, во Владимире его шедевр «Воспоминание о Венеции»?

Геля кивнула. По правде, она не была особой поклонницей работ этого гусевского художника.

— Я пришла в длинном платье и на высоких каблуках, с большим тортом! Там было довольно много народу. Танцевала со всеми!



Отправив группы с местными экскурсоводами, свободные до обеда, они неторопливо шли по зеленым улочкам, перешли пустырь, где под ногами мялся, осыпался тонкий, светлый песочек, и вышли на берег плоским блюдцем разлившегося, довольно большого озера. На берегу — залитая асфальтом площадочка, на ней длинная скамья. На той стороне с высокого, песчаного склона сбегали одноногие сосенки; левее виднелись корпуса и трубы завода листового стекла.

Жители города приходили сюда, семьями, с друзьями или поодиночке, садились на скамью или стоя, подолгу, молча, глядели на воду, словно общаясь безмолвно с нею, как с живым существом, прислушиваясь к чему-то, непередаваемому словами, как везде бывает, где город лежит у водоёма, реки, озера или моря... Люди приходят и глядят на воду...

«Русский человек любил свою реку. На реке он оживал. Он жил с ней душа в душу. В продолжение значительной части года она кормила его. Для торговца она была готовая летняя или даже зимняя ледяная дорога...» (5)

— Его я как-то сразу почувствовала, когда мы с ним танцевали. И подумала: «О-о-о-о!» Он положил мне руки на плечи. Потом стоял у стены и смотрел. Я подошла к нему. Он серьезно так сказал: «Пойдемте, Маша». И мы ушли. На нас так смотрели! У него была машина. Красного цвета. Он меня подвез к гостинице и хотел поцеловать. Спросил: «Почему нельзя?» А я спросила: «А разве всегда — можно?» Он помолчал, думал о чем-то, опустив голову и взявшись за руль. Потом сказал: «Тогда поедemте в лес». И мы поехали в лес. Была ранняя осень, чуть позже, чем сейчас. Незабываемая была ночь! Ты хоть представляешь себе, что такое осенняя Мещора?!

— Ой, как завидно! Мы, всё мимо, мимо проезжаем, каждый раз безумно хочется выскочить и в лес! Как-то раз там поломались, минут двадцать стояли, тоже осенью, туристы побежали и вернулись с полными руками грибов! Куда их девать? Мы с Юлей ехали, все ей отдали.

— Грибов было пропасть! Я никогда столько не видела! Деревья разноцветные, красота неопиcуемая! А я, представляешь, на высоких каблуках и в длинном платье! Я радовалась, как маленькая.



И была только влюбленность. Больше ничего. Он был, кажется, ошеломлен. При теперешних-то нравах! Он потом сказал: «У нас будет всё. Но у нас больше не будет такой ночи». А я сказала: «Пусть эта ночь будет такая. Пусть ее больше не будет!» — помолчав, уже другим, будничным тоном. — Собственно, больше ничего и не было. Мы встречаемся. Когда я приезжаю с группой. В студии или у него дома.

— Он не женат?

— Ну как... был, конечно, женат. Два раза, кажется. Первая жена умерла. Отравилась. После развода. Представляешь?

— Да-а-а...

— С теперешней женой я даже не знаю, разведен или нет. Но что-то там не так. Он мне как-то сказал: «Я долго выбирал. И все-таки я ошибся!» В общем, всё почти сошло у нас «на нет». Зимой я езжу, сама знаешь, редко. Иногда он бывает в Москве, еще реже. Прихожу к нему в студию, мы пьем кофе и разговариваем. Он целует мне руки. И всё. Я, наверно, сама виновата. Один мой знакомый сказал, что мне «мешает духовность».

Геля невольно покосилась на приятельницу. Каштановые, красиво вьющиеся волосы, белое лицо, роскошные бедра, грудь. «Женщина, созданная для любви». Это, конечно, не мешает духовности...

— Когда он первый раз меня привел в студию, то сказал: «Ты будешь приходить сюда, когда захочешь». Показывал свои картины. А я угадывала настроение его, когда он писал. И он поражался, как точно я его чувствую! Про одну картину, осенний лес, весь яркими рыжими мазками, я сразу сказала: «Ой, какой вы язычник!» Он так и ахнул. А еще однажды сказал: «Если бы мы встретились раньше, то наломали бы дров!» — а я уже отношусь просто как к словам, говорю в тон ему: «Возможно!»...

Были случаи, когда он был... настойчив. Просил меня остаться у него. Я один раз сказала: «Если я останусь, то только твоей женой...» («Заявочки!»)

— Наверно, я зря так сказала. Я это сразу почувствовала. Ты что смеешься?

— Ой, извини. Я вспомнила один случай. Я везла группу, умельцы, фабричка, подносы что ли делают вроде жостовских. Позади меня парень сидел и всю дорогу до «Сказки» спал беспробудно. Я, конечно, не реагирую на такие вещи: хотите — слушайте, хотите музыку



заводите! Но тут почему-то, когда он в «Сказке» вылезал, спросила: «Выспались?» — шутя, конечно. Он так серьезно ответил, рассказал, что живет далеко от работы, в Подмоскowie, и ему долго добираться, приходится очень рано вставать. Сама не знаю, зачем, я брякнула: «Женитесь на москвичке. И не будет проблемы». Наверно, потому, что у него были для этого все данные. А он опять так серьезно мне ответил: «Нет. С современными девушками очень трудно. Им надо **всё время нравиться!**» — она опять засмеялась. — И сколько я из него ни вытягивала, что это значит, он так ничего не объяснил и только стоял на своем: «Надо им всё время нравиться!»

— Ну конечно, с современной женщиной, самостоятельной, знающей себе цену, им труднее. Она обеспечена, у нее своя жизнь. Свои увлечения. От этого они и зудят.

— Точно. Знаешь, к чему я пришла? Современный мужчина скорее простит женщине измену... физическую, чем примирится с тем, что у нее есть какое-то отдельное от него, свое занятие, увлечение, помимо его драгоценной особы!

— Ну, у тебя-то всё должно быть хорошо! Ты прелесть и умница! Тебя должны очень любить!

— Ах, все они одинаковые! Готовы восхищаться женщиной, кандидатом наук, журналисткой, но только, чтоб не своя. Своя пусть моет унитаз! — Геля разгорячилась.

— Да, — небрежно отозвалась Маша, — какие теперь мужчины!

— Наверно, иногда встречаются... на периферии.

— Да, уж в Москве нет настоящих мужчин.

— Вот видишь, — Геля посмотрела на часы, — битых полтора часа, и всё о них, о мужчинах! Пойдем потихоньку назад?

— Разве уже пора?

У автобуса, ожидавшего туристов, чтобы отвезти на обед, к Геле опять подступили художницы.

— Ангелина Аркадьевна, представляете, мы забыли взять с собой мыло! Не думали, что будет проблема! В гостинице мыла нет. Мы сейчас, в свободное время, обошли магазины, — нигде ни кусочка! Ни простого, ни туалетного! Нонсенс! Мы спрашиваем: «У вас тут не моются что ли?!» Они говорят: «Почему же, моются. У кого запасы есть!»



Геля покосилась на водителя. Николай Иваныч, облокотясь на руль, смотрел куда-то вдаль отсутствующим, но ничего хорошего не означавшим, твердым взглядом.

К слову, в то время, в «эпоху дефицита», бывали такие случаи. Повальное отсутствие какого-нибудь товара. Случай с отсутствием мыла был действительно в Гусе.

— Вам дать мыло? — спросила Геля.

— Спасибо, не надо! Мы выпросили кусочек в парикмахерской! — хором, с торжеством выпалили.

Они подступили к водителю. Они купили на рынке ягоды и просили положить их в маленький холодильник, который был в хвосте салона за ситцевой занавеской. Водитель не шелохнулся и не изменил направления взгляда, который лишь еле заметно застекленел, когда произнес ровно, спокойно, негромко:

— Холодильник для служебного пользования.

И сколько они ни просили, объясняли, сердились, возмущались, трясая седыми бровями, результат был всё тот же. Геля предусмотрительно отошла в сторонку. Не след вмешиваться во взаимоотношения водителя с группой, ох не след! Они ушли, сердито бурча.

— У нас вот тоже был случай, — начал очередную байку, когда Геля снова пододвинулась. — Туристка одна прицепилась. У нее курица вареная была целиком. А жареная была! Она: «Положи да положи в холодильник!» А мой сменщик Петька Сидоров, он хороший парень, ей вежливо так говорит, мол, «для служебного пользования». А она всё не отстает. Ну, достала нас. Мы взяли у нее эту курицу и врубили на полную заморозку! Так слышишь? У нас там пиво стояло и вино «Улыбка». Ну, пиву ничего, заledenело только. А вино пропало. Разорвало бутылку.

Геля хохотала.

— Ну, мы потом ей отдали, эту курицу. А она вся ледяная, как кулышка каменная. Она нам ее как швырнет обратно!

— Ну и что дальше?

— А что дальше? Ничего.

— А курица?

— А что курица? Разморозили и съели.

Да уж, если водителю не нравится группа, тут, как говорится, ничего не попишешь.



Второй день в Гусе приходится на субботу. А в субботу вечером гуляют стеклодувы в ресторане гостиницы «Мещерские зори». Широко, по-русски. Юбилей или свадьба, повод всегда найдется. На ужине тогда туристов оттесняют в центр зала, к колоннам, столы сдвигают большой буквой «Г», расставляют вина, закуски, салаты... Все очень красиво, кругом хрусталь, и после меню по смете — слюнки текут.

Но главное зрелище впереди, когда зашевелятся в углу, потряхивая длинными патлами, и возьмутся за свои инструменты эти джазовые бандиты, иначе не назовешь, до верхних этажей доносится оглушительный грохот. А близко когда сидишь, — это как будто еще в помещении цеха. И под этот грохот и лязганье встают со своих мест стеклодувы, высокие, размашистые, в рубашках с расстегнутым воротом, русоголовые, с бледными, широкими лицами, выпитыми гутой, враз, как по команде, выдергивая со стульев своих послушных подруг.

Надо видеть, как под эту оглушительную музыку, встав в кружок, плохо отмытые и грубо размалеванные девчата в ярких блузках и коротеньких юбочках, прихлопывают и притопывают и вихляются, как шалавы, а в центре круга стеклодув с откинутыми с широкого лба взмокшими прядями, в распашной рубахе на широких плечах вытащил свою подругу и крутит ее, крутит, а она, закидывая голову, хохочет, высоко подбрасывая острые коленки...

Ей-богу, есть что-то языческое в этом зрелище. В столицах так уже не пляшут, только на глубинке. Молодуха в цветастой шали вся раскраснелась, глядя на них; даже пожилые художницы загляделись на это грубоватое буйство красок и звуков, вот-вот вскочат и сами пустятся в пляс, тряся седыми буклями. Старший группы стоит в дверях, расставив ноги и закинув голову, смотрит с интересом широко раскрытыми, прекрасными глазами, так же, как давеча во Владимире на диараму смотрел, на это новое для него явление разноликой жизни. Только переплетчицы Пани тихую грусть не захватило, не развеяло их шумное веселье. В своем ситцевом, стеганом халатике рассеянно, задумавшись о своем, глядит и будто не видит.



Геля тихонько смеялась, сидя за столиком в конце зала рядом с внучкой Анны Керн. Около водителя Толи незаметно между тем возник невзрачный мужичонка в черной робе. Из верхнего карманчика достав, он помешивал в стакане с чаем длинным, заостренным металлическим концом штангеля и что-то тихо говорил Толе. Прошла мимо их столика старшая Машиной группы, заведующая складом Любовь Алексеевна, и, проходя, крутым боком задела Машиного водителя, сказав негромко:

— Пойдем, выпьем?

Водитель всполохнулся, но ничего не ответил, только посмотрел женщине вслед. Самой Маши опять не было.

— Что, Витек, — заметил Николай Иваныч, — не дают они тебе покою?

— Да нет, они ничего, — нехотя отозвался Машин водитель. — Без выкрутасов этих.

— Без закидонов, — согласился Николай Иваныч. — У меня тоже случай был один. Вез группу, представляешь, одни бабцы. Петька, мой сменщик, рулил. Бабец одна встает: «Девки! С этим водителем, блондином, сегодня сплю я!» Петька мой так и прикипел к сиденью.

— Что же ты мне не сказал, что тебе нужен «Черный рыцарь»? — между тем тихо спрашивал Толю стеклодув в черном халате. — Я два месяца держал «Черного рыцаря». Только недавно отдал одному туристу.

— Слышала? — обратился Машин водитель к внучке Анны Керн. — Держи крепче своего, а то уведут.

— Такой кусок! — подтвердил Николай Иваныч.

— Почему ты думаешь, что ты кусок?! — возмутилась она и добавила нежно. — Вот я действительно кусочек.

Джаз ушел на перекур. Геля, привычно оглядывая всё вокруг, обратила внимание на особенное, напряженное выражение лица молодого художника. О! А эта пышноволоосая что рядом с ним? Где потеряла своего кавалера? Дева с исчезающим профилем всё так же вертелась и хохотала и в то же время преспокойно доедала бифштекс. Молодой человек встал, пошел к дверям. Она, помедлив едва, скользнула за ним гибкой черной змейкой, звеня браслетками.

— На завод водили? — спрашивал мастер-стеклодув. — Или только в образцовую?

— На завод не, — сказал Толя.



Ночь в поездке всегда беспокойная. Напряжение не отпускает даже во сне: то администрация разбудит: группа очень шумно гуляет, уйми своих; то еще случится что-нибудь; потому по приезде домой и валишься, как сноп.

В первый раз Геля проснулась из-за громких голосов, шедших снизу. Выглянула в окно. На верхней площадке лестницы, у погасших окон ресторана, спорила группа мужчин, из общего гама выделился захлебывающийся голос с восточным акцентом:

— Я ничего не хотел! Она сама ко мне подошла!

Неторопливо сбоку приблизились два милиционера, видно было сверху, как по сцепленным с силой пальцам скользят неуверенно, пытаясь разнять драку, их руки.

Во второй раз разбудил телефон. Кто еще посреди ночи?! На другом конце провода молчали. Геля положила трубку. Зазвонили снова и снова — молчок. Она нажала на рычажок, положила трубку рядом на столик, подождала. «Скорей бы уж утро!» — подумала, глядя в темное окно, где на фоне ночной мглы, на едва начавшей проступать предрассветной сини, обозначились контуры деревьев. Положила трубку на место. Телефон молчал.

Уснула, и сразу приснилось: дорога! Даже во сне. И он. И даже во сне за что-то сердится на нее и шипит. И куда-то им надо ехать, далеко. Вот очутились в тесной комнатенке, кажется, Гелиной тетюшки... Голые стены, кровать... темно-зеленое и рыжее. И всё спокойно, и он не сердится больше...

* * *

Утром третьего дня — снова предотъездная суета. Тихонько та-рахтят автобусы на площадке перед гостиницей, выбегают с сумками туристы, никто не пропал и не опоздал, даже те, что вчера просили их разбудить, пришли первыми, и мужичонка тот, которого еле отпустили на «Красный химик», — уже здесь, тихий, помытый и почищенный, улыбается благостно, только с речью у него по-прежнему не всё в порядке...

И — прощай, Гусь! — с его заводами, озером и песочком, с вечерней иллюминацией в окне, алым и зеленым, просвечивающим через



целлофан, с музеем-образцовой, где на видном месте среди экспонатов — изготовленный еще в прошлом веке, при Мальцевых, букет стеклянных цветов нежных, блеклых красок, — тихий гений провинциальной русской жизни...

В последний раз экскурсовод окидывает взглядом группу. Кивает водителю. Машкин автобус уже поехал, в окне Машка кивает и улыбается, и снова — дорога...





Часть 2. ВЕГНА В СУЗДАЛЕ

*Не берите с собою ни золота и ни
серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы
на дорогу, ни двух одежды, ни обуви,
ни посоха.*

(Мтф 10:9–10)

1.

Ранним сентябрьским утром через сиявшие на солнце киевские Золотые ворота, мимо дремлющих стражников вместе с толпой конных и пеших, горожан и селян и купцов, русских и иноземных, прошел высокий молодой монах с насмешливыми глазами, с головой, обильно заросшей волосами и бородой цвета скорее сивого, на солнце отливавшими рыжиной. Его одежда запылилась от долгого пути, и стерлись веревки кожаных сандалий. От ворот, покинув толпу, текущую к центру города, свернул влево и шел по тенистой улице, застроенной богатыми теремами, путем, видимо хорошо ему знакомым. Вскоре он остановился у ворот дома, известного в стольном граде, как «дом Бориславль», и был узан старым слугой, потому что это был не кто иной, как вернувшийся после семилетнего отсутствия Федор, брат хозяина дома, киевского боярина Борислава. Слуга сообщил, что хозяин вместе с другими ушел на площадь святой Софии, где ожидали торжественного въезда в город великого князя, и пришелец туда же поспешил и, пока пробирался мимо тол-



пы, заполонившей подымавшийся круто вверх Боричев ввоз двумя нестройными рядами, за его спиной нарастал вал приветственных криков, и вот перед его глазами проехал на белом иноходце с алмазной сбруей могучий, с виду страшный старик, косая сажень в плечах, переживший племянника и двоих сыновей. Был он мрачен в эту минуту исполнения наивысшей мечты всей его жизни. «Ни хитростию и ни силою, а одним лишь промыслом Божиим...»

Всё сбылось. И всё было, как сон.

Годы протекли с того дня, когда дева в тереме на дворе боярина Кучко нагадала суздальскому князю его судьбу. Впору было позабыть об этом гаданье. За эти годы Юрий еще пытался отвоевать киевский стол у племянника; были безуспешные кровопролития и последняя страшная сеча у села Дорогожичи что у схода трех дорог под Киевом, где земля, издревле сказывали, была полита кровью.

Та битва окончилась полным разгромом суздальских ратей. Ночью, когда над полем брани, усеянном телами, вставала огромная красноватая луна, словно напившаяся крови, Юрий искал своего сына Андрея и нашел его невредимого, плачуща у огромного мшистого камня, и тот сказал отцу:

«Всё нам уже, отче, тут, в Руской земле, ни рати, ни чего другого, так что потеплу пойдём».

И еще так сказал:

«Изяславу, видно, сам бог помогает!»

Было странно и тяжело видеть, как плачет этот муж, только что в бою проявлявший чудеса храбрости, носившийся по полю на коне, как дикий степной наездник. Но прокололи коня под ним пикой, и щит на нем оборвался, и шлем с головы свалился и, отбиваясь от оступивших его со всех сторон вражеских воев, чудом ушел без ран. Хранила его, видно, Матерь Божья да заветный перстень с затейливым узором, этот перстень, умирая, на палец ему надела дочь Аепы и беречь сказывала пуще глазу.

Ничего более им не оставалось. Войско было разгромлено. Союзники покинули Юрия. Бесславно убирались князья, отец и сын, с остатками дружины в свою вотчину, звездный и пряничный, не ждавший такого их возвращения Суздаль.



На этом можно было поставить точку в воинственных замыслах Юрия. О новом походе он больше не помышлял, но деятельной своей натурой устремился к другим делам, начав засеивать Русь Белую городами-крепостцами, а названия им давал, теща душеньку свою, те, что были уже в Южной Руси. Так появился взамен сожженного Изяславом Юрьева Городца на Волге — другой Юрьев, что в поле; и Переяславль что за лесом... Правление оставив Андрею, сам мотался по городам и весям, и всердцах ему как-то заметил Владимирко Галицкий:

— Что ж ты не посидишь на месте, а всё мотаешься, словно половчанин!

А еще терем и храм он выстроил у небольшого сельца под Суздалем на речке Нерли для новой своей полюбовницы, вдовы мелкого боярина Малуши. И ехал однажды туда в слякотную, ненастную пору ранней весны, по грязям и бездорожью, сопровождаемый верным Афоней, в хорошем настроении, против своего обыкновения не злясь и не бранясь и не богохульствуя, когда приходилось далеко объезжать разлившиеся лужи и даже кое-где с коня слезать, чтобы выбраться из грязи, рассуждал примерно так.

— А почто, Афоня, ты не женишься? Не надоело со мной-то мотаться? Гляди-ко и волос седой проглядывает. А ведь ты мне в сыновья годился. Когда был помоложе. Да. А на меня погляди. Без женщины я не могу. Половчанка моя померла, царство ей небесное, а я новую счас себе беру, молодую, из греков. Она мне и еще сынов родит. Ась? — помолчав, задушевно. — А счас вот к Малушке еду. Проститься, стало быть. Она-то, бедная, не ведает ничего. Ахнет, слезами зайдется. Она меня любит. Я это, Афоня, сердцем чую. Иные из корысти, мол, князь, подарки богатые. А она нет. Эта меня любит. А ничего, что поплачет. Это ничего, что ежели когда любит и поплачет. Хуже, Афоня, когда ничего такого в помине нету, — помолчав. — А что, Афоня, я счас подумал. А ежели мы тебя женим? А хотя бы вот и на ней, на Малушке. Ась? Она баба хорошая, — старый князь засмеялся, закашлялся.

Застенчиво улыбнулся и молчавший за всё время этой длинной тирады Афоня и молвил неразборчиво что-то вроде: «К что ж...» — и за весь оставшийся путь князь Юрий не дождался от своего верно-го и молчаливого раба больше ни единого слова.

Сельцо это на Нерли люди потом так и стали называть **Покидекшей**.



Боярыню Кучкову Юрий еще раньше оставил, а к этому времени она уж умерла.

И, взяв за себя новую жену, молодую грекиню, с ней веселился на речке Яхроме и новый город там основал и назвал по крещеному имени рожденного ею сына: Дмитров. А в миру младенец был наречен Всеволодом.

И, когда уж думать обо всём позабыл, тут-то его и застал врасплох прибывший издалека с вестью негаданной и нежданной запыленный и уставший гонец.

Поразила та весть Юрия глубоко в сердце, и задумался над тем, сколь неисповедимы пути Господни.

А одним лишь промыслом божиим...

А с вечер поутру восстав ото сна, глубоко вздохнул, всплакнул о безвременно усопшем племяннике, обедню велел отслужить. А потом созвал рать и со всею тихостию шел через всю Русь до самого Си-него моста, до стольного града, где его ожидал опустевший киевский великокняжеский стол.

О чем он думал сейчас, въезжая в Киев под крики приветствовавшей нового правителя толпы? Об исполнении ли во всю жизнь мечты своей? Вспомнил ли в давности ему загаданное? О том ли, сколько крови было пролито?

Нет. Ни о чем таком он не думал. В эту наивысшую минуту своей жизни он не испытывал ни радости и никаких чувств. Дюрги было плохо от жары и неудобно и тесно в тяжелых парадных одеждах. И конь был под ним не его. И чужие лица, чужие люди окружали и приветствовали его, выстроившись двумя тесными рядами по обе стороны Боричева ввоза. Юрий не верил их лживым приветствиям. Кияне, он это знал, ненавидели его.

Он еще подумал: что-то с ним самим случилось, не болен ли? И хорошо, что окружающие его пока что этого не замечают. Мысли его утратили четкость и ясность, вместо этого, как во сне или во хмелю, проплывали образы, случайные воспоминания. Отчего-то явилось перед глазами увиденное в тот несчастный день разгрома у села Дорогожичи, когда сливались стоны и проклятья и пыхтение борющихся — в одну заполняющую душу, завораживающую ужасом и сладостью смерти музыку битвы, — белое, белее мела, запрокинутое лицо вражеского воина; кровь, брызнувшая из шеи наподобие красных ягод смородины...



Солнце светило ему прямо в глаза, слепил блеск алмазов на сбруе. Об этом дне он мечтал. Но только, может быть, впервые в жизни ему не хотелось заглядывать вперед, что там дальше будет ли?

Впереди, было пусто. Тишина... звон.

* * *

Монах, когда пришел на площадь, она полна уже была народом. Благодаря своему высокому росту, он хорошо видел, что делалось в центре площади перед храмом, остановившись позади маленького человечка, который в стараниях что-либо из-за спин впереди стоявших увидеть, то переступал с места на место, приподымался на цыпочки и даже пробовал подпрыгнуть.

Федор следил некоторое время за этими ухищрениями, после чего, пригнувшись к уху человечка, посоветовал негромко:

— Так-то будешь стараться, Кузьма, гляди, штаны потеряешь.

Тот, к кому обращался Федор, хорошо расслышав фразу, однако некоторое время стоял в прежней позе, после чего, не спеша, обернулся, и его большие, голубые, добрые, кажется, что с усилием различавшие дальние предметы глаза ласково засветились.

— Федя!

— Я.

— Приехал.

— Как видишь.

— Насовсем, нет?

— Наверяд ли.

— Хоть погостишь?

— Немного погошу.

— Ну, пойдём.

И, в противоположность только что своему поведению проявив полное пренебрежение к тому, что происходило на площади, Кузьма мирянин махнул в ту сторону рукой, и оба давних знаконца зашагали к ближней корчме, пустой в ту пору, оттого что весь народ был на улицах, и, пока Кузьма, посмеиваясь, помешивал в кружке острым концом длинного инструмента вместо ложки, Федор рассказывал.



Ему было, о чем рассказать. Когда семь лет назад он покинул Киев, свою родину, чтобы переселиться в Русь Белую, то звал с собой Кузьму, мирянина и богомаза, но не удалось того уговорить. Странствия с юных лет манили боярского сына Федора. Совсем молодым он совершил паломничество в Святую землю и оттуда привез себе жену, тихую и благочестивую Евлалию. С ней и отъехал из Киева в прятничный и звездный Суздаль. Но, видать, не в добрый час ступила молодая женщина на чужую ей землю. Первой же зимой расхворалась и на руках у него померла.

Бросился тогда Федор вон из этих мест. Его потянуло в странствия. Какое-то время он жил в монастыре в глухих, заповедных местах, принял сан. Книг много было в том монастыре. Он причился и полюбил лишь одни холодные блуждания разума по лабиринту мысли. Его захватила одна мечта: стремился в разных явлениях, в судьбах людей, любви и смерти, в свободном полете птицы в небе и извилистом пути змеи на земле, в видимом всегда в окне кельи одном и том же узоре звезд, — постичь, найти, познать, единую, всё связывающую и всё объясняющую Истину!

После нескольких лет затворничества, проведенных в одинокой келье среди тишины и заповедного покоя, — его вновь позвала — **дорога!** То, что в книгах искал, стремился найти теперь в живых впечатлениях; ночуя то в крестьянской избе или на проезжем дворе, в боярском тереме или в обители в глухих заповедных местах, думал об одном и том же. То вдруг могло ему показаться, что Истина, неуловимая, близка, привидится ли во сне, мелькнет ли в синих глазах суздальского юродивого Никитки. Однажды набрел на заброшенную усадьбу с покосившимся домом с заколоченными ставнями и разрушенной стеной. Одни только от стены остались целыми ворота, и на них, на верхней доске загляделся на искусно вырезанных чудищ, то были *два льва с длинными локонами и усами и очами в раскидистых ресницах; метнувшись навстречу друг другу и подъяв лапу, они улыбались, скаля зубы, весело и страшно.* Долго стоял перед воротами Федор, думая о том, кто был тот безвестный мастер и жив ли? К дому было шагнул, как из-за тех ворот выбежала девица с черной косой, пугливо глянула, плеснув в него бледным зеленым огнем очей, и тут же скрылась.



Бой колоколов на святой Софии громче зазвучал. Пение, крики слились в один нестройный гул, но вот, выйдя из храма, направилась к Юрию небольшая толпа бояр, впереди шел, неся на вытянутых руках известную во всей Руси шапку с соболем и золотыми дщицами, именуемую шапкою Мономаха. Точно во сне Юрий голову пригнул и, поправляя пальцами, ощутил легкое прикосновение нежного меха, короля мехов.

«Венчается ноне на великое княжение Юрий Володимировичь, сын Мономах».

Послы его приветствуют. Вот выходит один в лисьей шапке, с оранжевым лицом, имени не расслышал Юрий, и говорит гугниво: **«Хочет тебя вся Руськая земля и весь Черный Клубук».**

* * *

Лица девушки не запомнил Федор. А вскоре, оставив странствия, вернулся в свой монастырь, где дан был ему сан игумена. И потекли дни, размеряемые хождениями в храм, край рясы волоча то по мокрой траве, то по зернистому, хрусткому снегу. А когда заканчивались службы, уединялся в своей постройке, одной из самых богатых в Суздале, и видели поздно к ночи огонек свечи в верхнем оконце, там засиживался над писаниями временных дей, не гнушался и языческими учениями древних, погаными чернокнижиями, которые привозил ему шурин-гречин, брат покойной Евлалии. И такие порой открывались невыразимые словами глубины, что посреди ночной тишины казалось, что нет в мире никого из людей, и самого себя переставал ощущать, существует ли на самом деле, али греза всё, что случалось с ним, и стремглав тогда на улицу бежал, отражение свое стремясь увидеть в испуганных и смеющихся глазах первой встреченной им горожанки в цветастой черной шали...

Так проходила жизнь; и, хотя был он молод, но казалось иногда, что от смерти его ничто не отделяет, кроме бестелесной, словно прозрачной череды одинаких дней. Но потом и это переменилось. И, с изумлением оглянувшись вокруг, внезапно вновь ощутил монах животворную силу земли, все шорохи и звуки услышал, все дышания жизни.



То лето необычайно жарким было в Суздале. Однажды во время службы Федор увидел в церкви женщину. Вернее, поймал себя на том, что следит за ней уже некоторое время... И еще подумал, что никогда здесь, в городе, ни где-либо еще, кажется, ее не видел... Когда служба окончилась, она, как и другие молящиеся, ходила по церкви, прикладываясь к иконам. А монах из-за закрывающего черного плата тщился рассмотреть ее лицо, неуловимое и прекрасное; мелькал бледный, исчезающий профиль; завитки волос, вылезшие из-за шали. Федор едва себя удержал, чтобы не пойти за нею, когда пошла из церкви.

2.

Вто лето в Киеве еще правил Изяслав, но уже произошла кровавая битва у села Дорогожичи, и князя Андрей и Юрий с остатками рати спешно утекали восвояси. Вот-вот они должны были появиться в Суздале, где пока что ничего об этом разгроме не знали, и дни текли размеренные, безмятежные. В один из таких дней по дороге к кладбищу княгиня Улита повстречала дюжего монаха с головой, обильно заросшей волосами и бородой цвета сивого, на солнце отливавшими рыжиной.

— Поклон тебе, княгиня. Уже не в первый раз вижу я тебя в сей скорбной юдоли.

— Здравствуй и ты, отче. Да, я часто сюда прихожу, здесь лежит моя бедная матушка, она ненадолго пережила батюшку. Сирота я. А ты к кому ходишь?

— Жена моя, грекиня, туточки лежит. Она умерла скоро после того, как мы с ней перебрались сюда из Киева.

— Так ты киянин?

— Там родина моя. Наш дом недалеко от Золотых ворот, его называют дом Бориславль по имени боярина Борислава, сестричича моего. Ты бывала ли в Киеве?

— С матушкой ездили как-то весной на торг.

— Торги там знатные.

— То-то я вижу, ты на монаха не похож.

Он улыбнулся.

— Не похож, говоришь? А на кого ж, я, по-твоему, похож?



— Не знаю. Зачем спрашиваешь? Ты молодой. Твоя грудь широка, а руки могучи, как у воина. Твой глаз зелен, горяч и насмешлив. А не подвернутся ли от жары мои ноженьки, не упаду ли я перед тобой на травушку, боязно мне идти с тобой тут одной без мамки и без мужа, а он далече... Что молчишь?

— Хотел тебя спросить.

— Спрашивай.

— Видал на дворе у вас... С сыном твоим играла. А ранее никогда ее не видал...

— Ах, вот кто тебе интересен. Это Ольга, сестра моя названная. Недавно приехала из московских лесов, там была у нас усадьба, может, и сейчас еще стоит... Она уж не так молода для девушки. Сва- тались к ней, а всё не идет. Всё ждет суженого своего, брата моего Петра, а он сгинул неведомо куда, храни его Господь. Чтой-то разговори- лась я. Дальше с тобой не пойду, дом мой близко. Прощай.

— Минутку еще постой.

— Ну чего тебе?

— Дома у меня, — голос его стал тише, вкрадчивее, — есть убор жемчужный с привесками, в них камень синь, чист и яркок, как глаза твои, княгиня. Тот убор мне из Киева прислал сестричич мой Борислав, для жены моей, не зная, что уж в животе ее нету... Никем ненадеван с тех пор убор лежит. Позволь, ненаглядная, тебе прислать, прими дар сей от Федьки.

Она тихо рассмеялась, не глядя на него, молвила.

— Что ж, присылай.

И ушла.

В ту же ночь сильно на княжий двор в ворота постучали и, пока сонная девка отмыкала засовы, княгиня, кутаясь в шаль, вышла поглядеть, кто там в неурочный час, и увидела мужа. Его приход глубокой ночью одного, без провожатых, в запыленной, оборванной одежде был так неожидан. Она даже подумала, не сон ли это? Хотя нельзя сказать, что не ждала его, не только ждала и часто вспоминала, но в разлуке зародился к нему, какого прежде не бывало — огонечек теплый, и его берегла и краснела, вспоминая мужа хоть редкие и скупые, отданные ей ласки. И скучала по Андрею и обмирала, когда рассказывали ей слухи о его ратных подвигах и о его храбрости на поле брани. А тут нате, явился, и уж никак не был похож на героя...



Андрей тоже скучал по жене, часто вспоминал ее с тяжелой, мужской, застенчивой нежностью, стремился к ней. Но появиться бы ему другой, не этой рассиневшейся, жаркой ночью, когда спалось княгине так сладко и, прежде чем разбудил ее громкий стук в ворота, невесть чей образ к ней приходил и тревожил во сне... Только не его, не мужа...

Мгновенно глаза их встретились, и первый его робкий, почти молящий взгляд, — словно отворилась с ржавым скрипом тяжелая, наглухо закрытая дверь в его душу, раскрыв глубоко в ней спрятанную нежность, — нашел в ее широко распахнутых очах, в их безмятежной сини, — самое себя, каким увидела его в первую минуту, — осунувшегося, уставшего, некрасивого, грязного, с разметающимися поседевшими волосами. «Как он постаре-е-ел», — невольно подумала княгиня.

Один лишь взгляд, одна коротенькая мысль, одно мгновение, — продлившееся во всю последующую жизнь. Уже в минуту следующую Улита вспомнила всё, и ожидание свое и хранимое для него тепло и устремилась к нему, — но поздно. С глухим лязгом опустилось тяжелое забрало. Его изменившееся лицо, мгновенно отвердевшее, надменное, чужое — оттолкнуло ее. Тотчас к себе ушел, едва ей кивнув. Княгиня Улита проплакала всю ночь. Но, отплавав, подумала, что утром можно еще всё поправить!.. Никогда такой невыносимо долгой ей не казалась ночь.

Но утром с р а з у вышло не так. В ответ на его холодность она и сама раздражилась, и уже не захотелось больше по-доброму подойти к нему. Новые обиды легко ложились на старые незажившие рубцы; ожесточение и желание сделать боль побежали проторенными дорожками, по которым так не научилась хаживать любовь.

Любовью не был избалован Андрей. С собой ли был нехорош; изо всех сыновей, которых родила Юрию дочь хана Аепы, он более других внешностью походил на родичей своих, степных наездников, — широкие скулы, глаза косы, нос приплюснут и губы мясисты, — недаром ему одному дала она при рождении, тайно, второе, половецкое имя: Китан. А умирая, на палец ему надела старинный, заветный **перстень-тамгу** с магическим рисунком. Многие знавшие Андрея считали этот перстень заговоренным. Он горько рыдал у ее смертного ложа. Мать была первой женщиной, кото-



рую он обожал, храня под суровой, надменной внешностью чувствительную, даже мечтательную душу. Чувствительность сердца и жестокость сталкивались в нем всю жизнь двумя противоположными началами. Готов был обожать другую женщину, свою жену. Но пробудить в ней ответное чувство оказалось непросто. Непонимание, причина стольких человеческих несчастий, пролегло между ними, трещина всё увеличивалась и превратилась, в конце концов, в бездонную пропасть. Андрей с годами всё больше замыкался, черствел, старел.

Но была **Она** и лишь одна понимала его! Ей не надо было ничего объяснять! Она знала о нем всё. По ночам, не могши уснуть, ощущал на себе Ее ласковый, всевидящий взор. Ночью вставал, один шел в церковь, ключом отперев, входил в пустой, темный храм, свечи возжигал и на коленях, плача, вглядывался в скорбный, темно-золотой лик, склоняющийся к нему из-под темного платя. Душу свою тогда до дна вычерпывал ладонями, как умел, да никому это было не надобно, и весь был тут перед Нею. Его иступленною любовью одушевлена, не могла быть лишь искусно размалеванной доской, дивно выписанным ликом, о нет! Мог поклясться, что струями от нее исходит **темное дыхание!** Тысячами вер и надежд и страхов и мук жил и дышал бесподобный **Ее** образ!

Так всю жизнь будет хранить в себе тайную любовь — к красоте; к женщине; к Богу.

Над людьми же, не понимающими его, возвысится и будет надменен и суров, и назовут его самовластцем, и будет так, как сказал летописец: *Ненавидели князя Андрея свои домашние и была брань лютая в Ростовской и Суздальской земле!*

А Улита что ж? Будет рядом с ним жить и стариться, и в ее безмятежных, как озерная гладь, синих очах, все будет виться серебряной змейкой *кружилиха-напасть*, покамест не встанет над мужем своим, издыхающим под ударами мечей, держа его отрубленную руку, как рассказал летописец деяние это страшное...



Но эти страсти по Андрею далеки еще. А пока, гляньте-ка, как на том на зеленом лужку посередь заднего двора княжеска терема в Суздале пляшет медведь! Весь в бубенцах, коричнево-костматый, он то валился на землю, то приседал и даже приплясывал неуклюже, тряся колыхавшимся длинной, коричневой шерстью широким задом, выполняя команды вожатого под хохот обступившей их небольшой толпы дворни: «А ну покаж-ка, косолапый, как Еропка водку пьет?! А как пьяный на земле валяется?! А за Машкой как ухаживает?» С длинной морды, туго перетянутой сыромятным ремешком, тускло смотрели крохотные медвежьи глазки, не понятны были ему, жителю лесному, сложные людские забавы... Лишь вспыхивали жадно, когда кто-нибудь из окружающих бросал ему леденец или кусок пряника. Вот растворилось окно, отстранилась кисейная занавеска, глянули зеленые очи из-под низко повязанного на лоб белого платя. Что это вдруг ей почудилось в лице вожатого?! Да нет, не может того быть, это не он, не Петр, не его это лицо, прекрасное и мучающее. Петр сгинул давно неведомо куда.

Вон в углу двора, как бывалочке на Москове реке, скоморох Константин поигрывает на струне. За нею следом сюда прибрел, а вот уж ни одна радость, ни веселая свадьбка без него не обойдется, ни одно горюшко без него не проплачут.

Вот боком, ни на кого не глядя, Андрей идет. Волосы рыжие, седые, разметались, голова словно без шеи из широченных плеч растет, вот уж истинно, что счастьешко досталось бедной сестрице моей, белой лебедушке Улитушке! Старый облезлый пес за ним плетется. Дворня разбежалась, вожатый отошел в сторону с мишкой. Один только суздальский юродивый Никитка не боится князя, подбежал к нему, заныл и ластится. А у него, у Никитки, глаза синие без ресниц, ясные и чистые, глядят так, словно, кажется, обо всём-то он, блажененький, знает и всё понимает... Господи! На кого это сверкнули злобно так очи Андреевы?!

Это мимо палат, мимо окна ее идет тот высокий монах, что ходит всегда одной и той же тропой в храм. Он добрый. Когда, бывает, встретит случайно его добрый, грустный взгляд, то становится так славно и покойно; и покажется, будто есть у нее неведомая, оберега-



ющая ее сила... Пресвятая Богородица, не ему ли вослед сверкнули так страшно очи Андреевы?!

Прошел Андрей, и снова мишка пляшет. Жарко, небось, ему, бедному. Она бы подошла да отобрала цепь у вожатого, отвела бы за околицу к лесу: «Беги, косолапый!» Не боязно было бы жителя лесного, знала, что не тронет. Боязно было людей, что сочли бы ее за колдунью.

Снова монах обратно идет, да не один. С ним этот, гречин... Остановились напротив ее окна. О чем-то толкуют. Ей бы задернуть занавеску, Федор-то спиной стоит, а тот, не таясь, глядит на нее, прямохонько в лицо сверкающими очами. Ай, да можно ли так-то смотреть?! А скоморох всё тренькает, вот уже он поет сказку о прекрасном княжиче и деве-язычнице, девушке-лебеди, что так друг друга полюбили и поклялись, ежели умрет один, другому *живу идти в могилу*...

Знаешь, Петр, я уже начала забывать твое лицо! Помню по отдельности твои губы, глаза, волосы, но сколько ни хочу и ни стараюсь, не складываются никак в одно-единственное на свете твое лицо, Петр, прекрасное и мучающее! Но что же делать, мой бедный Петр, ежели я знаю, что ни тебе от меня, ни мне от тебя вовек не овободиться!

Его нельзя было не приметить; а приметив, не запомнить. Гречин Астор был невысок, строен и прям, на ногу легок, одет всегда чисто и красиво, с бледного, смугловатого лица с маленькой черной бородкой глядели прекрасные голубые глаза, как те камни в новом уборе сестрицы Улитушки... В один из первых дней по приезде в Суздаль она встретила его на зеленой улочке у княжеского сада. После московского затишья звенящий, звездный Суздаль оглушил, закружил, опьянил ласковыми взглядами боярских сыновей и пристальными — суздальских модниц с цветными стеклянными браслетками на широких руках.

Раньше думала, встречая его на Кучковом дворе, что вовсе ее не замечает, а в эту первую встречу — от полной ли неожиданности ее здесь появления не успел отвести радостного и изумленного взгляда, и она в миг один всё поняла сердцем; что он ее узнал и помнит, много она в этот единый миг прочла в его широко распахнутых ей навстречу очах, и восхищение и затаенную нежность. И не могла забыть этого взгляда.



В то лето, в самом деле, стояли необыкновенные жары. Девушки носили летники, надетые на тело, а те, кто посмелее, бегали ночью купаться недалеко от терема за валом. Вода в Каменке темна, прохладна и легка, когда плывешь, по ногам скользит шелковая трава, того гляди, опутает, затянет. В темной воде стоит месяц-рогач. Ольга ложилась на воду грудью, ловя отражение губами, пренебрегая заклятьем:

Аще кто целует месяц да будет проклят!.. (10)

* * *

Грек Астор был искусен в делах любви. И не ведала сама, как это быстро у них всё сладилось. Едва было сказано между ними несколько слов, как она его впустила в свою напоенную ароматом цветов и трав опочивальню...

— Красавица! Я в себя не приду! Ты снизошла ко мне! Ты ответила на мою любовь! Потому что я, клянусь, давно тебя люблю и страстно! Я счастлив! Да знаешь ли ты сама, как ты хороша?! Тебе никто еще этого не говорил? Послушай, я тебе скажу. Твои очи, — с чем их сравнить?! Они мне напоминают прозрачную бездонность морской глубины под скалистым обрывом в бухте на моей родине, в Греции, в солнечный день! Твои пышные, темные волосы похожи на волосы девушек моей родины! Но кожа у тебя белее и нежнее. Я совсем потерял голову с тобой! У меня, веришь ли, не было никогда такой красивой возлюбленной! Ты не слыхала о богине красоты, ее имя: Афродита? Нет? Я расскажу тебе! Кто, ты говоришь, были твои родители? Отчего они не выдадут тебя замуж?

Ольга на это любовнику своему отвечала, что родителей своих она не помнит, а вырастила ее бабулечка и многим премудростям научила и что люди многие на Москве считали ее колдуньей-назницей. И еще сказала, что если и выйдет когда-нибудь замуж, то только за Петра Кучковича, а ежели за давностью его в животе уже нету, — чего не дай Бог! — то, скорее всего, не будет уже ничьей она женой, это сама себе нагадала, а дорожка ее в святой монастырь. И еще любит она слушать вечерние звоны, и пригрезилось ей как-то: в обители, что в излучине Каменки — келейка узкая, кровать



с лоскутным одеяльцем, иконка, да столик с вышиванием... Так-то славно и покойно!

— В монастырь! Что это ты выдумала! С такими роскошными формами, с такою красотой! Не будем думать о таких, гм, странностях. Поговорим о других вещах. Что мы узнали? Мы узнали, что есть неизвестный нам дотопле, по имени Петр. Да. Я уверен, что это прекраснейший и достойнейший юноша. Однако главное его, так я думаю, достоинство в том, что его сейчас здесь нет... Нет, это я так, про себя. Послушай! Не будем думать ни о чем, — последовал долгий, страстный поцелуй. — Нет, ты меня, право, с ума сведешь! О Петре мы поговорим завтра. А сегодня, сейчас, только ты и я! Послушай, как шепчет ночь!.. Как дивно поет эта птичка! Как ее зовут? Со-ловей. Так, мне кажется, говорили...

Иди ко мне! Я люблю тебя! Поверь мне, жизнь так превратна и коротка! Надобно спешить ловить свое счастье! Ты, конечно, ничего не слыхала о древних философах? Об Эпикуре? И Овидия не читала? «Науку любви»? Ну да. Иди ко мне! Я тебя никому не отдам! Никакому Петру! Ты не пожалеешь, что выбрала меня в учителя этой сладчайшей из наук!

— Ох, милая! Делай со мной, что хочешь! Я твой. Я от тебя не скрою, тут меня посещала одна вдова. Но ты моложе ее и бесконечно красивее, и я ей скажу, чтобы она больше ко мне не приходила...

3.

В это самое время события происходили в Суздале. Юрий, вернувшись после разгромного похода, как уже сказано было, больше против племянника не злоумышлял, а мотался по Белой Руси, застраивая ее городами-крепостями, бросив правление Андрею. А получив известие о случившемся в Киеве, *«той же зимы тронул был в Русь, услышав о смерти Изяславовой»*.

Но прежде, чем идти с дружиной в Киев, хворал князь Юрий черной немочью, едва выжил. А вылечил его всё тот же Астор гречин. Но век этого князя оставался уже недолог.



Следом за Юрием собрался в Киев сын его Андрей, без которого тот не мог обойтись, и все остальные, чады и домочадцы, и Улита с Ольгой отъехали, и еще много людишек суздальских в стольный град, мать городов русских. Игумена Федора Андрей хоть не любил, но тоже позвал ехать. И бесподобный взял с собой образ, ту самую чудотворную икону Божией Матери греческого письма, перед которой всегда молился, а писан был тот образ, сказывали, еще евангелистом Лукой, и в Русь привезен греком Пирогощею, оттого и называлась та икона: Божия Мать Пирогоща.

А только дальше вот как всё вышло. Андрею не пришлось по сердцу киевская земля. Киев и раньше его, родившегося и всю жизнь до этой поры прожившего в Белой Руси, никогда не манил. И, пока на новом месте осваивались, устраивались, мрачен был князь Андрей и всё думал думушку и всё видел и всё примечал. Не видел только разума в делах отца. И стал скоро он проситься, Андрей, молил отца отпустить его назад, в Суздаль. «Тут я тебе уже без особой надобности, — так говорил отцу, — а стольный град Суздаль брошен остался. Негоже это!»

Юрий и слушать не хотел. А потом вот что случилось. В первый раз послушавшись отца, помолившись перед той чудотворной иконой, Андрей велел всем своим собираться в одночасье и без согласия Юрия тайком отъехал на север, тою же дорогой, какой сюда ехали, в милую его сердцу Русь Белую.

4.

Богородица едет во Владимир.

«Се азъ многогрешный инок Феодор пишу строки сии любве ради Господа Бога и святых ево угодников...»

Говорят, что Андрей плакал, уезжая тайком, против воли отца, в Суздальскую землю, точно и вправду знал, что не увидит его более живого. Сам-то я не знаю, плакал или нет, не видал...

А, отплавав, велел собираться своим близким, также и мне велел с ним ехать, и я послушался. Что мне было делать в Киеве?



С собой он увез ту икону Божией Матери предревнего письма, писанную, так я слышал, апостолом Лукой, а в Русь привезенную греком Пирогощю.

Говорят также слышавшие об этом чуде от самого Андрея, что ночью, с иконы сойдя, Она путь Андрею указала ехать. Сам-то я не знаю, сходила или нет, не видал...

Перед отъездом ко мне подошла княгиня Андреева и сказала, что сестра ее Ольга знается с иноземцем, моим шурином, и от него брюхата.

Со мною в этот раз едет из Киева давний знакомец мой Кузьма, мирянин и богомаз, никто лутше его не напишет образ и страницу на бело, украсив ю заставкой красной краской и с золотом...

Ехали той же дорогой и вот добрались, там крепостца небольшая стояла, основана была дедом Андрея, славного имени Владимиром Мономахом. Дело к ночи уже было, и вот в десять верстах от той крепостцы, от Владимира, кони вдруг стали и дальше не шли. Вечеру разыгралась непогода, ветер холодный гнал по небу рваные тучи. Распрягли тогда по княжьему велению коней и остановились на ночлег в сельце, что прилепилось над обрывом к речке Нерли. А наутро узнали мы про новое великое чудо! Будто Богородица ночью опять с иконы той сошла и Андрею в образе своем явилась и место это назвала: *Любимое Богом*.

А еще случилось со мной этой ночью. Мне место отвели в избе вместе с попом Микулой, а он храпит, окаанный. Я пошел пройтись, всё равно не спать, и не знаю, братья, непогода ли в том виновата, али еще от чего тоска меня взяла, и сельцо то, что прилепилось на краю обрыва аки гнездо воронье, показалось мне зловещим, точно должно было тут свершиться недоброе дело.

Мысли тут меня одолели, и один над обрывом стоял, как услышал вдруг шум и храпение внизу, словно некто невидимый карабкался наверх, громко пыхтя. Я не робкого десятка и силенкой бог не обидел Федьку, однакоже, братья, в ту минуту захотелось мне сломя голову убежать от того места, но ноги мои точно приросли к земле. А тот все полз, вот уже и руки и плечи показались весьма широки, мне даже почудилось сперва, словно это и не человек, а каких в краях наших не водится, большая обезьяна!..



А он вылез весь и ко мне во тьме шагнул и молвил знакомым мне, хриплым, словно придушенным голосом: «А-а-а, отче. Что, не спится тебе?» — и засмеялся.

И хотя я его тут узнал, это был Андрей, и страх мой прошел, но от вида его, незапно передо мною возникшего, и от этого смеха снова не по себе стало рабу божьему Федьке.

— А вот и к случаю, что мы с тобой встретились, — так сказал, шагнув ближе и вглядываясь в темноте в мое лицо, — я тебя по-расспросить хотел об одной штуке. О шурина твоём. Поговаривают еще, он чернокнижник? Ась? Чего молчишь? Не знаешь? Может, и про него и про свояченицу мою Ольку тоже не знал? Что они... Мне всё-ё ведомо. И мысли всехние тайные я знаю, — он помолчал, молчал и я, оглушенный такими речами Андрея. — А вот что я тебе еще скажу. Сволочь он, твой Астор. Колдун, чернокнижник и блядун. И про тебя знаю, — снова засмеялся и еще приблизил ко мне смутно белеющее лицо с разинутыми глазищами, яко у безумного. — А-а-а, тебе ее не видать! Я видел, как ты на нее смотрел. А она ведьма. Я-то знаю! Верные люди мне сказывали про то, как она и с гречином этим своим лечили моего отца от той черной немочи, вот и залечили наузами своими. Посмотри-ка на него, что со стариком сделалось. Таков ли он был! Как на десяток лет за несколько ден постарел. Извели его, извели!.. А! Я еще доберусь до них! Дай срок! И ты берегись, Федька! О-о-о, отче! Вот ты каков! Вот ты сейчас открылся мне. Как глядишь. Словно хочешь столкнуть меня с обрыву, с крутояру в глухую полночь!

А я как онемел, а он все говорил без остановки, бормотал, я слушал бормотню эту его и понимал — не понимал.

— Мы с тобой тут сейчас одни... Однако по-твоему не будет, — опять засмеялся хрипло, — потому как я не слабее тебя. Хотя ты моложе и в плечах поширше, и ростом я помене, но зато ловчее. Хошь померимся? Ишь, ишь, как глядит! Вот что я тебе скажу, Федька. Неизвестно еще, кому из нас околевать первому сброшену с обрыва, с крутояру в глухую полночь.

И отодвинулся от меня и заговорил с важностию.

— Слушай же! Сейчас скажу тебе. Здесь место будут таперича называть: *Любимое Богом!* Слушай! Она ночью опять мне явилась. Божия Матерь, — перекрестился. — Как я молился в тутошней церквушке,



сошла со стены и тако молвила об этом месте. Дескать, *Любимое Богом!* Так его и люди таперича станут называть. Боголюбово! *Славься Божия Матерь Володимерска-а-я-а-а!* — запел гнусаво. — Эй! Не гляди так, не гляди!

Уж я и не помню, братья, как от него утек, как ноги унес.

А дальше вот что было. Вскоре получили мы горестное известие...

* * *

Юрий, узнав про дерзкое ослушание сына, опоры своей, противу ожидания не осерчал и вдогонку не велел послать. Махнул рукой и, помрачнев, велел всем своим советникам убираться вон, а, оставшись один, задумался.

Он, в самом деле, за последние дни сильно постарел. Покривилась косая сажень в плечах, могучий стан начал клониться долу. Частенько видели его, как ходил на Днепр в предзакатные часы и подолгу стоял, глядя, как солнце садится, разливая плавленное золото по воде, и что за думы были у старинушки, Бог весть.

А после отъезда Андрея он вскорости снова тяжело заболел, а, восстав от ложа после болезни, ногу волочил, правый глаз выпучился и покраснел, да и говорил невнятно, и вовсе стал страшен. Однако привычек прежних не забросил, предавался не менее прежнего питиям и веселиям с женами, точно чувял, что напоследок всё это. Набожен особо и раньше не был, а сейчас и вовсе в церковь только по большим праздникам ходил.

И пять ден поболее после пира у осменника Петрилы, почил в бозе этот князь, о котором так сказал летописец:

«Сей великий князь был роста не малого, толстый, лицом белый, глаза невелики, великий нос долгий и накривленный, брада малая. Великий любитель жен, сладких пиц и пития, более о веселиях, нежели о расправе и воинстве, прилежал; но всё оно стояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев». (3)

По смерти же его киевские людишки, не любившие Юрия, также и за то, что их гнал и всюду сажал своих, суздальских, разгромили двор его в Киеве *«и другой ево за Днепром, ево же звашеть сам раем...»*



И похоронен был с почестями в родной ему киевской земле, возле Спаса на Берестове, *многими делами славен*.

Андрей, получив горестное известие, поспешил снова в Киев проститься с отцом. Но там не остался после Юрия сесть на великокняжеский стол, а пробыв недолгое время, вернулся туда, где застала его весть, во Владимир.

И там, изумив до оторопи всю Русь и все племена жившие в ней, объявил себя великим князем в Руси Белой, а столицей назвал крепостцу эту Владимир, сказав так:

Да будет сей град — великое княжение и глава всем!

И слова свои, дела свои вскоре подтвердил силой суровый князь, вновь изумив на этот раз самовластьем и жестокостью всю Русь. А на месте крепостцы этой Мономаховой тут же начали строить новый город, храм и терем из белого камня, и для этого созваны были Андреем отовсюду мастера и из немец, *«иных олову льяти, иных крыти, иных известью белити»*.

Белокаменный храм Пресвятыя Богородицы, *«каких не бывало никогда на Руси и никогда не будет»* (8) воздвиг на холме, и видим был тот храм с четырех сторон, от четырех дорог, ведущих к городу. Купол его золотой горел на солнце, и колонки пояса вызолочены, а между колонками лики многокрасочные святых угодников.

И если когда случалось самому ехать по одной из тех четырех дорог, то подолгу оглядывался на ту красу неимоверную, на сверкающий белизной и золотом храм, подобный храму Соломона, и, пусть хоть недалеко и ненадолго ехал, но, словно навек прощаясь, от умиления и сладкия печали, бывало, слеза непрошенная застилала взор и шептал про себя: **Красота моя неопишемая... Красота моя неопишемая...**



От Кузьмы. *Думал ли я, миряне, уходя из Киева, что за дремучими лесами, за глубокими долами, за дорогами длинными да речками змеиными, вновь я окажуся в столице святой Руси? Нет, не думал.*

Он же, князь велицый, Андрей, храм созда во граде Володимере, диво дивное, чюдо белокаменное, и ю украси иконами многоличными, и верх позлати, и сосуды церковные, и икону ту чюдотворную в тот храм помести и на нее возложа, не совру, миряне, гривен тридцать злата, кроме серебра, и каменьев драгоценных бещисла и жемчюга окатного...

И люди отовсюду, стар и млад, и убогие, и сырые, и калеки безногие, тащилися поглазеть да поклониться этому прекрасному диву.

Он же, грозный князь, вдруг призвал Кузьму. А я так подумал: что тебе, князю велицый, во мне, Кузьме, человеку малом?

А вот как вышло, миряне. Вздумал меня пытатъ он об игумене Федоре. Дескать, ты с ним пришел, что он да как? А я, миряне, мал, да не прост, ежели что знаю, али слыхивал, али читал, отопрუსя, мол, ведать ничего не ведаю, в грамоте и понятии слаб, милостив буде, князю, ко мне, Кузьме, человеку малому. А он сделался будто гневен и очами своими косыми на меня так воззрился. А я, миряне, виду его грозного вот нисколечки даже и не боюсь. Маленький я человек, но скажу так: мало что на свете может напугатъ Кузьму, пожил я довольно и навидался всякого, а что нужно Кузьме и всего-то доску али чистый лист по той доске мазати али по листу писати, украшая узорами разноличными, цветами невиданными, головами змеиными, красною краской с золотом.

И подумал тогда, не поздоровится ли игумену моему, и что и на меня таперича воззлится князь. Ан нет. Призвал он снова Кузьму и велел мне счёт вести тому злату-серебру и камням драгоценным, жемчюгу окатному, да за людишками присматривать, чтобы добро то не растащили. Слава те, Господи, что не дал ты мне корысти, токмо любоватся красой земною!

А еще расскажу, миряне, я чюдное дело. Сам видал, как князь посреди ночи встает, один в пустой храм идет, засовы отмыкает и свечи



взжигает и перед иконою той чюдотворной на коленях на холодном камени стоит, молится и плачет.

*Верх бо златом устроен и комары золотом, и пояс златом устроен, каменья усвети,
И столи позлати изовну церкви и покомаром поткы золотом,
И всяк обычай добронравен имяишь: в ночь входяишь в церковь и свечи
взжигашеть сам... (6)*

Потому и прозвище ему дадено было такое, Андрею: князь Боголюбовский. И он неустанно преследовал всяческие ереси, и вскоре после всех этих дел учреждено им было в Суздале, в приказной избе со всей строгостью дознание.

5.

Допрашивана была в судебной избе девка Ольга и с нею полюбовник ейный гречин о том, *«какой корень они давали, топя в молоке, пити князю Юрию Володимеровичу, и как та девка и ранее была подозреваема как чародеиница, волхва и зеленница, то расспрашивана была, где тот корень она взяла и для чего пить его давала и почему тот корень она знает и прежде сего тем коренем лечила ли и кого имянем? А как от того от корени зделаюца тоска и жар, как тое тоску и жар отвести и какими лекарствами?»*

А называла она, девка Ольга ту траву: «заячье копыто», и будто слыхала про ту траву от бабы своей волхвы и ю саму лечила от черной немочи. А про тоску и жар сказывала, что *«тое тоска и жар само минется, как станет человеку легше».*

Осменник Петрила и донес на них. Будто опоили князя Юрия та девка и тот гречин злым коренем.

В судебной избе сидели писцы и бояре, а сам Андрей не пришел глядеть на позор свояченицы. Ожидали из духовных лиц игумена из монастыря на горе, но тот с утра ушел, заперев церковь, неведомо куда, и не могли его нигде найти.

Чтобы испытать силу приписываемых ей колдовских чар, было сказано сделать ей так, чтобы *«нитке натянутой, не касаясь ее,*



велеть порваться; свече горящей — погаснуть; воробью — залететь в окно».

Она же плакала и клялась, что ничего этого сделать не умеет. Пока шел допрос, на дворе стемнело, хотя еще не вечер был, ветер сильный подул и растворил настежь окно, тут погасла свеча. Молонья взялась на полнеба, гром ударил, в темноте упало что-то и слышалось хлопанье крыльев испуганной, залетевшей в окно птицы. И запылал Суздаль с четырех концов, и судьи те в страхе разбежались.

Начавшийся сильный ливень быстро потушил пожар.

Судом и словом княжеским велено было в тот же вечер гречину Астору, прелюбодеею и чернокнижнику, убираться без промедления вон из Руси, чтобы к утру духа его здесь не было. А полюбовницу его сослать в далекий монастырь, чтобы никогда в жизни они более не увиделись.

Ливень продолжился за полночь. Вернувшись из леса, Федор в углу двора своего увидел сидяща на корточках, мокнущего человека, а перед ним на земле, заботливо прикрытая армяком, лежала балалайка.

В ту ночь не спали трое. Горе, отчаяние и слезы были в просторной горнице с жарко натопленной печью. Первым в ночь ускакал гречин, окутавшись плащом. Путь дальний ему предстоял, жаль было покидать насиженное место. Следом за ним ушел гусяр Константин и тоже исчез, как в воду канул, неведомо куда.

Оставшись один, Федор долго сидел, глядя на угасающие поленья в печи. А когда ночная тьма начала понемногу разволакиваться серою дымкой, и в ней начали проступать очертания предметов, ушел наверх в свою келейку, где за чугунной витой решеткой в окне в вечернем небе рисовался всегда один и тот же узор звезд, и стоял и смотрел безо всякой мысли на косо бегущие по окну струи, слушал рассеянно нескончаемое, как дождь, и однообразное бормотание немолодой монашки, укрывшейся от дождя под навесом, там стоял небольшой возок.

«Слава Тебе, Господи, великий царю, безначальный и невидимый и несознанный, ныне, присно и во веки веком...»

Много или нет времени прошло, когда вывели Ольгу. Она была в черном платье и шали. Федор давно не видел ее и был поражен тем, как она переменилась. Сжав с силой побелевшими пальцами чугунные прутья решетки, прижавшись к ним лицом, весь перейдя



во взгляд, стремился привлечь на себя ее глаза в немом провожании. Но она ни разу не подняла темных век, садясь в возок. Разбрызгивая грязь и переваливаясь по размытой колее, возок тронулся и вскоре исчез за поворотом улицы.

Он долго еще так стоял. И боялся заглянуть себе в душу, боялся разверзшейся там пустоты. Потом словно по неведомому наитию, отвернулся от окна, к столу подошел и быстро по листу начал писать, строчки ложились косо:

«Слава Тебе, Господи, великий царю, невидимый и несознанный, ныне, присно и во веки веком... Целуйте, люди, раскрашенную доску, пейте священное вино, кровь господню, ввечеру разбавленное водою монахом... Люди! Утром ее увезли.

Суров был князь, и плакала княгиня, я не спал всю ночь, провожая человека, любимого ею, им не дали проститься, они не увидятся более. Капли дождя аки слезы струились бесконечно по моему окну, лишь я один видел ее, но она ни разу не подняла глаз, а если бы и подняла, то не узнала бы в стороне за решетчатым окном моего лица... **Люди! Бози ваши — древо суть!..»**

Ударил внезапно в голову тяжелый дурман, он забылся сном здесь же, за столом, положив голову на руки. И увидел в забытии, видении или во сне, город в далекой стране среди моря раскаленного песка. Яростное, маленькое, рыжее солнце палило с дышащего жаром неба. В городе том и на улочках его видны были только глухие, длинные стены цвета такого же, как песок. И женщину увидел в черном, и черный плат на голове ее, она шла куда-то, а он сквозь мешающий покров все стремился в том сне разглядеть ее лицо, неуловимое и прекрасное... и не мог. Мелькал бледный, исчезающий профиль... Она ли это была, с кем он только сейчас расстался в недозволенных мыслях и мечтах, или... жена его, умершая Евлалия?!..

Вот обернула к нему бледно-смуглый, восковой лик, то ли Богородица сама, тонкие, живые и неживые черты; черный плат на голове сменился синим, засиял золотой оклад с кроваво-красным камнем... Но вот образ сей заслонило другое лицо, человеческое, с косыми скулами и жестоким и мечтательным взглядом полузакрытых очей... Князь Андрей целовал Богородицу в губы!



Когда очнулся от сна и выглянул во двор, было уже светло, и дождь перестал. Небо посветлело и стало выше; похолодало. Заглянул внутрь себя и с удивлением увидел: там, где только что сладостным и мучительным клубком свивались мысли около женщины, оставались пустота и зарождающийся холод одиночества. Не было больше сожалений. Ум его словно освобождался от тумана, снова устремляясь и любя лишь одни холодные блуждания разума по лабиринту мысли. И в расчищающемся от туч небе встала и засияла перед ним по-прежнему невыразимая ни мыслями человеческими, ни словами, ставшая ли ближе ему — **Истина?!**

«А было так со мной, братья, что во сне али видении мне открылась Истина! Я всё постиг. Все начала и все концы. И не было тверди под ногами моими, и ни земли и ни неба, ничего, кроме разлившегося всюду божественного света! Великое знание в меня вошло, я это помню, братья! И не было смерти. И не было времени. Великий покой и радость в меня вошли, и все страдания и все мучения мои враз исчезли, растаяли, как дым! Я был на вершине счастья. И всякого, кто бы пришел ко мне в ту минуту, утешил.

Истина вошла в меня, и я сделался неразрывен с нею.

Сколько времени длилось то блаженство и то великое знание?.. Не знаю. Быть может, вечность. Быть может, единый миг. Вдалеке будто бы начали рисоваться очертания гор и долины и источники...

Проснувшись, на меня обрушился мрак. Но мой ум, мои глаза хранили еще только что виденное и узнанное, оно и во сне никакими понятиями человеческими не выражалось и в слова мирские не облекалось, я же стремился всеми силами и чувствами то данное мне на мгновения краткие великое знание сейчас удержать, облечь человеческими понятиями и словами!! Тщетно. Неназванное, оно с каждым мгновением уходило, убегало с шумом из мыслей, из ушей и из глаз моих, яко вода уходит сквозь сито. Миг, — и всё ушло, я вновь ослеп и оглох и стал вновь яко червь, и не осталось у меня, братья, ничего, кроме памяти о никогда прежде мною не испытанном счастье!»

Жизнь его потекла с тех пор как будто бы по прежнему руслу, размеряемая каждодневными хождениями в храм в любую погоду, край плаща волоча то по размокшей траве, то по зернистому, хрусткому



снегу. Но внутри него переменялось. Он стал суше, взгляд острее и резче, и суровее сжатость губ. Черты приобрели твердость, сухость и суровость. И то, о чем передумал в долгие, одинокие вечера, засиживаясь допоздна при свече в келейке за древними талмудами, искало случая сорваться с неосторожных губ; он искал опасности; словно сам хотел погибели своей.

Лишь иногда, в редкие дни, когда внизу сидел в просторной горнице, глядя на огонь, пылавший в печи, — бесшумно за его спиной отворялась дверь, входила женщина и садилась к огню, боком к нему. Она была в черном; черный плат на голове мешал видеть ее лицо; в зыбкой тьме дрожал и струился бледный, исчезающий профиль, завитки волос, вылезшие из-за шали. Очень тихо, монотонно-тягуче, словно подражая в интонации кому-то, говорила ему убаюкивающие были-небыли, чудные сказки, тихие утешения...

«Судьбы неразгаданные, ушедшие людские! Вы не даете мне покою.

Порой закрываю я глаза, а вы обступаете меня, налезаете, наплываете бестелесным хороводом, волнуя прошлой любовью, неслыханным злодейством! Кабы не были вы живы и незримо растворены в воздухе, разве мучали бы меня так?!

Егда божественный Нестор высветил для нас единой свечой мрак минувшаго!

Свеча бы та да не погасла!

А я, братья, хочу вспомнить человека, идущаго утром по росе навстречу солнцу! И чья кровь каплями брызнула по траве... О вы, ушедшие в безвестии! Хочу вспомнить вас! Вспомнить ваши имена! Лица ваши хочу увидеть хоть на неуловимый миг! — и лица ваших женщин. Узнать, кто был вождь у вас и почитаем, а кто враг, кто страшен? Тихие голоса и смех ночью у зажженного костра жажду, тщусь, мечтаю услышать!

Так провожу порой долгие вечера и ночи в бесплодных бдениях... Того и гляди, заболēju сухоткою, и будет невежественный лечець жечь трут на моем теле...

Раб божий писал здесь инок Феодор любви ради Господа Бога и святых его угодников и своего Отечества ради во спасение...»



Ехали долго. Казалось, что дороге этой, покачиванию на ухабах и мельканию придорожной травы и бормотанию монашки никогда не будет конца, и это составляло **ее теперешнюю жизнь**. Шел дождь; после перестал; небо посветлело и стало выше. Похолодало. Монашка накрыла ей плечи шубой. Ехали вдоль берега реки, на той стороне чернел лес, и точно зеленым бархатом обитые, тянулись берега. Проезжали деревнями, мимо высоких, грубо, но прочно сколоченных изоб; все менее виделось цветов в палисадниках; все скупое орнамент наличников окон.

Но вот к исходу дня деревянные колеса застучали о настил проездной башни, и сверху откуда-то до ее ушей донеслось тихое, светлое пение, вселив в душу удивление и покой.

И дальнейшее происходило словно не с нею, будто во сне; ее ли губы произнесли слова отречения... Пышной пеной упала на пол коса. Новая сестра, черница Анна, была малоразговорчива; видели ее, что сидела всё одна, думая свои думушки и перебирая присланные ей кем-то по приезду дорогие четки. А когда подошел срок, Анна родила дочь, которую тут же унесли, пряча в рукава и широкие рясы, монашки.

Она же сделалась еще молчаливее и с виду утрюмее. Из кельи выходила только для молитвы, не ела и не пила, а ночами потихоньку, чтобы не слышали сестры, по-звериному выла, царапая покрасневшие, вспухшие груди. С ней сделалась горячка. Впоследствии кто-то сказал Федору, что она умерла.

Где-то около этого времени, однажды вечером зимним, видели на дороге, что вела с высокого берега Каменки к Покровскому женскому монастырю в Суздале — мужчину и женщину. Пусто было и безлюдно и бело все вокруг, так что каждого, кто шел туда, видно было сверху, с откоса. Мужчина был в одежде мирянина, и спешили оба.

Монастырские ворота отворились и тотчас же закрылись за ними. А, когда снова этих двоих увидели на дороге, уже к вечеру воздух становился синь, и кое-где замелькали в этой густеющей сини слабые огоньки. Обратно шли медленнее, женщина несла осторожно большую корзину, вроде как для белья.



Мало, кому известна была правда о том, откуда взялся младенец женского пола на богатом дворе киевского боярина Борислава, что у самых Золотых ворот, а те, кто правду знали, о том помалкивали. Присланы были из Суздаля также богатые дары: крест нательный серебряный с финифтью византийской работы, золототканое покрывало и евангелие старинное в златокованном переплете.

Младенца назвали, как было то завещано, Ольгою.





День третий. СУЗДАЛЬ

Есть, в самом деле, что-то таинственное в седой Мещоре, в темнеющей глубине ее разнозеленых лесов, близко наступающих с двух сторон на петляющую дорогу, то сбегаящих в овраги и рытвины вниз одноногими сосенками и кудрявыми березками, то широко разбегающихся на взгорьях. Мелькают названия деревень: Арзамачи, Кашеево, Батыево, Побойки! Века сплющиваются, сплачиваются, и из леса и воздуха проступают, сгущаясь, контуры и тени, слышны становятся стоны, звон, плач, крики минувшего!

Автобус легко несся по узкому шоссе, виляя на частых поворотах, в конце салона неутомимый Саня приплясывал лихо, подпевая: «Елки-моталки, просил я у гадалки, просил я у гадалки колечко поносить! На тебе, на тебе, не говори матери, не рассказывай отцу!», — в то время как группа отпускала шуточки на счет вчерашнего Санюного вечернего времяпровождения.

Рулил Толя. Он сидел, выпрямившись, отбросив спину к сиденью и слегка расставив длинные ноги с острыми коленками, так что туловище его образовало — классическая поза профессионального водителя, — два угла: тупой и острый. Могло показаться, что он едва касался руля.

— Вот тут Юлино место, — кивнул Николай Иваныч на дорогу и пояснил. — Она тут грибы любит собирать.

— Здесь недалеко Икарус гробанулся, — добавил, не оборачиваясь, Толя.



— Точно, — подтвердил Николай Иванович и обернулся к Геле. — Слышала об этой аварии? В «Советской России» писали.

Геля кивнула.

— Говорят, что водитель уцелел, — заметил Толя.

— Как он мог уцелеть? — строго возразил Николай Иванович, — когда пол-автобуса, к черту, снесло!

— Разве это здесь? — неожиданно вмешалась внучка Анны Керн, — а мне другое место показывали!

— Кто это тебе показывал?! — грозно спросил Николай Иванович. — Здесь это. Там и столбики поваленные!

— Писали, что трое сразу скончались...

— Больше. Сколько еще в реанимации.

— Ты, понял! — оживился Толя. — Я раз видел, как машина со стрелой въехала в автобус! Прямо по центру! Так и врубилась в стекло! Почти до середины салона доехала, а там застряла. Хорошо еще, что впереди немного человек сидело. Почти никто не пострадал.

Николай Иванович крикнул, но промолчал.

— А еще как-то, — воодушеваясь, продолжал молодой водитель, — велосипедист ехал, цепь у него соскочила, упал. А выворачивал от туда ЛАЗ. Затормозить не успел, у того голову так и отрезало! Покатилась...

— Слышал, как стучала? — сдержанно поинтересовался Николай Иванович.

— Вот ей богу!

Есть такая поговорка у водителей: «На каждом километре — наш человек»! Толя, молча, вырулил к обочине и остановился недалеко от туристического автобуса МНА 40–24, «длинной Наташки», из задранного заднего люка которого высовывалась нижняя половина туловища Машиного водителя, сама Маша стояла рядом, скрестив полные руки на груди, а группа Машина разбрелась по лесу. Буркнув: «Перекур!» — Николай Иванович и Толя вылезли из машины и направились туда. Машин водитель уже спешил им навстречу, вытирая тряпкой промасленные руки: «Ремень полетел!»

— Ремень полетел, — процедила Маша. — Везет, как утопленникам.

— «Быстро поедешь, тихо повезут» — заметила Геля из водительского фольклора.



— Ничего. По Мещоре погуляем.

Они перепрыгнули через неширокую канавку. В лесу было прохладно, влажно, пахло грибами сильно и приятно. Туристы шли навстречу, неся их в ладонях, румяные, крепкие.

— Какая прелесть! Это всего за каких-нибудь десять минут!

— Что ж ты не спрашиваешь, — заговорила Маша, помолчав, — где я была вчера?

— Где ты была вчера?

— У него. В гостях. Они приехали с женой из Владимира. Он там был... А мы с ней знакомы. Немного. Она, кажется, в курсе, что мы встречаемся... Или догадывается. Ты была права. Я решила про себя, что — конечно, и совершенно была спокойна.

— Молодец, — слегка озадаченно отозвалась.

— Он, кстати, возможно сегодня будет в Суздале... Приедет на своей машине. У него какие-то там дела.

— А-а-а, так вы еще встретитесь.

— Не знаю, может, встретимся, а может, нет. Мне это безразлично.

— Ага. Не будем уходить далеко.

Они вернулись к обочине. Сбоку к ним медленно приближалось нечто обширное, громоздкое, овально-увальные плечи, широкое красное лицо с маленькими ярко-голубыми глазками, и, приблизившись, заговорило скорбно.

— Мария Александровна! А скоро мы домой поедем?

— Ну, как обычно, после экскурсии по Суздалью обед, а потом сразу в Москву. Соскучились?

— Я по жене очень тоскую, — сознался детинушка.

— Что же вы не взяли ее с собой? — вежливо поинтересовалась Геля.

— Нельзя. У брата ее, моего шурина, день рождения. А он на меня обиделся. Сказал: «Если уедешь, я тебя убью».

— Зачем же так строго?!

— Он у меня милиционер, шурин. А я ему говорю: «А ну попробуй!».

А я их сам бью, — сказал, немного помолчав. — Я всю милицию бью.

— Как же так?!

— А так. Я в Адлере одного милиционера убил, — он поглядел в глаза экскурсоводу чистым голубым взглядом. — А мне все равно ничего не будет. У меня сосед по площадке зам. Р., прокурора Союза. Я ему мясо, картошку, всё достаю.



— А у вас какая, — Геля слегка запнулась, подбирая слово, — специальность?

— Я мясник, — сказал он просто и снова в глаза поглядел с таким выражением, как другой сказал бы: «Я поэт» или «Я художник»... — Я и сам, — продолжал, — раньше в милиции работал. Числился. У меня удостоверение было: «абитуриент Петровки».

(«Первый раз такое слышу!»)

— Мы дежурили, когда Останкинскую башню хотели взорвать. Слышали?

Дамы экскурсоводы стушевались и промолчали. Такие темы не принято обсуждать.

— Вы, наверно, любите... драться? — поинтересовалась вежливо Геля, серые глаза ее давно уже смеялись.

— А как же, — отвечал детинушка-абитуриент.

— Вы жену-то не бьете? — спросила Маша.

— Не, как можно. Женщину... А она меня сама бьет! — сообщил неожиданно. — Раз, головой об стенку. Она у меня третья...

Душевный этот разговор прервала, выйдя из лесу, старшая группы Любовь Алексеевна.

— Что, Леша, — спросила, похлопав детинушку по плечу, — все по жене тоскуешь? Идем, идем, — беря его под руку и, обернувшись, вполголоса пояснила. — Она ему всего рубль в дорогу дала. Вот он и тоскует.

Они отошли. Геля смеялась беззвучно.

— За такие рассказы, — убежденно сказала, — надо денежку платить. У меня есть такие заимодавцы. Я про себя помню: этому я трешку должна; этой пятерик. За цитату.

Черноглазый старший в синей куртке вышел из лесу, держа в пальцах крохотный зеленый букетик с кроваво-красными ягодами костяники; преподнес Геле, молча, с полупоклоном.

— Это и есть твой художник? — прищурясь ему вслед, спросила Маша.

— Старший группы мусорщиков.

Так с приключениями добрались до Суздаля. Проехали екатеринские заставы. Автобус остановился у слободы Скучилиха под стенами Спасо-Евфимиева мужского монастыря. Группа вышла и собралась в кружок около экскурсовода.



«В городе тридцать церквей, восемнадцать колоколен, пять монастырских ансамблей. Суздаль — город церквей, колоколен, старинных преданий и темных надгробных плит...»

Разве его можно назвать городом?! Это — чудо, сохраняющее себя в веках.

Художник Виталий с этюдником подмышкой, постояв и послушав, медленно побрел за угол старинной кирпичной стены, туда, где с откоса, с высокого берега изгибающейся излучиной Каменки, открывается вид на белеющий среди зелени, словно театральная декорация, женский Покровский монастырь, к нему спускаешься по узенькой тропке, где по бокам растет пахучая полынь. Тропка дальше ведет через мостик, где мальчишки у запруды ловят раков, к туристическому комплексу, обширной, сравнительно недавно застроенной гостиничными корпусами территории.

Оставив группу на попечении суздальского экскурсовода, Геля побрела неторопливо по длинной улице в направлении центра.

Улица... «у лица», так назвали, потому что окошки на нее глядели.

Не замечали? Когда по старинной улице идешь, то солнце прямо в лицо светит, а не сбоку откуда-нибудь, так что до него за домами не доглядишься, как в современных городах. А в конце или в середине улицы — храм, их так и называли: «кончанские» или «уличанские».

На улице запах сырости и малосольных огурцов. С дерева на длинной, почти невидимой ниточке улитка висит и крутится, весело ей. На высоком резном столбе старинных ворот важно кот сидит, большой, серый, с зеленеющими на широкой морде глазищами, закруглив полосатый хвост. Мужичонка, переходя улочку наискось, бормочет ласково: «Васька... Васька...»

За оградой другого домика — громкий детский плач. Она замедлила шаги, заглянула. Защемило чуть-чуть даже сердце. Столько за последние дни и ночи сама плакала, что непереносимы были еще чьи-то слезы... За оградой — трое взрослых, мать, отец и бабушка, тесным кружком стоя, глядели вниз и улыбались а малыш, упитанный карапуз в красивой, новенькой, вязаной матроске, заливался ревом, обняв маму за ногу, от какого-то своего крохотного детского горюшка. Один лишь миг, щелчок скрытой камерой; мимо заборчика прошла женщина в темном костюмчике с серыми глазами, взглянула и исчезла.



Она пошла его проводить к остановке автобуса. Потому что, как это бывает по разным причинам и обстоятельствам, они уже полгода не жили вместе. Хотя в паспорте всё еще стоял штамп, и колечко, про которое на маршруте задавали вопросы туристы, всё еще на правой руке носила, а провожать его уже ходила к остановке автобуса. Путь от недавно их общего дома был недлинным, а разговор перед этим был нелегким, шли оба этим разговором расстроенные, и во время продлившегося молчанья сказала успокоительно расхожую фразу:

— Всё будет хорошо...

— Нет, — отозвался быстро и тихо, глядя в сторону. — Ты не хочешь.

Она даже не поняла, не поверила услышанному, настолько неожиданными были эти тихо произнесенные слова. Потому что в недавней их совместной жизни именно он мог хотеть и не хотеть, решать, уходить и возвращаться, швырять телефонную трубку на другом конце провода... Ее же дело было — ждать, спрашивать: «Что будем делать, капитан?», терпеть и плакать иногда, и она привычно и охотно исполняла эту роль, смутно и где-то глубоко знала, что немножко всё же роль, но не знала, что и он тоже знает... И потом, когда, проводив его, обратно шла, думала и вспоминала, сомнение даже закралось: могли ли вообще быть произнесены им те слова: «Ты не хочешь...», не послышалось ли ей, не прошелестел ли это в ее ушах ветер, гнавший по небу рваные клочья сизых туч.

В обрывках туч уже просвечивалась белесая, полупрозрачная, огромная луна. Смеркалось. Автобуса долго не было. Мысли в голове роились; надо было что-то важное сказать на прощанье, обязательно! Время четко отзванивало последние минуты встречи, — сколько еще встреч таких у них осталось?!

Стояла, молча, сунув руки в карманчики жакета, склонив набок голову и время от времени поглядывая на густеющую луну и на дорогу, скоро ли придет?.. И даже вроде чуть-чуть улыбалась. И грезилась какой-то обрыв, и, наверно, уже нельзя было ничего изменить, и наперекор всему, чувствам и мыслям, упрямо и нетерпеливо сверлило в мозгу: «Пусть бы поскорей уж пришел проклятый этот автобус!»



Подошел, наконец, длинный, желтый, равнодушный, много в нем места. Он сам отыскал и торопливо пожал ее покорные, дрогнувшие пальцы.

Ах, вечер какой!..

* * *

Улица длинная, безлюдная даже в середине дня. А если кто-то идет навстречу, то издали уже приглядываются оба: что за человек, знакомый или нет?

В «Кулинарии», малюсеньком магазинчике на углу, куда Геля зашла поглядеть, есть ли кофе, маленькая, сухонькая, нищенски одетая старушонка ласково и искательно попросила продавщицу свесить ей маленькую жареную в маргарине и обваленную сухарями рыбешку.

Издали увидела, как навстречу ей по улице идет, помахивая рукой. Одет был просто, в серые брюки и розовую рубаху, но шел торопливо, не по-местному, не по-суздальски, и когда почти поравнялись, то заметно стало, что занят чем-то своим, мыслями и заботами, и не приглядывался издали к незнакомой женщине. Простое, красноватое лицо, очень светлые или, может быть, седые? — волосы, хотя видно, что не стар. Проходя, Геля наклонила голову и поздоровалась тихо, почтительно, с самой лучистой своей, не «маршрутной» улыбкой. Поймала быстрый, смущенный, почти робкий взгляд его голубых глаз, когда торопливо кивнул и пошевелил губами в ответ.

Ах, боже мой, ну кто же в Суздале и из приезжих экскурсоводов не знает знаменитого звонаря Спасо-Евфимиева монастыря Юру Юрьевича Юрьева. Так его называли, говорят, в детском доме. Откуда у него необычайный этот дар, бог весть. Концерты устраивал в монастыре, перебирая один за другим звоны, печальные и звонко-радостные, переливчатые и бахающие, умиротворяющие и тревожащие, когда очередная группа туристов замирала под старинными стенами. Раньше, до того, как кто-то его «откопал», крутили в монастыре магнитофонную ленту с записью звонов.

Это было, когда шла своей любимой тропкой от розовеющих на фоне жухлой травы, поражающих былой мощью стен мужского монастыря вниз, с горы, и уже всю тропку прошла, внизу, у мостика



через Каменку, услышала звон. Что это?!.. Сразу почувствовала: что-то не обычное! Живые, волшебные звуки рассыпались серебряной, переливчатой трелью с ладами и переборами и бог знает, с чем... Она посреди дороги так и остановилась, обернулась и, замерев, вслушивалась в ясный предвечерний час, как звуки наполняли прозрачный суздальский воздух, рождая среди тишины и покоя, всего пейзажа неброского и дивного, и голубеющего неба — отчетливое ощущение прекрасного...

Он прекрасен, этот город. Он прекрасен ранним летом, когда в первые июньские иссушающие жары так тянет окунуться в теплую, легкую воду Каменки, что вытекла *с полудни в полночь из-под камня*, в ее обманчивую глубину, где по ногам ласково заскользит подводная трава.

Он прекрасен в середине лета, когда точно по очерченному циркулем ровной дугой берегу Каменки косят траву, и всюду стоят копенки, жарко пахнет сеном, и мальчишки под мостом ловят раков... И еще есть в Суздале местечко, угол крохотного, старого дворика за сувенирной лавкой; покосившиеся ворота, сарайчик из темных досок, тихо и ни души, можно посидеть на завалинке; зной, лопухи, одуванчики, репей...

Он прекрасен ранней весной, когда мартовское солнце слепит, отражаясь от снежной белизны, и именно в это время года надо, подняв голову к солнцу, пить напоенный им благотворный воздух с легким морозцем, когда утопают еще в снегу темные бревна срубов музея деревянного зодчества, и лохматые жучки выбегают из ворот и радостно носятся по снегу, радуясь солнцу.

Он прекрасен волшебной зимой, когда все вокруг цепенеет, окованное морозом, и в ранних темносиних сумерках крохотные мигающие огоньки, как в театральной декорации, дрожат в оконцах келий Покровского монастыря, белеющего на всё окутавшей пышной, перевозданной белой пелене, и всякого, кто идет по протопанной в снегу тропке от Спасского монастыря, издали видно сверху, с откоса...





Часть 3. П А У З Н И Ц А

*Мнози бо отошедше мира сего во иноческая
и паки возвращаются на мирское житие
аки пес на своя блевотины.*

«Слово Даниила Заточника»

1.

Немало лет прошло со времени описанных событий, когда однажды в пасмурный, ветреный день начала марта на проезжем дворе недалеко от Киева за длинной лавкой сидели три черницы. Две из них, старые, были заняты остро пахнущей луковой похлебкой, ну а третьей, помоложе, явно не сиделось на месте, она непрерывно вертелась и хохотала на шутки подсевшего к ней проезжего человека, по виду, торгового гостя. А если бы кто захотел приглядеться к ней, то из-за длинной, пышной гривы неприкрытых и неприбранных, разметавшихся волос разглядеть лицо ее, неувеличиваемое и мелькавшее, было невозможно. Когда же удавалось чужому глазу ненадолго удержать бледный, исчезающий профиль, то ее красота и пристальность и серьезность взгляда делали контраст грубому голосу и смеху. Многие посетители проезжего двора перешептывались, глядя на нее, и даже вслух возмущались непотребным видом и поведением монашки. Уже некоторое время пристально всматривался в это неувеличиваемое лицо человек, небогато одетый и неприметной внешности,



сидевший у окна и до этого будто бы дремавший, положив голову на руки, а на коленях у него лежала балалайка.

А когда те черницы, поев и помолясь на образ, собрались дальше в путь идти и взяли котомки, — человек этот с ними пошел и в дороге пел, подыгрывая себе на струне, негромким, приятным голосом немудреные песни жизни, заставляя сердца их плакать или смеяться, глядя на несущиеся по небу лохматые, серые облака, кое-где обнажившуюся, чернеющую землю.

А в ночи те стояла в небе над Киевом *«звезда прелелика, испускающая луч велик!»* (3)

Киев, мать городов русских, встретил путников странной, неестественной тишиной. Лишь галки, крича, кружили над надвратной церковью опустевших Золотых ворот. И улицы были пустынные и безжизненны. Только вдруг раздался, разорвав тишину, от реки пронзительный женский или детский крик!

Вслед за этим, откуда ни возьмись, пронеслись по опустевшим улицам с гиканьем всадники с поднятыми пиками, на их шлемах развевались конские гривы, другие несли в руках зажженные факелы, всё происходило мгновенно, как в страшном сне, и вот уже горят дома, и весь город объят пламенем, и воздух пропитан удушливым дымом, снопы искр взметываются к небу! Повсюду раздаются крики ужаса, стоны и плач побиваемых. Что же это за нашествие обрушилось на замерший в ужасе город?! Кто эти безжалостные всадники, какого они роду-племени, не поганые ли лютые вороги, что не уважают наших обычаев?! Они не щадят монастырей, вторгаются за их стены и побивают спрятавшихся там людей в надежде у Бога найти защиту, грабят, тащат одежду и сосуды церковные, сбрасывают колокола, жгут книги! Ан нет на них креста?!!

Есть, есть на них кресты, и из уст этих ужасных и жестоких воинов исторгается воинственными воплями русская речь! И среди мечущихся в ужасе людей расходитя вдруг невероятный слух: разорение городу устроил возвысившийся северский князь Андрей, казня за непокорство и гордость его жителей и дабы утвердить в русском государстве таким жестоким образом новую столицу, Владимир.

Да будет сей город великое княжение и глава всем!

Три дня и три ночи по приказу Андрееву дикие эти рати, как тати иноземные, жгли и грабили город. Среди войска были и отряды на-



емные, родичей Андрея, ханов половецких, был один из них особо страшен и огромен, похвалялся саблей сечь Золотые ворота!

И было еще словно видение: в огне пожарищ, в завесах черного дыма видели обезумевшие, мечущиеся люди, точно черный призрак, бродила всюду среди развалин по обгоревшим головням — монашка, которую прежде не знал и не видел здесь никто, простоволосая, с гривой развевающихся волос, что-то бормоча, и глаза ее дивно и страшно сияли!

Ну, а когда бесчинствовавшая эта рать убралась восвояси так же незапно, как появилась, и потихонечку жизнь, уцелевшая, робко начала вновь показываться пугливыми тенями за крохотными окошечками чудом уцелевших построек, и монахи Печерского монастыря, среди которых много было молодых и сильных, пригодных и к ремеслу пахаря и к воинскому делу, — они одни сумели во время великого этого разорения отстоять невредимой свою обитель, — теперь ходили по улицам и оказывали всяческую помощь оставшимся без крова и раненым, — то женщину ту, монашку безумную, видели иногда в Подоле. Никто не знал о ней, где жила, и было ли у нее жилье, только появлялась вдруг неожиданно, шла всегда одною и той же улицей, в черном, съехавшем с одного плеча платье, с гривой непокрытых развевающихся волос, ни на кого не глядя и что-то бормоча. Иногда ее замечали беседующей, по виду разумно и спокойно, с одним человеком. Он тоже недавно поселился тут, но его-то все хорошо знали, был желанным гостем и на свадебном пиру и на тризне, неведомо откуда забредший в эти края издавека гуслир и певец Константин.

Немногим позже, смилостившись, показав свою силу киянам и приведя их в полное подчинение, грозный северский Андрей послал сюда наместником брата своего Глеба, а также денег и мастеров прислал для возмещения убытку и на восстановление славного города, как бы сожалая и винясь перед его жителями за вынужденный разбой, также и на позлащение храма им выделено было немало.

И в то время как мать городов русских, Киев со святою Софией, едва начал оправляться от страшного разорения, — новая провозглашенная и теперь утвержденная силой столица Владимир строилась и украшалась.

И не только киевские, но повсюду люди уstraшились Андрея. Не понимали ни его испуленного боголюбивого рвення вкупе



с проявлениями жестокости, и всё больше обособлялся от остальных людей, боялись его и называли самовластцем.

Неустанно боролся с ересями, а тех, кто, по его мыслям, были виновны, даже и из священных лиц, тех лишал сана, а одного, игумена суздальского, даже казни жестокой предал, свершилась эта казнь в Киеве дабы еще более утрашить жителей.

И в том сельце под Владимиром, что стали звать Боголюбовым, водрузил храм из белого камня и великокняжеские палаты с галереей, и там теперь жил и, как и раньше бывало, ночью, восстав от сна, спускался один в храм, свечи возжигал и. на сыром полу на коленях стоя, молился.

И во время тех бдений и молений ночных в пустом храме, взгляды-ваясь со слезами, застилавшими глаза, в темно-золотой лик менявшийся, оживавший в неверном, колеблющемся огне свечей, то всё казалось ему, что вот-вот — еще одно мгновение восторга и ожидания, душевный порыв, подхватывающий его аки на крыльях, — блаженная судорога и экстаз веры, и Она, шевельнувшись и вздохнув, вдруг вправду оживет и со стены этой, с доски к нему сойдет! — да, да, сойдет — в мгновение следующее!!

* * *

В самом деле, великолепен двор князя Андрея в Боголюбове! Богат и пышен храм Пресвятыя Богородицы в нем! Пол в нем выложен разноличной плиткой. А сколько золота пошло на украшение его белокаменных обводов и закомар! Недаром летописец сравнивает его с храмом Соломона! Но, присмотревшись, что-то тревожащее душу кроется в этом великолепии. И не светло храм тот парит, и не во все стороны развернут, как храм Успенья во Владимире, а сбоку от дороги притулился, и сельцо это Боголюбово нависло над обрывом, как гнездо воронье... Всё кажется, что здесь должно свершиться злое дело... Из храма через белокаменную галерею попасть можно в башню, с которой, так говорили, князь Андрей озирает окрестности. Во все стороны обращены ее мрачные окна.

Вот по дороге от села к замку княгиня Андреева идет, развеваются на ветру концы ее шелкового убруса. Вот от небольшой толпиш-



ки странников и нищих, расположившихся у дороги, отошел один и идет к ней. Это вожатый, он только что потешал народ с пляшущим медведем. Поклонился и тихо ей что-то говорит.

— Поклон тебе, княгиня. Милость окажи убогому страннику, подай Христа ради.

Она, не взглянув, полезла за пазуху и сунула просившему торопливо две медные деньги.

— Не щедро доришь, ненаглядная, — тихо, насмешливо сказал, чуть приблизясь.

Она взглянула изумленно и уставилась вдруг, как на привидение, вглядывалась всё пристальнее в черты осунувшегося, запыленного, усеянного мелкими морщинками лица, изгиб губ, некогда алых. Тихо ахнула, закрыв рот рукой.

— Петр! Да неужели ты?!

— Тихо. Не делай виду, что узнала меня.

— Петр, голубчик, а мы-то всё думали, оплакивали... Да откуда же ты вот так-то явился?! Где же был всё это время?! Господи!

— Где я был, там таперича меня уже нету, — сказал. — Слушай меня. Я сейчас пойду...

— Нет, нет, не уходи, Петр, голубчик! Уйдешь, опять пропадешь!

— Никуда я не пропаду. Приду вечер, постучу к тебе в окошко, жди меня, сестра. Спрошу тебя, — слегка охрипшим голосом, — а что, Ольга, она... здесь?

— Эка, хватился, — сказала, отвернувшись, крестясь, — померла она. Упокой, Господи, ее душу.

— Как померла! Не может того быть!

Молчание.

— Когда?

Да уж прошло сколько.

— Отчего?

— Родами. В монастыре.

Молчание.

— Ребеночек-то чей?

— Да был тут такой... гречин, колдун, чернокнижник. Андрей отослал его... Оттого и в монастырь ее приговорили. Такая сказка была страшная, молила, плакала, да ничего не вымолила, не выплакала.



— Страшная, говоришь, сказка? Стало быть, его дела?! Ражего твоего? — спросил, кивнув на башню.

Она молчала.

— Всё мир удивляет, — медленно заговорил, — а что бы ему и уняться. А не уймется сам, так не найдется ли управа на него, си-лушка лихая, молодецкая. Раздавить, и все дела, — добавил совсем тихо, глядя, как дорогу переползает большая рыжая гусеница.

— Не очень-то ты его раздавишь, — с неожиданным спокойствием отозвалась княгиня, и в ее озерах-глазах, приблизившись к краю, на мгновение сверкнула серебряной змейкой кружилиха-напасть. — Андрей и сам силен, как бык, одолеет аж десятерых! Слуга верный и преданный сторожит дверь в его спальню. А над кроватью Андреевой висит остро отточенный меч-кладенец, тяжелый, мне в руке не удержать. Да и сам он заговоренный.

— Как так заговоренный?

— А вот послушай, — зашептала, — что тебе скажу. Завсегда носит он на пальце перстень большой с затейливым узором. Этот перстень, умирая, на палец ему надела мать-половчанка и чему-то учила. Он его не снимает ни в кровавом бою, ни на веселом пиру. В нем, в перстне этом, его, Андреева, сила и неуязвимость.

— Что ж из того, — начал медленно, раздумывая, — что он здоров и силен и справится с десятерыми. Возьмем двенадцать. Слуга, говоришь, верный и преданный? А, видал я этого слугу. Это Анбал. Я говорил с ним. Он мне дверь в башню сам откроет. Чего глядишь? Не веришь? Думаешь, сколько я ему дал, и верно ли дело? А нисколько я ему не давал и даже не сулил. Но я его узнал. Этому человеку дано будет испить сладкую и страшную чашу предательства. Вот про перстень я не слышал. Это похитрее будет. Да что там! Отрубить руку, как голову драконью.

— А... меч?

— Меч ты сама со стенки снимешь и мне принесешь, сестра.



2.

Снова в Киеве. Конец сказки.

Где-то недалеко от этого времени было в Киеве, в Подоле, та безумная монашка шла, по своему обыкновению, не глядя вокруг, только под ноги себе, что-то бормоча, как вдруг, словно почуяв что-то, оглянулась и увидала, что не одна она идет, а вокруг, спереди, сзади и с боков, всюду шли туда же люди, не по принуждению и вроде бы не как на праздник, без шуток и без смеха, тихо о чем-то переговариваясь. Выходили купцы, запирали лавки; жены волокли за руку детей. Оттесненная этой всё увеличивающейся толпой, монашка пугливо оглядывалась, — не убежать ли ей? — но вот толпа замедлилась, обтекая двумя широкими рукавами срединное место, называемое **Пёсьим островом**. Там был помост и стоял дюжий мужик с топором. Повернулась было, чтобы убежать, но тут сбоку выехала телега, а в ней в сером рубище сидел человек.

День был пасмурен, небо затянуто высокими и светлыми, плотными тучами, сквозь которые маленькое солнце проглядывало наподобие ослепительной серебряной бляшки. Голова того человека в телеге обильно заросла волосами и бородой, словно припорошенными серой пылью, и лицо словно вырублено казалось из серого камня. Она припомнила, что прежде отливала на солнце волоса эти рыжиной и — закричала!

Тот, в телеге, не расслышал ее одинокого крика и не видел глаз, к нему приковавшихся в немом провожаньи. Только ближние к ней стоявшие оглянулись с любопытством и ужасом.

А она бросилась бежать и не видела, как мужик с топором схватил осужденного за волосы и, выволоча на помост, зажав тому голову, выколол оба глаза, так что по щекам заструились кровавые слезы, толпа же ахнула в сладострастном ужасе, а палач, действуя споро и ловко, словно разделявал коровью тушу, сперва, разжав несчастному зубы, вырвал язык, а после, бросив тело на помост, отрубил одну руку, после другую, а потом голову и поднял за волоса высоко над толпой: «Глядите и страшитесь православные, так будет со всяким еретиком и нечестивцем! Страшитесь Божьего и княжеска суда!»



Свершилась лютая казнь, и разошлись уже люди по домам, а монашка всё еще бежала от того ужасного места, не разбирая дороги, по кривым улочкам, пока не очутилась у городских ворот, что вели к реке, носивших название: «Водяные». Открыты ворота были и брошены стражниками в этот час ранних сумерек. Небо расчистилось, и побагровевшее солнце тяжело опускалось за реку, разливая плавленное золото по воде. А на берегу чуть поодаль бесформенной грудой возвышалось древнее, заброшенное строение, похожее на языческое капище, окруженное старым кладбищем с полуразрушенной стеной. Не ведая, зачем, словно влекло ее что-то, подошла ближе. Стены капища поросли мхом и травами, в длинных щелях между камнями притаились глубокие тени; а на широких, потрескавшихся ступенях сидел человек, опустив голову и тяжело задумавшись, и по склоненным плечам и тихим всхлипам заметно было, что этот человек только что пережил большое горе. Рядом видна была свежеврытая могила и валялась куча серого тряпья с темными пятнами. К тряпью этому внезапно приковалась она взглядом и невольно произвела шорох, отчего человек тот вскочил и дико на нее воззрися.

Поклонившись, подошла ближе монашка и заговорила, и речь ее была ясной и разумной.

— Умер он? Федор? — кивая на могилу. — Его хоронишь? Да ты сам кто ж ему будешь?

— А ты почему знаешь? — начал было, но остановился и замолчал, приглядываясь, потом еще молвил. — Сродственник я сему несчастному, безвинно убиенному, сестричич его Борислав. А ты-то кто?

Она раздумалась, что сказать, но тут из-под горы вышел отрок, ведя под узцы двух коней.

— Пора нам, батюшка.

Монашка, перекрестив могилу, на колени встала и приникла головой. Вдруг словно что-то почудилось ему в жестах, движениях, повороте головы, рассыпавшихся по плечам волосах, и силился в сгущавшейся тьме разглядеть ее лицо... что-то было в нем словно мучительно знакомое, но связанное не с ней, — это точно знал, — не с этой никогда прежде им не виденной женщиной. И несколько еще мгновений эти трое стояли, молча, тревожно вглядываясь друг в друга, медля разойтись.

Потом она ушла. А мужчины вскочили на коней.



Киевский боярин Борислав, оплавав и похоронив сестричича, не желая целовать крест владимирскому самовластцу, утекал на Волынь, чтобы служить Мстиславичам, как и его отец и дед верными были слугами Мстиславу, сыну Мономаху.

Скакали долго, всё больше лесом. Когда далеко уже были они от города, поехали шагом, и боярин ласково спросил отрока: «Устала?» — отрок обернулся, покачал головой, задев за ветку, слетела шапка, и густые темные пышные волосы рассыпались по плечам.

Не может того быть!! Вдруг дикая догадка мелькнула в голове боярина. Ужели то она была?!

Он резко остановил коня и в растерянности оглянулся. И так стояли некоторое время посреди ночной тишины на лесной дороге боярин и недоумевающий отрок. Потом дальше тронулись, но еще не раз за время пути боярин Борислав приостанавливал коня и оглядывался.

* * *

Стого страшного дня немного совсем времени прошло, как Русь была, как громом, поражена новым ужасным и невероятным известием. Прошел в Киеве слух, будто ночью в своей постеле в замке Боголюбове заговорщиками был до смерти убит сам грозный князь владимирский Андрей Юрьевич. Нашли-де тело его, искромсанное, с отсеченной рукой, где-то под лестницей в проходе, куда пытался он, еще живой, от убийцев своих уползти, но те его догнали и добились. И не боялись будто бы ничего и никого, и не таились, а утром сторожили место, чтобы не дать людям приблизиться и похоронить, желая бросить тело псам на съедение. И имена их известны, а начальник убийству — брат княгини Андреевой Петр Кучков.

От Кузьмы. Не дай вам Бог, миряне, пережить да перевидать столько, сколько перевидал да пережил Кузьма азъ, мирянин и богомаз, дивяся на дела людские, неправедные да злобные. А расскажу, что видел сам, своими глазами. Что лежит он неживой, а ввечеру был живехонек, и все со страхом ему поклонялись, а счас вот в саду лежит непогребен, и никто нейдет к нему, чтобы свершить христианский



обряд, бояться мести от убийцев Андрея, которые сейчас из окон дворца, ничтоже не бояшася, глядят.

А мне что печься об убиенном? Это он, Андрей, послал на лютую смерть игумена моего, и остался я на белом свете один одинешенек. Но однакоже, миряне, этого дела не хотя так оставить, спустился я и пошел к нему в сад. Иду, а сам оглядываюсь, да и то сказать, едва не трясуся. Я, миряне, пожил немало, однакоже так вот сразу помирать — кому охота? Встал под окном и кличу Анбала, слугу его любимого, чтобы скинул мне никакой покров, а он отвечивал мне: «Поди прочь!» — и окно захлопнул. Я же продолжал его совестить и стыдить, говоря, что взял его к себе Андрей в одних портах и милостями осыпал! И трусливый и жалкий этот раб сбросил мне ковер. Я пошел тогда к убиенному с тем ковром, и вот что скажу, миряне. Пока шел, то не слышал позади себя ничего, ни окрика и ни единого звука, и никто, да, миряне, никто не пытался мне помешать али убить меня.

И подошел я к нему и обомлел, бо вид его был страшен. Содрогнулся, но, прочтя молитву, укрепился. Над убитым наклонился. Вот он лежит, вчера еще всем грозен, а сейчас малая букашка, что по цветку ползет, главнее его! И накрыл его ковром и понес, и рука Андрея, уцелевшая, легла, бессильная, на мою, будто благодаря меня.

От Андрея. Смерть... незапно, неожиданно... безжалостно... убили... Какое зло сделал я вам?! Господь отмстит вам за кровь мою... Я умер. Я знаю, что умер. И никогда-никогда не пошевелить мне рукой и не приоткрыть тяжелых век, словно камнем завалило... Тяжко очень. Словно земля и небо навалились на меня и не могу дышать. Я умер. Но я еще слышу... Словно гудение али жужжание, и знаю, что это мой дух исходит из тела. И вижу... Я еще вижу!.. Не открывая сомкнутых век, на темно-красной пелене... вижу храм... Благодарю, о, благодарю Тебя, что дал его увидеть, прежде чем ослепнуть и оглохнуть навек... Мне покойно. Господи! В руце Твои предаю дух мой...

Красота моя

неописуемая! Красота моя

неописуемая! Прощай!



От Кузьмы. И донёс я ево, миряне, хотя тяжеленько было, и во храме положил на холодном камени, и были мы в тот час с ним одни вдвоем, он, князь велиций, и я, Кузьма, человек малый, и сравнялися мы с ним, и понял тогда азъ, чем спасуся, тако же и весь род людской в свой последний, страшный час. Не богатством, златом ли силою, а токмо касанием руки человеческой, последним теплом и прощанием, жизнь со смертию соединяющим!

Ну, а счас, миряне, пиша это и плача, в игумновой постройке сижу наверху, где сам сиживал над книжныя премудрости и над писаниями своими, из коих множество листов переписал азъ, Кузьма, мирянин и богомаз, украси заставками с цветами невиданными, головами змеиными, красною краской с золотом.

И нету ничего, не осталось. Сгибло всё. Сожгли писания и книги все по приказу Андрееву. Велик пожар был в Суждале на площади. А я прежде еще, когда взяли игумена моего в железа и увезли, что успел, перетащил к себе в каморку из тех книжныя премудрости, а недавно вот, пергаменты старинные перебирая, выпал оттуда листок, исписанный косо, я сразу узнал, неразборчивым и словно лясчим почерком Федора. И прочтя тот листок, узнал, что игумен мой любил женщину и страдал и был с нею разлучен.

Писал строки сии азъ, Кузьма, мирянин и богомаз любви ради Господа Бога и святых ево угодников и отечества ради своево во спасение, наставление и память всем пользоваться.

От неизвестного монаха летописца. (нрзб) князь Михалко Юрьевич иулиа... (нрзб) сев на столе в Киеве, тех заговорщиков, убивших брата ево Андрея, перебил... (нрзб) побросали в озеро. А княгиню ево Улиту пустили плавати, зашив в короб, покуда не помре. А мне, братья... (текст обрывается).

Связавши по-двое, каменья привязавши, побросали их всех в то озеро живыми. А один из казнимых, рванувшись, тогда закричал что есть мочи:

— Прощай, Ольга! Прощай любовь моя, жизнь моя!

А после того, как замолкли на берегу стоны и жалобы и проклятия потопляемых, и людишки, поглазеть на казни собравшиеся, начали уже понемногу расходиться, долго еще по тому озеру плавал



берестяной короб, а в нем лежала княгиня Улита. И когда ни один взгляд человеческий не мог видеть ее лица, раскрылись озеро-глаза, и из них исторгнувшись серебряною змейкой, *кружилиха-напасть* улетела в бездонную голубизну приблизившегося неба.

Лежит то озеро посреди чащи лесной, и черна и глубока вода в нем, и с тех пор люди стали называть его *Поганим*.

А когда никого уж не осталось у того озера, и тьма поднялась между стволами деревьев, от одного из них отделилась темная фигура, спустилась к воде, к самому краю, словно желая сойти, но — вот чудо! — трижды сходила, и трижды озерная вода отступала от ее ног. И, поглядев сухими очами, поклонившись тому озеру, пошла по лесу, не разбирая тропы, пока не вышла к реке. Лодчонка тихо плескалась среди прибрежной травы. Гребец с темным лицом не спросил, куда везти, и лодчонка заскользила вниз по реке. И после еще дорогами шла, одна или со странничками, и никто не спрашивал ее, куда держит путь, и даже об имени ее, а она и сама в странном оцепенении словно позабыла, потеряла ощущение самое себя и даже удивлялась звуку собственного голоса, когда говорила кому-то простые слова или сочувствия чужому горю. И не знала, — кто она? Ольга или черница Анна, словно уже начинала становиться частью воздуха, земли и леса...

Вот и знакомые места, высокий холм на берегу реки, — но что это?! С одного боку лес вырублен, а у вершины весело смотрится свежесрубленная нарядная крепостца с теремами и маковками, вся точно пряник расписной, от ворот тропинка бежит к реке, у мостка бабы полощут белье, и на нее заглядывались, простоволосую, неприбранную, в износившемся монашеском платье. От глаз этих, от вида всего, снова убежала в лес, в самую гущину, знакомыми, заросшими тропками бродила, где корявые сучья задевали за растрепавшиеся волосы, точно ласково поглаживали. Вот лес поредел, и вышла на большую поляну, заросшую высокой травой с белыми цветками, издававшими пряный, сладкий запах. Солнце, освещая край неба лимонно-желтым светом, готовилось вот-вот опуститься за черный частокол елей у вершины холма. Боярский дом посреди поляны угрюм, заколочен стоял. Стену вокруг бывшей усадьбы боярина Кучко, сильно обгоревшую во время того пожара, разнесли по бревнышку, оставив сто-



ять лишь одни чудом уцелевшие — ворота, и с них всё так же победно, подъяв лапу и замерев в прыжке навстречу друг другу, оборотив к глядящему полужверинные-полуженские лики, — два льва с длинными локонами и усами и очами в раскидистых ресницах улыбались весело и страшно!

Она долго глядела в их оскаленные морды. Вздохнула, поклонилась, молвив: «Прости, прощай, Русь, душегубица», и прочь пошла. Тут уже недалеко было до Девичьей заводи. А уже и некому ей попенять, что ходит на окаянное это место, некому самой поплакаться. Умерли все. Сестрица Улигушка, белокрылая лебедушка, умерла тяжелой, *нужною смертию*. Лютой казнью казнен самый добрый для нее из всех людей монах с ласковыми и насмешливыми глазами. Андрей, тот сам ненадолго Федора убиенного пережил, и его, не помня зла, помяну. О доченьке своей безвестной, сиротинушке горькой, поплачу, — где она, жива ли? А счас вот нету в животе больше Петра. Ах, Петр, бедный мой Петр, уже никогда не увидать мне твоего лица, прекрасного и мучающего. И выпита до дна чаша страданий, и мне туда вслед за ними за всеми пора.

Стояли *русалии недели*. Заводь густо заросла травой, по воде плавали желтые кувшинки. Она сошла к воде, трогала тугие их лепестки и целовала и замочила подол и конец косы. Постояла на берегу. Сняла с шеи крест, положила на землю. *И если умрет один, то другому живу идти в могилу.*

Когда зашла по пояс, в середине реки поднялось зеленое марево, вода пошла кругами, из нее вышла красавица Верхуслава и, смеясь, увлекла ее под воду.

* * *

Много, мало ли времени с тех пор прошло, когда случилось быть в этих местах и в новой крепостце этой Москве киевскому боярину Бориславу. Долгую жизнь проживши, многих своих сородичей и друзей переживши, приехал не один, а со своей приемной дочерью Ольгой. Здесь ее увидел и узнал старый песенник и скomorох и поведал *скаску былых времен*.





В торговых рядах натолкнулась на Машку, — здесь не разойдешься! У той в руках был сверток.

— С покупочкой. Чего там у тебя?

— Да ну так! Рюмашки, давно мечтала! Разворачивать не хочется.

— Не надо. А я вот что нашла.

Маша повертела в руках тоненькую голубую книжицу.

— «Житие Евфросинии Суздальской». Интересно?

— Профессионально.

— Пошли? У тебя ведь тоже в Покровском обед?

— Пешком что ль?

— А то как же?

— Я думала, дойдем до Спасского, а оттуда с нашим автобусом.

— Зачем? И дождичек перестал. Прогуляемся. По Стромынке.

— Кругаяями, — с сомнением, — А, ладно, пошли. «Сто верст для бешеной собаки — не крюк!» — как говорят наши водители.

— (помолчав, Маша): Вот кто мне надое-е-ел!

— Пристают?

— Самцы. Весь интерес ниже пояса. А к тебе разве нет?

— Я не в их вкусе, — засмеялась Геля.

От расписных, выложенных цветными кирпичиками ворот Ризоположенского монастыря, от Преподобенской колокольни дорога, крутыми кольцами, виазь, резко уходила вниз. Под стенами монастыря лопухи, репей, бурьян, желтый чистотел. Повеяло дремучей стариной.

— Ты представь, как по этой дороге, по Стромынке, ездил молиться в Суздаль Иван Грозный.



— А еще раньше Василий III заточил сюда свою Соломонию. Меня как-то группа попросила рассказать подробнее эту историю. Местный экскурсовод не успела.

— *Постригись, моя немилая, посихимись, моя постылая.* Круто с нами поступали. Что ни говори, а прогресс существует. Вот мы с тобой две современные раскованные, самостоятельные женщины. Ты, правда, замужем.

— Ну, это такое дело... Сегодня замужем, а завтра...

— Да, так вот и ответь мне. Стоит выходить замуж или нет?

— Ох, — Геля рассмеялась, — спроси что-нибудь полегче.

— Почему? И вообще: для кого мы выходим замуж? Для себя или для окружающих?

— Что, дэвушек, ерунду спрашиваешь? — имитируя грузинский говор. — Конечно, для окружающих. Для друзей, родственников. А если серьезно, то именно этот вопрос я себе задавала перед вторым замужеством. Нет, не подумай, я хорошо отношусь к своему мужу. Но, то, что я самой себе тогда ответила, меня саму шокировало. Кому как, — поёжилась, — а, по-моему, одной всё-таки хорошо... Домашний мужчина — это всегда хамство. За редкими исключениями. А от этого устаешь, — немного помолчав. — Глупости говорю, да? Но, знаешь, что я один раз еще подумала: с ним, когда вдвоем, — нестрашно!..

— Это как это? Не понимаю. Тебе разве до этого было страшно?

— Не помню. Нет. Просто, взяла и так подумала, что нестрашно. Я и сама не понимаю.

Покров монастырь, место заточения царственных узниц, стоит на низком берегу широкой дугой его огибающей Каменки, от его ворот с надвратной церковкой, широкими кольцами виазь, идет дорога до самой Москвы, издревле носившая название: Стромынка по имени стоявшего на этой дороге большого села Стромынь.

Днем территория монастыря, небольшая, по сравнению со Спаским мужским монастырем на горе, заполнена туристами. Здесь и живут в двухэтажном корпусе, бывших покоях архимандрита, или в оборудованных под гостиничные номера кельюшках, где всё стилизовано: изразцовая печь, половички и лавки, электрические свечи в светцах, — других привозят автобусы на обед в монастырской



трапезной, где старинные своды, широкие столы, лавки. Женщины заглядываются на молоденького официанта в черном, разносящего фирменное суздальское жаркое в глиняных горшочках, — смуглое, красивое лицо с небольшой черной бородкой, точно со старинной иконы, черные глаза.

Ну, а когда на «чистом Суздале» автобус провозит туристов вечером поздним по словно вымершим кривым, узким улочкам и мимо белеющей на подворье монастыря церкви Петра и Павла к наглухо запертым в этот час воротам, то они кажутся огромными и неприступными, эти старинные ворота с потемневшими массивными задвижками, и группа, выйдя из автобуса и спустившись к темнеющей сбоку ворот маленькой дверце, притихнув, со странным, суеверным чувством (оно бывает даже у выдавшего виды экскурсовода), что эти ворота вообще не откроются никогда, и что же они будут делать в тишине наступающей ночи? — доверчиво теснясь к экскурсоводу, окружает его плотным кольцом. Но вот за высокой стеной слышится звяканье, и в образовавшемся проеме возникает, внося мгновенное успокоение, знакомое улыбочное лицо сторожа-смотрителя музея: «Проходите! Ждем».

Вспомнилось, как однажды, расселив группу в корпусе, получив от администраторши «по благу» ключ от домика-кельи, неслась в темноте по пустому монастырю, хлюпая сапожками по подтаявшему, в лужах, весеннему снегу, с тяжелой дорожной сумкой, радуясь, что будет два дня жить одна в кельюшке, точно мон.ашка, но никак не могла домик свой найти, обежав весь темный полукруг тесно одна к другой стоявших избушек, и понемногу начала уже привычно дергаться, и в адрес администраторши, ей плохо объяснившей, в какую сторону идти...

И вдруг внезапно, словно какой-то силой приторможенная, даже приостановившись, — мгновенно и ясно вошло сознание, что ей *совершенно некуда и не зачем здесь сейчас по-городскому нервничать и спешить...* И, прислушавшись к звенящей ночной тишине, к ее наполненности чем-то, чего в обычной жизни не понять и не расслышать, потихоньку пошла... и быстро свой домик нашла и ключом отперла и, потянув за большое медное кольцо, отворила тяжелую дверь, прошла по полосатым половичкам, в жарко натопленную комнату; стены, сложенные из потемневших бревен с разохши-



мися щелями, лавка под маленьким оконцем; за окном раскидистое дерево, в его голых ветвях запутался яркий Сириус; светло-желтый храм словно висит на воздушях в сливово-черном небе... И в этот поздний вечер в звящем и звездном Суздале на несколько часов ушла из головы привычная земная, мирская суета, и еще подумала странно: что здесь, около этих деревьев, камней и звезд можно было бы — *прожить жизнь*.

* * *

— Ангелина Аркадьевна, — попросили две туристки, сестры-близняшки, высокие, полные, немолодые, у обеих необыкновенные какие-то сережки старинные, Геля еще раньше на них загляделась, темно-розовые кораллы на длинных золотых нитях, — расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об узницах Покровского монастыря. Суздальский экскурсовод обещала, но не успела.

— Расскажу, что знаю. Здесь жила в заточении первая жена Петра Евдокия Лопухина. Вам показывали ее келью у надвратной церкви. Еще раньше — одна из жен Ивана Грозного Анна Васильчикова. И несчастная Ксения Годунова, на глазах у которой были убиты ее мать и брат, а сама она стала наложницей Лжедмитрия, потом сюда ее заточили, а окончила свои дни в Москве, в Донском монастыре. Ну, а первой царственной узницей была Соломония Сабурова, жена Василия III, которую он выбрал на смотре из полутора тысяч боярских дочерей.





ПОКРОВ МОНАСТЫРЬ

*Постригись, моя немилая, посхимись,
моя постылая, на постриженье дам
сто рублев, на посхименье дам тысячу.
Поставлю я келейку в Суждале, красном городе...*

1.

— **Ч**то это, Анфиса, у тебя по двору мужики-то ходят? — Где, матушка царица, Господь с тобой, какие мужики? А, энтот. Да это не мужик вовсе, а дьяк московского приказа, прислан великим князюшкой, муженьком твоим, для дознания.

— Какого еще дознания?!

— Да, и то сказать... Черничка тут одна... занемогла.

— Что врешь?! — спросила грозно. — Станет великий князь московский из-за чернички подлой дьяка своего слать?

— Не гневайся, матушка царица, и не думай: к тебе это дело никакого касательства не имеет. А черничка эта Настасья... на сносях она. Скоро уж родить непутевой. Господи, позору-то на монастырь!

— Ах вот оно что... И то непутевая. А ты, Анфиска, пошто зовешь меня царицей? Какая я таперича царица? Я, как все вы. Зови меня, как положено: старицею Софьей.

От сердца отлегло. А уж испугалась этому дознанию и что не придет завтра к ней Василий, законный венчанный супруг, как обещался,



по многодневной ее мольбе, — навестить сосланную им в монастырь жену, это после двадцати-то лет что прожили они счастливо, в любви и согласии. За бесплодие! («Государь! Неплодную смоковницу пре-секают! На ее месте садят иную в вертограде!») Иную!! Немного времени еще прошло с тех пор, как совершили над ней насильственный постриг, и стала она старицею Софьей, не зажило еще! Завтра! Завтра всё решится! Удастся ли ей мольбами, слезами усостыжить его, изменить свою горькую участь!!

Помолчав, зевнув и перекрестивши рот, еще спросила у первой старицы:

— Что ж с нею, бесталанной, черничкой этой, сделают?

— Известно что, — отвечала та, — сперва суд, ну а после посадят на цепь в земляную тюрьму, на хлеб да на воду, пока не родит.

— А с ребеночком-то что?

— Ну-тк, известно что...

Молвив:

— Пойду, пройду перед вечерней, — пошла к воротам, где глухонемая дурочка отворила ей засов.

Ах, вечер какой! От ненастного дня остались в небе клочья сизых туч. Еще светло, но вот-вот смеркаться начнет, и с горы, от Спасского монастыря, колокол зальется трелями серебристыми. Там звонарь Егорка, великий искусник, где только сыскался такой, сказывают, круглый сирота, а поди ж ты, во всей округе такого, как он, искусника не сыскать!

Завтра! Господи, скоро уж как, времечка совсем не осталось приготовить ей речи убедительные, разумные, что она своему обидчику, скажет! Все слова, упреки горькие, слезы выплаканые, путаным клубком сплелись, думушки во все стороны разбегаются! Ан не успеет ничего толкового придумать?!

Неожиданно на мысли пришло: а кто ж он, отец ребеночка-то ей-ного, чернички этой Настасьи? Ведь вот надо же! Кому-то Бог дает! А ей, царице, не дал!! А той черничке от ее ребеночка одна только злая доля! А у нее, у Соломонидушки, всё было, чего только душенька может пожелать, любовь и ласка мужняя, жизнь сладкая в княжеских хоромах, что злата-серебра, жемчюгов окатных, шелка да бархаты!.. А не дал только Господь того, в чем не отказал простой черничке этой



Наське, в чем не отказывает последней рабе! Не дал ей ребеночка. От того и все несчастья ее пошли.

Спустилась к речке, постояла на берегу. Склонилась к воде, погляделась. А вот ведь к лицу ей и монашеский куколь, и белолица и всё еще хороша она, хотя уже не та Соломония дочь боярская, которую, одну из полутора тысяч боярских дочерей выбрал на девичьем смотре тихий, светловолосый княжич.

Удивлялись такому ее счастью. Многие завидовали, еще бы! Отец гоголем ходил, только матушка втихую сокрушалась, боялась: не испортили бы девку!

А ей самой — всё нипочем! Веселая, смешливая была, певунья голосистая, красавица статная с косой до колен. Сыграли свадебку, звонкую, веселую, все дни в хоромы княжеских ели-пили на золоте и на серебре, подавали яства разные, лебедей жареных.

И стала она молодухой в московском великокняжеском доме. А властвовала в нем вторая жена свекра, царя Ивана, грекия Софья, а по-греческому: Зоя, взятая из дома Палеологов. Хоть и молода царица Софья была, но, правду сказать, больно жирна, и криклива, и бранчлива, и властна. Казалось, повсюду, во всех уголках, раздавался ее зычный голос, переходы лестничные загораживали тучные тела, затиснутые, затянутые в черные одежды, да во множестве звенели на ней золотые цепочки да браслетки. Соломония в первое время избегала взгляды той в белое лицо со сросшимися у переносья густыми бровями и пронзительным взглядом черных глаз. Что сказать, побаивалась свекровушки.

Побаивалась отчего-то и его, свекра, третьего из правивших в Русской земле Иванов. Хотя не обижал никого, и слова плохого никому не скажет. И к ней ласков. Крепок был, но сильно уже немолод. Был в семье и еще один Иван Молодой, сын царя от первой его жены Марии Тверской и, выходило так, что наследник московского престола, веселый, кудрявый, всех любимец. И сын его малолеток Димитрий, а также сестра Ивана Молодого, дочь Марии, Александра. А муж Соломонии, княжич Василий, был уже от второй жены, от Софьи.

Изо всех потянулась душой к Александре, хотя по виду та строга была и сурова, высокая, худощавая, с мелкими чертами бледного лица и плотно сжатыми тонкими губами, одета в черное, как монаш-



ка. А вот ведь почувствовала в ней добрую, хоть и обиженную, замкнувшуюся душу.

— Саня, Санечка, а я вот гостинчик припасла для Митеньки, возьми, будь добренька!

— Ну, спасибо тебе. Возьму.

— Саня, Санечка, а что ж это она кричала-то во дворе на кого, я аж напугалась!

— Бог с ней. Ну ее совсем.

— Саня, Санечка, неласковая ты, не любишь меня отчего? Ай не веришь мне?

Помолчала, погладила молодую свояченицу по блестящим, гладко зачесанным волосам.

— Красивая ты. Волоса красиво убраны.

* * *

Тогда только еще начинали строить в Москве по камню. Отстроили со всей пышностью заместо почти уже развалившихся старых из белого камня вокруг Москвы стен, — новые, кирпичные и с башенками, одно загляденье! А строил те стены и башни Петр Фрязин из прибывших в Русь следом за Софьей разных умельцев, зодчих, и виршеплетов, и музыкантов, и филозофов, среди них был мудрый человек, книжник Максим Грек. Отстроили каменные хоромы и для великокняжеской семьи. На царицыной половине там все собирались, музыканили и вирши читали и разводили разные философии. Ей с Василием разрешалось быть на этих посиделках. Василий во все разговоры встревал, ну а она тихохонько у окошка сидела с вышиванием. На нее внимания не обращали, разве подсаживался иногда с беседою этот умник Максим Грек, говорил ласково, как с дочерью, а она перед ним робела.

Время шло. И Соломонидушка женским своим умишком уже многое постигала из того, что творилось в московском княжеском дому, а там не всё было ладно. Взять даже такое, что за всё время, что



жила там, ни царица Софья, ни падчерица ее Александра не обмолвились друг с дружкой, почитай, ни единым словечком.

А потом и вовсе беда пришла. И как такое могло случиться?! Молодой Иванушка, всегда шутник веселый, а сгорел за несколько ден от неведомой болезни, оставив сиротою сына своего Димитрия и свободным наследный московский княжеский стол...

Темные занавеси кругом. Застывшее, белое лицо Софьи. Бледное, с неумолимым упреком в глазах лицо Александры.

— Саня, Санечка, да как же так Иванушка-то помер, такой молодой! Что же теперь будет-то?

— А то и будет, что княжить в Москве после батюшки, дай Бог ему долгих лет, мужу твоему Василью. Она для своего чада добилась, — и глазыньками сверкнула.

— Ах, как можно, что ты такое говоришь!

Сам Иван Большой, князь батюшка, очень по сыну кручинился и так-то гневен стал. И было что-то; кровь лилась, и казнены были на льду Москвы-реки дети боярские, и отсекли голову жиду-аптекарю, лечившему молодого Ивана зелием и горячими стклянками, на площади Болвановке месяца апреля в двадцать второй день. И еще прогневался за что-то князь на жену свою Софью и ей велел переселиться в старые хоромы вместе с Василием и Соломонией и там находиться и на глаза ему не казаться до его княжеского решения.

Полумрак, тусклые огни свечей, согнутые спины, запах ладана, пенье. С того ли времени на плечи ее тяжким бременем начала ложиться темная история московских царей? Начала ли постигать глубоко сокрытое?

Софья тогда попритихла. Даже плакала. Василий утешал ее: «Не горюй, матушка, авось всё уладится!» А дворня вся, мамки да няньки, радовались: в доме не любили царицу, чужеземка, а всё норовит переделать по-своему, кричлива и бранчлива, а уж жирна-то, прости Господи! А Соломонидушку любили и жалели и хвалили ее красоту.

А потом в один день согнали на площадь перед кремлевским собором народ, и патриарх тут и бояре, а князь Иван велел боярам це-



ловать крест на великое княжение своему внуку Димитрию, обойдя сына Софьи. И трон на помост водрузили, и сам на него сел, а мальчонку рядом посадил и надел ему шапку княжескую с соболем и золотыми дщицами, всей Руси известную, велика была та шапка Мономахова мальчонке, на нос и на уши сползала, а дщицы те тряслись и звенели, когда мальчик вертел головкой.

Василий тоже вместе со всеми крест сводному брату целовал. А после, у себя запершись, думал тяжкую думушку. Софья же с почерневшим лицом ходила и тихо, страшно так улыбалась. Соломонию даже жаль стало свекровушку. И еще подумала нехорошо, после каялась: та еще молода, да на всю ли жизнь мне дана такова-то отрава?..

Каялась, да уже поздно было, тех мыслей не вернешь, когда всполохнулся весь дом, поначалу не могли поверить и переспрашивали: как? да с чего это вдруг?! И диким голосом вскричал сам князь-батюшка: «Не может того быть!» И хоть до этого гневался на жену, но никак не ожидал такой скорой и страшной от нее мести.

А вот умерла она в одночасье, Софья, и неведомо было никому, отчего? Тишина воцарилась в тереме. И всё не верилось, казалось, вот-вот явится на лестничке в черном уборе да рыкнет своим голощиком! Не появилась, не рыкнула. Василий горько рыдал у гроба матери, а Соломония у себя спряталась и не подошла к гробу, боялась поглядеть в лицо мертвой свекровушки.

Князь Иван сразу словно постарел на десять лет и так уже после смерти жены не оправился. Стал ласков с Василием и с красавицей сношенькой и разрешил им вернуться в покои. Потихоньку Соломонида после смерти Софьи выходила хозяйкой в доме. Только вот поредело великокняжеское застолье. Не было слышно смеха, ни шутки Ивана Молодого, ни зычного царицына оклика. Позабыли как-то о мальце, венчанном на царство, о Димитрии, а он тут расхворался не на шутку, бледненький, похудевший, лежал в отдаленной комнатке, только Александра и Соломония не забывали, навещали его.

— Саня, Санечка, давеча я игрушек и гостинчика Митеньке отнесла, он так радовался, сердечный!

— Спасибо тебе, милая. Ты добрая. Дай Бог, чтобы не коснулась тебя скверна мира сего.



— Саня, Санечка, ежели ты веришь мне, то скажи, Христа ради, больше мне не у кого спросить, что же это, как всё у нас случается?!

— Уволь. После сама поймешь. От того знания, поверь, легче тебе не станет.

Однако ни ей, Александре, ни мужу, никому не сказала, что стало с нею случаться в последнее время. А к ней повадилась являться покойница Софья, то во сне, а то, еще хуже того, наяву мерещится: вот она туточки за спиной стоит, только оглянуться... И страшно так. И является не такая, как всегда, а тихая и незлобивая, в черном, но без браслеток своих, и всё во сне будто силится о чем-то сношеньке поведать, а только говорить начнет, сон и с памятью уходит... Однажды наговорила было и словно оправдывалась и в чем-то каялась, а как проснуться Соломонии, только попыталась вспомнить те слова наговоренные, они, как вода из сита, все ушли, ни словечка единого в памяти не осталось. Крестным знамением себя осеняла, молитвы говорила и свечку Заступнице в церкви ставила, ничего не помогало! И что это, — думалось порой, — меня-то за что выбрала покойница, ни мужа своего, ни сына Василья, а чужую деушку и мучает и изводит страхом?

В один день отпросилась к матушке родимой сбегать, и ей только поведала страсти эти. Та поджала губы, помолчала, глядя в окно, а потом вот что сказала.

— Что я тебе скажу, дочушка. Это неуспокоенная душенька ейная, Софьиная, мается. А что вышло у вас в дому так всё по-недоброму, на то воля Божья. А еще вот что тебе скажу. Съезди ты на моленье в монастырь. В дому у вас много зла накопилось, авось, развеется. А лутше всего я тебе посоветую: езжай ты в звездный град Суждаль в Покров монастырь. Сама там бывала в молодости, там и старица у меня знакомая, а воздух легкий, не дышать, а пить его хочется. А уж покой и краса какая! И речонка течет, вода в ней легкая, зовут Каменкой оттого, говорят, что *вытекла с полудня в полночь из-под камня*.

Как она сказала, так Соломонида и сделала. Стала с того дня к мужу приставать, да его и уговаривать долго не пришлось, самому до смерти надоела могильная тишина в доме, хоть ненадолго, а вы-



рваться! Свекор батюшка побряхтел и махнул рукой: «Езжайте, Бог с вами! Да поскорее возвращайтесь». Очень переменялся он, прежде такой строгий был; а теперь ко всему равнодушный, видно, то не дай Бог! — что конец его был уж недалек...

Стояло лето благодатное. Вырвались, как из темницы! Возок запрягли, одежек набрали, да сладостей разных, вина и пряников. Соломонидушка сменила черное платье на нарядный летник, украшений повешала. И тронулись в путь утречком пораньше, и до самой заставы народ бежал за возком, радовались их виду и славил красоту молоденькой княгини. А за заставами съехали на дорогу, что, кольцами вьется, идет до самого Суздаля и называется Стромынкою.

Среди цветущих садов и зеленых лугов в излучине Каменки белеющий Покров монастырь показался сказкою. Не могла тогда подумать, что станет ей тюрьмой! А у монахинь-то было радости прибытию неожиданному знатных гостей! Если по правде, то дня за два их о том известили, и к тому дню всё помыли, почистили и прибрали, и пролом в стене монастырской заделали. Колокола звонили во всех церквах, аж до самой Москвы было слышать! А как стояли в то лето жары, то и не было заметно, как продырявились и в ненастье протекают крыши келий. Да и храм деревянный обветшал.

В том храме помолились и свечку поставили о дорогих усопших. Василий всплакнул. А Соломонида уже с тех пор, как выехали, перестала и думать о черном призраке, перестала являться ей и мучить, неведомо за что, покойница. А как пришло время прощаться и домой в Москву возвращаться, и даже еще раньше, пожалели, что не подумали прихватить с собой денежек одарить монастырь. Правда и то, что князь Иван в строгости всегда держал родню, деньгами не баловал, и эта привычка у него и сейчас осталась. Ну, Василий отдал всё, что было у него с собой серебра, а княгинюшка, ангельская душа, раскрасавица, у себя с перстов и из ушей повынимала, отдала сестрам.

И перед теми воротами высокими с засовами железными вышли монашки их провожать и с матушкой игуменьей, выстроились черным полукругом.



2.

Господи, о чем же она, бесталанная, думает, будет еще, будет у нее времечко всё припомнить! Вон луна уже белесая встала между обрывками серых туч. Скоро за ней придут к службе идти! А она еще не придумала ничего, что скажет ему завтра, изменщику своему! Надоумь, Господи!

Одинокая фигура женщины в черном словно застыла на берегу Каменки, пальцы теребят каемку рясы, губы шепчут беззвучно, как заклинание:

«Ты не будешь счастлив без меня!»

Ах, вечер какой! Не успела к любимому месту своему пройти, к пруду с белыми лебедями, что за монастырской стеной, как уже Анфиска идет. С шалью.

— Не застыли бы, матушка царица... старица Софья. Не изволили ли пожаловать в обитель. К вечерней вот-вот зазвонят.

— Да, милая, час иду. Толко схожу на лебедушек полюбуюсь. Да не гляди ты на меня так. Я спокойная. За заботу спасибо тебе.

Позже, к вечеру, вправду успокоилась; словно оцепенение какое нашло. Покушала за трапезой, помолилась перед Матушкой Казанской. А после в кельюшке своей, не зажигая свечи, смиренная усталостью и всеми думушками, присела на лежаночку, на доскутное одеяло, и в окно глядела. Лунный свет заливал келейку. В сливово-черном небе беловато-желтый храм словно висел на воздушях. В ветвях раскидистого дерева запуталась яркая звездочка. Разложила на лавке большое полотно, по которому расшивала цветными нитками, бисером и жемчугом образ Преподобной Евфросинии Суздальской, с детства была большая рукодельница. Много уже сделала, сама всё придумала, и какая одежда будет на Преподобной, и какой на головушке покров, только вот личико не виделось ей, какое оно, словно в тумане. Подумала еще, что надо сказать, чтобы принесли еще ниточек золотых и серебряных, покрасивше будет...



3.

Дни, годы, потекли, как вода уходит сквозь сито. Государь ба-
тюшка Иван Большой ненадолго жену пережил и за эти годы
ничего уже более не свершил — этот князь, так и не приучивший-
ся именовать себя царем, как принято было у греческих государей,
так говорила ему и Софья. Хотя способствовал много возвышению
княжества московского, присоединив к нему другие княжества,
также самое непокорное из них княжество новгородское. Когда же
снят был вечевой колокол с Господина Великого Новгорода, то, ка-
залось, и конец пришел междоусобиям, раздиравшим Русь не одно
столетие.

И в смерти упокоился, тихи черты его были, когда во гробе лежал,
а Соломонидушке, когда подошла для последнего прощания, почу-
дился в чертах его упрек, что, хотя добр и приветлив был с нею, по-
баивалась его и в душе будто не верила в его доброту. Тихо сейчас
в том покаялась и попросила прощенья.

А похоронив, отплакав, что-то сильно засуетились все во-
круг. Людишки прибегали к Василию, приходили и бояре, шептались
по углам. И сам он переменялся, всегда тихий и незлобивый, стал
раздражителен и неразговорчив, подступа к нему не было даже ей,
только отмахивался: «Потом, потом!»

И вот — снова гроб! Господи, помилуй, да за что же нам такое
лихо! На этот раз, о ком все и позабыли думать, а он ведь оставал-
ся по-прежнему, хоть и немощный в постельке лежал, — закон-
ным, на царство венчанным наследником, а вот ведь злая судь-
ба. Тоненький, вытянувшийся за эти годы, с белым, без кровинки
лицом лежал во гробе царственный отрок Димитрий, и страш-
но и горестно было Соломонии на него смотреть и жаль было
до смерти бедного сиротинушку. Похоронен был с пышностью
и положон рядом с отцом и дедом своим, смерть возвратила ему
права царские.

И было что-то. Кровь лилась. Были казнены на льду Москвы-ре-
ки дети боярские. Смутные слухи шли, что готовили заговор против
Василия, чтобы царем быть не ему, а Димитрию, а начальницей тому
заговору, говорили, Александра.



— Ой, Саня, Санечка! Да куда ж ты, родимая, собираешься, словно в дальнюю дорогу! Скажи, не томи душеньку, я ни о чем не знаю, ничего мне не говорят!

— Прощай, голубка. Теперь уж свидимся ли нет. Зла от тебя, свояченица, не видела, кроме добра. А собираться мне в дорогу велел твой муж, знать, грех смертный за собой знает и боится глаз моих. Отсылает меня в далекий Суждаль простой черницею.

— Так не бывать же тому!!

Долго плакала, грозила, требовала, молила, упрекала, просила за свояченицу, всё напрасно. Как кремень стал Васька, таким его сроду и не видела. Ни с чем ушла. А Александру тотчас увезли в Покров монастырь. Тогда еще подумала: что-то около того монастыря да около Суздаля судьба ее закручивается...

Василий венчан был на княжество московское, али уже стали говорить: на царство, и надел шапку Мономахову с соболем и золотыми дщицами. А она стала царицей.

Полумрак, черные, согнутые спины, тусклые огни свечей, запахах ладана, пенье. С какого времени тяжким бременем начала ей на плечи ложиться темная история московских царей?

* * *

А полгода спустя, сдавшись на женины слезы и уговоры, собрался, решил посетить сестру в далекой обители.

— Съездим, право, Васенька, не так много у нас с тобой осталось родственничков!

Но в душе затаила тяжкую память о содеянном, не простила ему.

Стояла осень поздняя. Распутица, непогодь. Собраться — собрался, а ее, Соломонуиду взять с собой наотрез отказывался.

— Сиди дома, сказано! Расхвораеться еще. На что ты мне хвораешь? Тебе еще мне родить надобно наследника. И так уж все говорят...

Взять согласился от нее письмецо для Александры и корзиночку с гостинцами.



За всю долгую дорогу до Суздаля застревали не раз в великих российских грязях, и приехал до места уже уставший и разболевшийся. Встречали дорогого гостя с великим почетом, вышли с образами и звонили во все колокола. Заметил, однако, что не было среди встречавших самой Александры. Потихоньку справился о ней у матери игуменьи, та отвечала, отведа глаза:

— Хорошо ей тут, батюшка, великий князь, ни на что не жалуется. Тихая, молитвенная, сестры ее любят. А что сама не вышла? Вчерась-то видела ее на вечерней, послать узнать, не прихворнула ли, не дай то Господи.

Бросилось в глаза на этот раз, в сырую осень, — бедность и запустение обители. Храм деревянный вовсе обветшал, потемнел от сырости. Текли крыши продуваемых осенним ветром покосившихся келий; стены не держали скудное тепло от печурок; монахини, словно иззябшие, большие черные птицы, кутаясь в кофты и шали, бегали к монастырской стене, к углу, «до ветру».

Василий отоспался, отогрелся в теплом доме архимандрита, наелся монастырскими вкусностями, для него приготовленными. Помолился в храме, свечки поставил всем и о здравии и за упокой души новопреставленного раба божьего Димитрия; всплакнул; еще больше занемог. Засобирился скоро в обратный путь, щедро на этот раз одарив монастырских и зажиточным сельцом, а также на строительство беспреренно нового храма из белого камня, как сейчас повсюду строят, и на подновление келий пожертвовал и со всей строгостью грозился проверить, как всё исполняют, и деньгами как распорядились. И еще обещался деньжишек прислать, ежели понадобятся, и об обещании том не позабыл.

А она так и не вышла к нему. Ни за трапезой не видел, ни у обедни; сказалась больной. Посетить, однако, не посмел. Письмецо и гостинчики, всё передал, сказывали от нее благодарности. Не простила, не забыла, стало быть. Да и как забыть? Еще раз всплакнул тихонько, хотел покаяться да исповедаться, а не получилось ни покаяния, ни исповедания.

Как ему ехать, к ночи подморозило, земля прикрылась, точно лебяжьим пухом, легким снежком, дорога поблескивала в свете полной луны обледеневшими колеями. Сестры вышли за ворота вместе с ма-



тушкой игуменьей проводить царя милостивца, все, кроме одной, выстроившись в низинке черным полукругом...

4.

И снова потекли денечки, годы. Забывались потихоньку старые горечи и обиды. А жили они с Соломонушкой славно, грех жаловаться, было у них всё, чего только душенька ни пожелает. Не дал Бог им только одного, ребеночка. А уж как горевали об этом, как просили у Боженьки. Ездили к колдуньям и к ворожеям, снадобья разные княгиня принимала, — нету! Были и у той Степаниды Рязанки, о которой шла слава по Руси. Глянула глазами своими раскосыми, головушкой повела со встрепанными волосами, молодая. Молвила, как отрезала:

— Детям не быть!

Соломония после этого ее приговора сокрушалась и плакала и впервые возроптала тихонько: «Да отчего же так, Господи?! Чем согрешила я перед Тобой?!»

Государь! Непопуганную смоковницу пресекают! На ее место сажают иную в Вертограде!

Кто, кто, кто первый это сказал?! Так в Священном Писании сказано. Но она ли это — неплодная смоковница?! — с ее белой грудью и розовыми сосцами и с округлым животом, всеми дарами естества материнского! И закрадывалась не раз и не два в головушку греховная мысль: она ли виновна в том, не Василий ли, муж ее, причинен в ее бесплодии?! Длинными днями и бессонными ночами — чего только не надумаешь! Такое приходило на мысли, что стыдобушка сознаться, а от мыслей куда денешься?! И не ждала и подумать не могла, что так всё с нею сложится!

Пышна великокняжеская соколиная охота. Пестреют разноцветными пятнами между деревьев яркие плащи всадников, переливаются на солнце драгоценные камни на сбруях коней знатных сыновей боярских, гиканье, свист. Василий князь выпустил сокола, и сокол улетел далеко в небо, а взор, следя за его полетом, упал на словно за-



путавшееся в ветвях высокого дерева птичье гнездо. По весне много таких гнезд чернело в вершинах старых вязов. Около них кружились птицы, наполняя воздух радостным щебетанием. Но не радостно было на душе князя, и так молвил:

«О горе мне! Я достиг величия и власти и богатства, каких только может пожелать душа человеческая! Но нету мне счастья! Лесной зверь, птица и те счастливее меня! Ибо они видят продолжение свое в чадах своих! Не уподоблюсь земле, приносящей плоды во всякое время. Не уподоблюсь водам, изобилующим рыбою!»

И кто-то из сопровождавших его (узнать бы, кто?!) услужливо поддакнул:

— Государь! Неплодную смоковницу пресекают. На ее место садят иную в Вертограде! *

Думала, что нет у нее врагов. А тут вот объявились и во множестве. Конечно, у каждого своя корысть.

И другая быстро нашлась! Услужить в том деле царю охотников было немало. Из дальних его же, Василия, родственников, молодая литовская княжна Елена Глинская. А что судачат в Москве про Еленина-то дружка, молодого боярина Телепнева-Овчину?..

Митрополитом в Москве в то время был Даниил. Молодой, с румяными губами и веселой искрой в глазу, он споспешествовал планам Василия. Однако обращались и к восточному патриарху и к афонским старцам, и все дали отрицательный ответ, а патриарх иерусалимский грозился: ежели женишься вторично при живой-то жене, то от совокупленья греховного будешь иметь **злое чадо!**

«Царство твое пополнится ужаса и печали, кровь польется рекою, падут главы вельмож, грады запылают!»

А давний ее знакомец книжник Максим Грек написал: «Слово к оставляющим своих жен без вины законныя»

По всей Руси поднялся ропот против этого невиданного дела. А ему, Ваське, всё нипочем. Ладит одно:

«Ах, кто будет моим и русского государства наместником?! Братья ли мои, которые не умеют править своими уделами?!»

И сослал ее, законную жену свою, сперва в Каргополь, но туда люди пошли поклониться ей, почитая княгинюшку мученицей. Потом уж сюда, в Суздаль, в Покров монастырь, судьбу ее.



А сам бороду сбрил, на молодой жениться собрался. Важный стал. Велел почитать себя на Руси царем, и в посланиях к другим государям и к самому Папе Римскому, к которому обратился с просьбой брак ему разрешить, именовал себя так:

Велицей Государь Василей, милостию Божией царь и самодержец всея Руси, князь владимирский, московский, новгородский, псковский, смоленский, тверской, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных... Государь и великий князь Нова Города низовския земли, черниговский, резанский, белозерский, волоцкий, ржевский, бельский, ростовский, ярославский, удорский, обдорский, кондийский...

И вновь смута была. Кровь лилась. Сожгли в клетке еретиков, среди прочих дьяк **Иван Волк Курицын**. Вслушайтесь в звучание этого имени, в нем одном — вся Русь, веселая и страшная сказка!

5.

В эту последнюю, перед свиданьем, ночь спала в своей кельюшке крепко, без снов, и наутро встала свежая и румяная, как яблочко. А в головушке ни единой тебе мыслишки, только где-то глубоко копошится тоскливо:

«Ах, что же будет, если не сумеет убедить его, переменить участь свою, до совести его, окаянного изменщика, достучаться, ведь один только и есть у нее этот выстраданный, вымоленный, долгожданный день!»

Не виделись они с Василием несколько месяцев, с тех пор, как совершили над ней насильственный постриг, а она ногами топтала монашеский куколь! И, — вспомнить зазорно! — выскочка этот, художественный бояришко, холоп княжеский Иван Шигоня огрел опальную царицу плетью!

Она так изумилась, что даже орать перестала и, выпрямившись, испепеляя его взглядом, тихо, грозно молвила: «Как смел ты, смерд, поднять на меня руку?!» Он же, побледнев, но храбрясь, дерзко ей ответил: «А ты как смеешь противиться воле Государевой?»



Пес! Грязный, вонючий пес! Были в ней тогда силушки противостоять творившейся над ней несправедливости. Сейчас уже и не осталось. Вчера еще при воспоминании о пережитых унижениях сердце дробно стучало, губы шептали слова укорливые... А сегодня как перегорело всё...

С ночи погода пошла было опять на ненастье, но утром сильный ветер подул, тучи разнесло, похолодало и развиднелось. Василий приехал, как обещал, после заутрени. Встречали батюшку царя всей обителью, с колоколами и образами. Поглядел и доволен остался: всё по его слову сделано и исполнено было добротню. Новый выстроенный из белого камня храм хоть невелик, но нарядно резьбой и золотом изукрашен, церковка вверху ворот с золотым куполочком.

А самого-то и в дороге и сейчас одолевали беспокойные думушки. Как пережить этот день?! Как всё станется? Как встретит его брошенная, обиженная, что ему скажет? Долго молила о встрече этой, стало быть, заготовлено у нее всё, что слез и укоров не оберешься. И, хоть виду не подавал, но в невеселом был ожидании. Думал еще: небось, от слез выплаканных похудела, лицом побледнела... Жаль было ее, а что поделаешь? Царское дело тяжкое. Назад уже ничего не вернешь. Ждал: сейчас выйдет к нему вся в черном, со слезами в очах, с упреками на устах...

Она вышла к нему, Соломония, дочь боярская, красивая, яркая, белолицая, не в монашеской рясе, а в светлом летнике и душегреечке, расшитой золотом и жемчугом. Словно помолодела даже и приветливо так ему улыбалась! Сердце екнуло, заглядевшись на нее. Али жизнь в монастыре и воздух легкий суздальский так на пользу ей пошли?! Пока глядел, она предложила ему к пруду пойти, полюбоваться на лебедушек. А монашки все разошлись, попрятались по кельям, чтобы не мешать им.

И пошли они за ворота, ни дать, ни взять, жених с невестой, и мило, мирно так беседовали, а время шло, а она о деле своем, о чем просила слезно, — ни полсловечка! Смущение одолевало князя Василия. Для чего звала-то?! На лебедей любоваться?!

Улыбалась, как ясное солнышко, а в сердце отдавалось тоской: «Что же я делаю-то?! Потом не прощу себе! Время-то идет!» И успо-



каивала себя: «Нет, его еще много, времечка, целый длинный день впереди, успею, авось скажу слова заветные...»

Обедать подали им отдельно от общей трапезной, на бархатной скатерти да на серебряной посуде, ею же, царицей, жалованной, всё, как водится: икра и белорыбица, пироги капустные, зелено вино сладкое, на травушках настоянное. Василию в горло ничего не лезло, однако ел, чтобы не обидеть монастырских. Она же кушала с аппетитом и болтала без умолку, рассказывала ему монастырские байки. К обеду одежду она поменяла, но тоже светлое платьишко, на густых волосах сетка из золотых и серебряных нитей, а на шее, на тяжелой золотой цепи — большой крест. Он всё смотрел на этот крест и не мог припомнить, где, у кого словно видел его, только знал, что сам ей такого не дарил.

То вдруг начало ему мерещиться, что всё приснилось ему, и не было ничего, ни расставания с женой, ни договоренности с митрополитом о разводе, ни обручения тайного с молодой красавицей Еленой Глинской, а сидят они с Соломонидушкой у себя в хоромы, и подают им яства служки князевы, столыники в расшитых золотом кафтанах, а не монашки в черных рясах... И всё к вину прикладывался чарка за чаркою, и ожидал: вот-вот начнут-ся слезы да жалобы.

Она поглядывала на него, как муж много пьет. Раньше так не пил. А Анфиска из угла уставилась. Эй, чего глядишь?! Со мной всё в порядке, не бойсь! Тоже дивится. Все ждут от нее чего-то, криков да скандалов. Ан вот и не будет вам ничего! Никаких представлений. И снова далекая, успокоительная мысль: день длинен, будет еще времечко сказать ему слова укорливые ...

В обедню помолились вместе. Василий свечку поставил, всплакнул. Несмело заикнулся: пора, дескать, скоро в обратный путь, дела разные царские. А она и тут ничего, глазком не сморгнула. Тут уж он раздумался и вовсе затосковал: к чему бы всё это? И еще всё хотел и не смел спросить: отчего она в монашестве приняла имя матери его: София? И в этом тоже почудился молчаливый словно ему укор.

Так день шел и клониться начал к вечеру, и непривычно тихо было в обители, как перед грозой. И розно, но согласно, думали уже оба:

«Хоть бы окончился он поскорее, окаянный и чюдной, долгожданный этот день!»



Провожать мужа поздним вечером одна пошла к воротам, монашки с игуменьей уже отпрощевались, отблагодарствовали. Стеннело. Полная луна, как вчерась, только еще круглее, встала в клочьях рваных, куда-то несущихся туч. Обитель совсем замерла, лишь слабо мерцали в окошках свечечки, хотя знала Соломония, что никто не спит, затаились в кельюшках.

Прохладно сделалось к ночи. Возок ожидал в стороне. Она стояла перед воротами, выпрямившись, уже в монашеском уборе, руки упрятав в широкие рукава рясы. Так за весь прошедший день ни словечка, ни жалобы единой, ни в эти последние минуты, он от нее не услышал. Стояла перед ним, словно окаменев, поглядывала то на возок, то вверх на сине-желтую луну и даже как будто чуть-чуть улыбалась. И дух захватывало у самой от такой решимости своей без жалоб отпустить его, и тоска рвалась из сердца, а всё думалось: «Ну и пусть, только уж скорее бы кончилось всё, уехал бы он, и прошел разнесчастный этот день!»

Василий в смятении и растерянности перед нею стоял, и отчего-то тоскливо и ему было, в глаза ей боялся посмотреть и медлил с последним прощанием. Слышно было, как возница цыкает на лошадок. Пора. Он сам нашел и с торпливой лаской пожал ее покорные, дрогнувшие пальцы.

Ах, вечер какой!

Как только тронулся в путь возок, повернулась было за ворота идти, но помедлила и с хмурым равнодушием проводила глазами, дождалась, пока не скрылся за поворотом улицы, а тогда уже пошла, но у самых ворот опять задержалась. Странное ощущение чьего-то присутствия вдруг почудилось. Невольно монахиня вперила взор в клубящийся сумрак в углу ворот.

Вдруг ясно так припомнилось. Прошедшей весной, когда только привезли ее сюда, встречала ее мать игуменья с двумя монашками, разахались, раскудахтались, куда там. Вечер уж был, снег повсюду еще лежал, только отсырел и почернел по весне. Вдруг прибежала еще одна, запыхавшись, с известием:

— Извольте пожаловать, матушка царица! Кончаются оне, вас спрашивают!



И побежала, как была, в расстегнутом полушубке и в сбившейся на волосах шали, перепрыгивая через стоявшие в снегу лужи, сафьяновыми сапожками проваливаясь глубоко в мокроту, в хрусткий снег.

В келье Александры тускло горела свеча. Умиравшая на кровати, лежала пластом, страшно похудевшая, не узнать! — с пергаментным лицом и вытянутыми вдоль одеяла тонкими, высохшими руками. Соломония, подумав, что та умерла, тихо ахнула, но больная открыла веки, глянула глубокими темными глазами, пошевелила губами. А она встала на колени перед лежанкой, руки той целована, по волосам гладила и, обливаясь слезами, шептала:

— Родная, не уходи!! Не уходи сейчас!! Не оставяй меня одну!

Больная сделала знак помочь ей приподняться. Спиною к подушке, полулежа, перекрестила свояченицу:

— Дождалась тебя, слава, Те, Господи!

Выпив водицы, собрав последние силушки, кое о чем поведала и о судьбе своей и о племяннике Димитрии, а Соломония к тому времени уже и сама о многом догадывалась, только не с кем ей было о том поговорить. Не с мужем же. И, сняв с себя, на тяжелой золотой цепи большой крест, на шею ей надела и перекрестила, передавая Соломонии свой крест, свою судьбу.

Голос умирающей становился всё слабее, всё тише, а уж когда совсем сил не осталось, — один взгляд, долгий, прощальный, из души уходящей в душу живую. Долго опальная царица рыдала у остывающей рученьки, насилу оторвали и увели.

Полумрак, черные согнутые спины. тусклые огни свечей, запах ладана, пенье. С какого времени тяжким гнетом ей на душу начала ложиться темная история московских царей?

Не тот ли взгляд, последний, прощальный, в котором была вся жизнь с ее страданиями, почудился царственной монахине в клубящемся сумраке? Привиделась явственно скорбная фигура у стены, черный покров на голове, желтоватое с косыми скулами лицо, и этот взгляд глубоких темных глаз...

А, вернувшись в свою келейку, зажгла свечку и села у окна и без мыслей глядела на запутавшуюся в ветвях высокого вяза яркую звездочку. Потрогала лежавшее на лавке вышивание. Вдруг словно озарение на нее нашло: она узнала в один миг, каково будет на том



покрове-вышивании личико Преподобной. Вот оно перед ней стоит, худое, скуластое, с пергаментной кожей, узким ртом и темными поблескивающими глазами. И крест золотой в руке...

6.

Грамота митрополита Даниила о беременной чернице Натасье Теплицыной, семь тысяч тридцать третьего лета от сотворения мира, а тое черницы засадить в земляную тюрьму, той, что в обители Покрова Пресвятыя Богородицы, да заковать в кандалы и держать за сторожами, чтоб не убегла. Да приказать о прегрешении своем ей молиться бецисла и класть поклоны, а пищи ей давать на день хлеба полкраюхи да воды сколько попросит, а для испражнения поставить ей ушат и велеть самой выносить, а как придет время ей родить, о том без промедления сообщить Его Пресвященству Даниилу митрополиту московскому...

Несколько месяцев прошло. Март был на исходе. Царица-монахиня в келье своей сидела, вытянув из-под рясы босые ноги к легшему на дощатый, чисто отмытый пол широкому солнечному пятну от окна. Лучи приятно пригревали маленькие точеные ступни. Зевнула, перекрестила рот, поглядела на шитье, лежавшее на коленях. Скоро закончен будет покров, как живая, глядит с него Преподобная Евфросинья прямо в душу пронзительным взглядом. А за окном снег сияет ослепительной белизной, и лохматые жучки носятся с лаем, радуясь весеннему солнышку.

Шум, возня в сенях, тихие вскрикивания. Словно мягкое что-то ударилось о стенку. Чтой-то там стряслось? Монахиня убрала под рясу босые ноги.

Вдруг влетела, простоволосая, молоденькая совсем, и на пол в ноги ей бухнулась.

— Защити, царица матушка!

Круглое лицо, молящие глаза-незабудочки.

— Да от кого ж защитить-то, деушка? Да встань ты, непутевая, как звать-то тебя?



— Настасья я, Теплицына, Настасья, защити, матушка, отымут ведь они, отымут робеночка!!

Грозный окрик в сенях, быстрым шагом Анфиса вошла, взглянула повелительно, та, задрожав под этим взглядом, головы не поднимая, бросилась вон из царицыной кельи.

— Что это у тебя, Анфиса, такое деется в обители?

— Недоглядели, матушка. Чепь с нее сняли, как ей родить, вот и сбежала. Да от нас далеко не убежишь.

(Это уж так) — подумала, а вслух спросила. — Что ж она родила?

— Вестимо, матушка. Жив робеночек. Мальчик. Такой прехорошенький, глазенки голубенькие.

— Что ж с ним будет-то?

— А что ж, — отвечала первая старица, — как, значица, порешат, то и будет; бывало уже. А я тебе вот что скажу. Тебе бы счас не об этой непутевой судьбишке, а о своих делах время подумать.

— О каких таких делах? — спросила, подняв соболиные брови.

Анфиса помолчала. Стоя за креслом царицы, наклонясь к ней, негромко продолжала:

— А вот о чем я тебя спрошу, не изволь гневаться, матушка, не от недостойного любопытства мой вопрос, а токмо ради справедливости попранной, как сидишь уже сколько времени в глуши, слезьми умываючись, царица законная, венчанная, на месте твоём приблудная девка...

— Ты что это? С чего вдруг вспомнила? Я, было, и думать перестала. И с чего взяла, что слезьми умываюсь? Нету.

— А я всёж-ки спрошу, — пригнувшись к самому креслу, полушепотом, — вот о чем. Давно ли у тебя с царем батюшкой дело было, ну то самое, что у мужа с женой деется, ночное? Чать было, когда прощались? А припомни, скоко времени прошло, месяцев? Али год?

— Да тьфу на тебя! — вскричала, смутясь и покраснев. — О чем спрашиваешь, виданное ли дело?!

— А ты, стало быть, не серчай, — мягко продолжала уговаривать, — я к тому говорю, что кабы при последнем-то прощании Господь смилостивился и даровал тебе робеночка, то, может, счас было бы ему, как этому Настёнкину.

— Ну так и что?



— А вот что! — с торжеством. — Мальчик-то, он вот он!

— Где? — невольно оглянулась.

— А и ейный. Наськи. Чем не царский сын?. У ней, непутевой, всё одно отберут. А тут божье дело.

— Ну, приду-у-умала, — разобрав, наконец, сперва обалдев от неожиданности, но всё более горячась. — И как язык у тебя повернулся, как умишком своим до такого додумалась, а еще божья старика! Как решилась ты мне такое сказать, — грозно, — хоть не царица я, но и не жонка последняя на Руси, Соломония дочь боярская! Зорно тебе такое мне говорить! Мальчонку безродного — царским сыном! В уме ли ты?! Да чтоб обманом! Да я двадцать лет с мужем честно прожила, не погрешила ни делом, ни помыслом, совесть моя перед Богом чиста! — осенив себя крестным знамением, умолкла.

(«Оттого и сидишь теперь в дырявой келье») — чуть вслух не сказала.

А Соломония, помолчав и немного успокоившись, промолвила и рукою властно так повела.

— Ладно, Анфиса, забудем об этом разговоре. Речи твои бессмысленные я тебе прощаю, бо верю, не по злomu ты умыслу и не по корысти...

— Сглупа, матушка, право, сглупа, — поддакнула та, выходя из-за кресла.

— ...а токмо по доброте души и от болезни за учиненную надо мной обиду. Так что ты, Анфиса, не бойся. А еще тебе скажу, что мне более, чем тебе, ведомо о делах разных да о грехах тяжких в московском царском дому и о крови безвинно пролитой...

— Правда твоя, Софья, — спокойно та отвечала, отойдя и в пояс царице кланяясь, — что мне неведомо то, что ведомо тебе, а земля грехом полнится. Один Он без грехов. А мне бояться нечего.





Автобусы стояли на платной стоянке в Суздале. Переставший было дождик опять заморозил тихонько. Николай Иванович дремал, обхватив руками баранку и положив на нее голову. Вот поднял голову и обернулся к Геле, она стояла внизу у подножки, не сводя глаз с дорожки, по которой после прогулки по городу возвращались туристы.

— Во сколько ты сказала им придти? Надо было к половине, тогда бы к четырем собрались.

— Сейчас придут, — успокоительно заметила. — Подмокнут и придут.

На стоянке всегдашняя толчея. Толпочками туристы оббегают ряды плотно борт к борту составленных Икарусов и Наташек, отыскивая свой автобус. Толпятся около сувенирных киосков и прилавков с медовухой. Набирают в бутылки.

Художницы, порозовевшие, помолодевшие, упрятав седые бублики в легкие косыночки, с руками, полными сверточков, подошли, неся на лицах торжественное выражение, словно боясь расплескать, рассеять в мирской суете что-то обретенное здесь.

— Ангелина Аркадьевна, всё уже?! Мы сейчас уезжаем?

— Что делать, пора, — улыбнулась Геля, с опаской покосившись на водителя.

— Как жалко, что нельзя тут еще остаться, — вздохнули и полезли в автобус.

— Чего такое? — лениво заметил водитель, когда дамы удалились вглубь салона. — Не хотят уезжать? Пожалста, по просьбе трудящихся. Привезу к закрытию метро.

— Не на-до, — твердо сказала Геля.



Поднялась на подножку, оглядела салон. На переднем сиденье внучка Анны Керн дремала, привалившись к окну и сложив руки под грудь. На заднем сиденье Ольга раскладывала сумки, этюдник. Пышноволосяя дева с исчезающим профилем, раньше других вернувшись, сидела в загадочном одиночестве. Переплетчица Паня, тоже раздумывавшаяся, во всегдашнем своем стеганом халатике («Я и дома, и на работе в нем!»), задержавшись около Гели, тихо сказала:

— Хорошо-то как! Спасибо вам! Так всё интересно! Ничего этого не знала. Жалко только, что обо всём этом нигде не написано!

(«Нигде не написано? Как же?.. Почему она так сказала?»)

Рязанская молодуха в цветастом платке несла в вытянутых руках разноцветный, в тонких длинных трубочках, светильник. Геля покивала, выражая восхищение.

Старший и Саня стояли около жбана с медовухой.

Ох! — спохватилась, чуть не забыла. Порывшись в сумке, достала листок, подошла к ним, мягко улыбаясь чуть кокетливой, «маршрутной» улыбкой.

— Чуть не забыла. Для вас есть занятие. Напишите, пожалуйста, совсем коротенько, ваши впечатления, как старшего группы. Если, может быть, есть замечания по поводу проживания, питания, экскурсионного обслуживания. Несколько слов и непременно теплых! Шутка. Это простая формальность, ну, вы понимаете.

Он кивнул. А когда через несколько минут отдавал ей заполненный листок, Геля, не удержавшись, всё-таки спросила, потом пожалела. Вышла неловко и почти бестактно.

— Ну, видите ли, — отвечал он суховато, — в этой конторе я работаю, у меня тут есть свобода! Больше, чем было бы в другом месте. Недавно я ездил на охоту... А сейчас вот сюда. Возможность распоряжаться своим временем. Эти меня вполне устраивает.

Аристократы духа, да.

«Будучи с тов. Степановой А. А., мы получили полное моральное удовлетворение. Нам открыли глаза на мир прекрасного. Мы восхищены. Наш руководитель — чуткий и отзывчивый человек, любящий историю нашей русской земли. Таких людей надо ценить и выдвигать на работу с большим количеством людей. Данный товарищ — пропагандист-агитатор».



Текст подлинный. Подписано: «рабочий П. И. Огарков».

А Саня, недоучившийся студент и работник по благоустройству улиц, разразился стихом!

Как будто мы шагнули в сказку, что в детстве сказывали нам,
С высоких этажей спустились к старинным русским теремам,
Прошли века, менялись нравы, соединяет прошлое и новь
необъяснимая, большая к России крепкая любовь!

Группа собиралась медленно.

— Сорок двадцать четыре поехал уже, — меланхолично заметил водитель.

Мелькнуло в окне улыбающееся Машкино лицо. Не успели поговорить. Интересно, встретила или нет своего художника? Может быть, и нет, уж очень весело улыбается.

Встала в проходе, оглядела ряды.

— Все собрались?

— Пощупайте каждый своего соседа.

— Или соседку!

Николай Иванович развернул руль. Плавно автобус выкатил со стоянки мимо глухого забора, поросшего чистотелом. Мелькнули валы, Знаменские церкви.

— Ангелина Аркадьевна, — попросили сестры-близняшки, когда отъехали от городских застав. — Расскажите, пожалуйста, поподробней об узниках Покровского монастыря. Суздальский экскурсовод пообещала, но не успела.

Геля покосилась на старинные сережки, розовые кораллы на длинных, тонких золотых нитях.

* * *

История эта имеет продолжение, почти детективное. До сих пор не выяснены все обстоятельства. Были находки, идут споры.

А дело в том, что через некоторое время после визита царя Василия в Суздаль к своей опальной жене слух прошел по Москве, что царица во иночестве... родила! Законного наследника!

«Поди, «колокола льют», — сперва подумал каждый, зело удивясь.



Сам Василий царь, когда, сторожась его гнева, ему сообщили, выпучил глазки, руками замахал, ножкой затопал, дескать: «Какой-такой мальчик! Откудова взялся?! Али спятили, с чем ко мне лезете?!»

После, оставшись один, затуманился; призадумался, начал припоминать, подсчитывать, пальцы загибал... Ну, блин! Плюнуть ли на всю эту брехню?! А что, если и вправду родила и не бесплодна, то, стало быть, и его брак с Еленой незаконный?! Быть тогда тебе, Васька, двоежнецем! Самому так спятить недолго.

С кем бы посоветоваться что ли? Да с таким неудобно ни к кому лезть. Всё-таки попробовал, намекнул молодой жонке, та раскричалась, расскандалилась, дескать, бесстыжая врунья твоя бывшая, не думать тут надобно, а допрос вести и саму ее в железы да в земляную тюрьму ежели не за клевету бессовестную, так за распутство!

Вытолкала его взашей и дверь захлопнула. Беда с этими бабами.

Поплелся к митрополиту Даниилу для тайной беседы. Тот, вражина, глаза отвел, губы сочные поджал. Молодой, сказывали, сам кобель порядочный. Лицо белое, румяное, словно озабочено сделалось, а глазищи будто смеются. Дело, — грит, — будто и пустяковое, нестоящее, однакоже права твоя женушка, надобно учинить по всей форме дознание. Потому мало ли что...

Тотчас послал, шума не делая, с дознанием в Покров монастырь шустрого и сметливого дьячка из незнатных Федора Осоргу, а начальником ему еще послал боярина из Глинских, родственника жены. Те дело быстро обделали со всей тихостью, однако когда вернулись и доложились, то Василию стало не легче, а еще более думушек и забот прибавилось.

Царица встретила их, — так рассказали ему, — в скорбном виде, в черных одеждах, и поведала, что всё так, родился, дескать, у нее от Василья (а еще-то от кого же?) сын, назван был в миру Георгием, а крещен будто бы Димитрием. А незадолго до их, дознавателей, приезда взял да и помер, малюточка, сердешный, неведомо от какой хвори али от недогляду, много ли ему, махонькому, надо! — и в слезы. А после повела их в церкву и показала детский гробик-колодку, а что там в этой колодке, углядеть никак нельзя было. Потоптались, да вроде расспрашивать, когда, да как, да что, неудобно сделалось. Да и монашка там за ними повсюду шныряла, старица первая ихняя,



чтобы лишнего не высмотрели да не вызнали. Так и уехали в недоумении, был, не был ли мальчик.

Тут уж Василий впал в полное расстройство и поплелся снова к митрополиту. Думал по дороге: Димитрием крещен, не в укор ли опять ему, в память ли об усопшем племяннике? А Даниил чуть не в рожу ему хмыкает. Дескать, был али не был мальчик, нам это всё таперича без интересу, коли его в животе уже нету. А Василий еще спросил, не послать ли к Папе Римскому с покаянием али к патриарху, а Даниил ручками белыми замахал: октись, царь батюшка, всё это дело надо похерить со всею тихостью, живи себе спокойненько да милуйся с молодой жонкой, совету нам ничьего не надобно, своим умишком обойдемся.

Тем всё тогда и закончилось. Не было больше никаких известий из монастыря. Узница царственная унялась, смирилась с долюшкой.

— А вот как об этом поведал, — продолжала Геля, — путешествовавший в XVI веке по России австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн:

«Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никак не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом двояко».

Известно еще, что где-то около этого времени великий князь пожаловал монастырю сельцо Павловское, что под Суздалем, а спустя еще год выстроил в Москве у Фроловских ворот церковь, освященную великомучеником Георгием...

Но история эта и в XVI веке не закончилась. Загадка о сыне Соломонии Сабуровой дошла до наших дней. В 20-е, 30-е годы, уже при Советской власти, когда проводились раскопки в монастыре, нашли в склепе Покровского собора, рядом с гробницей Соломонии, анонимную белокаменную плиту с орнаментом, повторявшим орнамент на плите гробницы старицы Александры. Под плитой нашли небольшой гробик-колоду, а в нем полуистлев-



шие остатки детской рубашечки из шелковой тафты, украшенной серебряной нашивкой и с остатками жемчужного шитья по вороту, рукавам и подолу. Всё это восстановили реставраторы и уверенно отнесли находку по технике шитья и материалу к первой половине XVI-го века.

Но никаких останков обнаружено не было. По одной из версий это было ложное погребение. Сведения об этом приведены в трудах директора Суздальского музея А. Д. Варганова. Но, поскольку сам он только присутствовал при раскопках, — в то время ОГПУ занималось поисками упрятанных по монастырям драгоценностей, и разбираться с останками было им недосуг, — то и толкования тем отдаленным событиям существуют разные.

Была еще молва, связавшая родившегося в монастыре сына Соломонии с именем разбойника Кудеяра, тему эту развил историк Костомаров в XIX-м веке.

Ну, а сама она, Соломония, во иночестве София, прожила за стенами Покровского монастыря долгую жизнь, пережив и мужа своего и свою соперницу.

Новая царица в замужестве три года была бесплодной. Василий старел. Ну, а когда Елена родила, наконец, мальчика, то молва снова тихонько гуторила про дружка царицы, боярина Ивана Телепнева-Овчину. А когда после смерти Василия Елена осталась регентшей при малолетнем сыне, тот Овчина был к ней приближен, и они вдвоем стремились ослабить, а потом вовсе устранили назначенное в помощь царице боярское правление, вошедшее в историю, как «Семибоярщина». Всё это кончилось для молодой царицы трагично. В результате боярского заговора Елена была отравлена, а боярина Овчину казнили, и тело его рассекли на куски.

Полумрак, согнутые черные спины, запах ладана, пенье...

Сын же Василия и Елены, войдя в возраст, стал царем на Руси, которому людская молва нарекла вначале имя: **Иван Губитель**, ну а в историю вошел с именем **Царя Грозного**.

Покров для возложения на гроб Преподобной Евфросиньи Суздальской, исполненный руками Соломонии Сабуровой, вы видели сегодня в музее.



Автобус мчался, слегка подрагивая, по полупустой Владимирке, небо было серо и живо, как на картине Левитана с тем же названием, увековечившей грустный и поэтический образ: пустая, уходящая вдаль, широкая проселочная дорога, придорожный крест и перед ним фигура путника.

Лес по обе стороны мелькал, перемежаясь с пустошами и овражками, дорога мчалась, то взлетая вверх, то опускаясь мягкими увалами; вдаль над серым полотном с двух сторон сближались, нависая, но не смыкаясь, темно-зеленые кроны, образуя волнистый треугольник.

Когда мы возвращаемся в Москву в солнечный день, то где-то с середины пути солнце наискось ползет по лобовому стеклу, слепя, обдавая жаром, и никуда от него не деться, особенно если сидишь на кресле-вертушке. Но я всё равно люблю на этом месте сидеть и глядеть в окно, как струится, змеится пейзаж нескончаемой лентой, на мельканье светло- и темно-зеленых, бурых пятен, а зимой — белого, черного, голубого и желтого, всё вытягивается, несется, пробегают деревни, придорожные домики, колодцы, люди...

Я люблю дорогу. Мне кажется, это чувство — почти органическое: моим молекулам полезно ощущение движения, оно всем, я думаю, полезно, ведь все мы вместе с нашей планетой непрерывно несемся куда-то в бесконечном пространстве, все мы в нем странники. Всё существо мое подчиняется, встраивается в мерный ритм, мысли упорядочиваются, чувства успокаиваются, вливаясь в общий, вечный круговорот.

Если возвращаемся осенним или зимним вечером, когда рано темнеет, то вокруг черно, лишь встречные автомобили разрывают темноту узкими, слепящими пучками света от фар, мир волшебным образом изменен, и автобус, точно космический корабль, мчится в полном мраке, группа позади молчит и подремывает, утомленная впечатлениями и дорогой, и никто не спрашивает экскурсовода, часто ли приходится ездить, и как смотрит на это муж?

А когда зимним вечером едешь в полной тьме где-нибудь по Владимирской земле, по узенькому шоссе, то в лучах фар волшебным, фосфорическим, синим сиянием вспыхивают придорож-



ные указатели, высвечивая старинные названия: Батыево, Кошево, Арзамачи, Побойки... Века сплющиваются, сплавиваются, и из сумрака выступают неясные тени, слышатся звоны, стон, крики, плач минувшего!

Это хорошо — уметь чувствовать движение, дорогу. Поэтому я не люблю, когда группа берет с собой магнитофон, даже если они деликатно выключают свою музыку, как только экскурсовод берется за микрофон, но мгновенно тут же опять врубают, как только рука с микрофоном отведена. Я, разумеется, виду не показываю, но внутренне вся скукоживаюсь. Кто будет спорить, все обожают монологи Хазанова и Жванецкого, но всему свое время, а тут общее, дружное, в том числе и мое, ржанье напрочь заглушает мерный, вечный шепот, музыку движения, и что-то ощутимо гаснет во мне, но я продолжаю привычно «вести» дорогу, разве лишь чуть упрощенно. Не всех же трогают сказки старины. Но большинство, независимо от возраста, служебного положения, — в дороге тихо и мгновенно преображаются, отрешаясь, — пусть на недолгое время, — от житейских неурядиц, груза забот, трудно решаемых проблем, — погружаясь в прошлое. Они становятся похожи на детей, шалят, слушаются экскурсовода, едва руки не поднимают, чтобы задать вопрос, и впитывают волшебные картины старины.

А на обратном пути в Москву, переполненные увиденным и услышанным; подремывают или, бывает, поют, иногда — разное, передние одно, задние другое, стараясь переорать друг друга, а водитель, — особенно если ему не нравится группа, включает бортовой приемничек на полную громкость, чтобы заглушить и тех, и других, я же, отговорив все тексты, приняв две таблетки анальгина, с идиотической улыбкой балдею, тараша глаза, и думаю о том, что вот уже скоро — Москва и Курский вокзал, там быстренько разбежимся мы в разные стороны, и тогда уже, отстроившись от всех, — хоть они и симпатичные, но я очень устала, — забежав в дальний вход метро, можно будет по-настоящему расслабиться.

Нередко так бывает, что я ухожу, унося в памяти чье-то лицо, мужское или женское, по непостижимому, не от меня зависящему выбору, оно возникает перед внутренним взором сразу, как только остаюсь одна, и молчаливо и ненавязчиво несколько дней остается со мной и преследует меня...



И почти всегда при последнем, беглом и торопливом прощании, когда экскурсовод стоит в дверях с одеревеневшей улыбкой, кивая головой, как болванчик, а группа выходит по-одному, и все говорят примерно одно и то же, положенные слова благодарности, — бывает странное чувство слабого протеста и удивления: как же так? После двух или трех дней, проведенных в душевных контактах, когда люди открываются с неожиданной, полузабытой ими самими стороны, после откровенных разговоров, когда охотно делятся с совершенно чужими людьми тем, что избегают говорить близким, — вдруг так, сразу, резко и — навсегда?! Но я быстренько себя одергиваю, отгоняя легкое смущение, ведь расставания — закон жизни, и что было бы с нашими сердцами...

Как-то взбунтовалась милая молодая дамочка и, проходя мимо меня, прощаясь, в короткие секунды, уже спустившись на ступеньку, — обернулась и, поглядев строго красивыми потемневшими глазами, сказала:

— Может, когда-нибудь встретимся? — и кивнула.

У меня, как всегда, была заготовлена на этот случай особенная «маршрутная» улыбка, ласковая и грустная, и взгляд, которым я давала понять, что не следовало ей так говорить по закону жизни... Но, помню, в тот раз не получилось ни этой улыбки, ни прощального взгляда, я тут же согнала всё это с лица, поглядев вглубь салона, туда, где в неостановимом ряду, в смешанности лиц, сумок, пакетов и свернутых трубкой красочных суздальских календарей, возвышаясь над другими головами, дамскими меховыми шапочками, видна была приближавшаяся его ушанка. В тот момент я твердо знала, что нельзя, чтобы он увидел, прочел на моем лице эту допустимость, согласие с прощанием — навсегда.

Это была поездка трехдневная тоже в Гусь, кажется, под восьмое марта. Были три солнечных, морозных дня и пьянящий суздальский воздух. Его номер был рядом с моим, он жил с двумя друзьями. В первый же день, когда расселились, я шла с тяжелой дорожной сумкой по коридору, а он вышел из двери мне навстречу и что-то говорил, глядя мне в лицо, я же, привыкши к разным объяснениям, ничего не запомнила, даже, может быть, не разобрала, кроме одной фразы, он сказал: «А я — лепщик». Я улыбнулась и покивала головой, а потом, придя в номер, подумала рассеянно: «Как это — лепщик?»



Скульптор что ли?» Высокий, тонкий, немного смешной, он нравился всем, на нем была пятнистая эта форма, кажется, он служил в Афганистане. В последний день сделался замкнут и серьезен, почти сух.

Я ждала, слегка замерев, что вот сейчас пройдет мимо, почужевший, глядя скользящими, прищуренными глазами, едва кивнув, спустится с подножки... Он начал говорить, не дожидаясь, пока отойдет шедший впереди него, и говорил быстро, без остановки, приближаясь шаг за шагом, словно боясь не успеть. В вокзальном шуме, го-лосах, тарахтенье автобуса, я не разобрала ни единого слова, только слышала хрипловатый голос и глядела в его лицо, продолжая улыбаться, кажется, улыбка была растерянной...

Дома, готовя документы, развернула список группы. Я не знала даже имени его. Повинуясь безотчетному желанию, пыталась догадаться, — фамилии всё больше были женские, но вот рядом три мужских имени... Знала, что пустяки, небольшое упражнение, тренировка сердца.

Прощай и ты, милый лепщик. Твое лицо дольше других было со мной, хотелось удержать его, а как удержишь?

Совсем стемнело. Проехали Купавны. Автобус, как космический корабль, мчался во мраке, разрываемом время от времени цепочкой встречных огней. Тихо было в салоне. Водитель Толя в классической позе водителя, откинув прямую спину к сиденью и расставив широко длинные ноги, так что туловище его образовывало два угла, тупой и острый, словно врос в сиденье и почти не шевелился, управляя машиной еле заметными доворотами руля. Николай Иванович и внучка Анны Керн дремали, привалившись друг другу.

Геля поймала себя на том, что некоторое время не сводит глаз со странного, с неровными краями, большого тускло-желтого пятна, висевшего в разрыве свинцовых туч. Подумала: какое странное пятно. Что бы это такое было? По размеру как будто луна... кусок луны. Звездой не может быть, — слишком велико. Конечно, луна.

Но вот что-то сместилось, передвинулось в небесной гуще, бледно-желтое пятно еще больше высунулось, закруглилось... Стало точно видно, что это не луна... Странное какое пятно с неровными, лохматыми краями. Выходит, что всё-таки звезда? Но почему такая огромная? Это, конечно, не Сириус, его в это время вообще не видно,



и он совершенно другого цвета, переливается и сверкает, как голубой карбункул. Венера? Да нет же, — размышляла заторможено в изменившемся, ставшем незнакомым и таинственным ночном мире.

НЛО! — догадалась. Чему ж еще быть? Конечно, НЛО. Почему нет? Ведь видят же люди. И в газетах прописывают. Если это точно не луна и не может быть звездой, значит, НЛО! Тарелка. Летающая. Точно. Надо кому-нибудь сказать.

— Какая звезда, — сказала негромко, в пустоту.

— Это Марс, — тотчас же отозвался водитель Толя, уверенно, не оборачиваясь.

— Ну нет! — возмутилась, — только не Марс. Он совсем другой, не такой большой и мигает красным.

— Это Марс, — проснувшись, веско подтвердил Николай Иванович. Геля даже опешила от их уверенности и нелепости спора.

— Да нет же! — воскликнула, смеясь. — Я бы еще подумала, что это Сириус, но и он не такой большой, и его не видно в это время года.

— Это Марс, — сказала внучка Анны Керн.

— У меня сосед по лестничной клетке астроном, — недовольно заметил Николай Иванович, — кандидат наук. Он всё знает.

Она сдалась, продолжая посмеиваться, подумав, подобно грибовскому герою: «Я не знал, что это так уж гласно!» И продолжала тихонько поглядывать на звезду.

А! Я вспомнила! Я узнала тебя! Это — ты, моя путеводная звезда. Я вспомнила, что уже видела тебя однажды. Этот тусклый, немигающий желтый зрак привиделся мне в темно-синем небе над безбрежными российскими полями.

Была поздняя осень, ноябрь. Мы ехали по владимирскому Ополью в сказочный звездный Суздаль, поздним вечером. Так же, как сейчас, было темно, только не видно на узеньком шоссе встречных огней. Рассеянным взглядом шаря по этому непроглядью, я повернула голову и увидела вдалеке, там, где ровное, темное поле сливалось с темно-сизым небом, большое село, длинные, низкие строения, должно быть, хлевы или амбары, за ними усадебные домики, всё хорошо было видно, потому что освещено было неизвестно откуда льющим, призрачным, мерцающим, тусклым сиянием. Я подняла глаза и увидела в небе одиноко стоявшую прямо над селом, огромную,



желтую звезду. Некоторое время, не отрываясь, глядела на эту картину и после оглядывалась, чем-то она подействовала на воображение.

Потом отвлеклась и позабыла о звезде. А она на очередном крутом витке дороги забежала вперед и прямо перед моими глазами повисла на лобовом стекле. Потом снова убежала назад; опять явилась и глядела, не мигая, тускло и желто, как сегодня; и была одна, всегда одна.

Да, я вспомнила, я узнала ее. Что ж поделаешь, если не мигает весело острыми лучиками и не переливается, точно голубой карбункул. Путеводную звезду не выбирают, как судьбу.

В самом деле, в ритме движения мои мысли сами собою приходят в порядок и выстраиваются произвольно упорядоченным строем. Однажды так, глядя на дорогу, на несмыкающийся неровный треугольник склонившихся крон по разные ее стороны, я под дорожную тряску корявыми буквами записала «Формулу жизни», несколько строчек, примитивных, в них, может быть, кроется крохотный кусочек сиюминутной, простенькой истины.

Мне не раз приходило в голову: умереть в дороге; символически, конечно, без неудобных реалий, просто исчезнуть, истаять, слиться с движением, с ритмом, перейти в энергию, стать частью воздуха, земли и леса, частью движения.

Я люблю движение. Я люблю глядеть на дорогу. Я очень хочу услышать, о чем шепчут старые камни. Я хочу «вспомнить» прошлое. Я люблю...

Формула жизни

Неправда! Что придет завтра, если сейчас — сегодня.

Не может быть! Чтобы эта стареющая женщина была когда-то Молодой, и это она улыбается с пожелтевшей фотографии.

Неправда! Что эта молодая и цветущая женщина

Станет когда-нибудь старой...

Не может быть! Чтобы пришла смерть, если сейчас —

Жизнь!





К О Н Е Ц Г Е Р О Я





Воспоминания на Городецком валу

*Дети мои, знаете, это уже зашло солнце
Земли Вуздальской.*

«Житие Александра Невского»

— **Д**алеко ли до Нижнего?!

Спросил и сам удивился, а воевода Федор Кривой, к которому только мог относиться вопрос, не ответил ничего и не обернулся даже, только неопределенно хмыкнул. Воевода, встал сегодня спозаранку, утомясь бездействием, и, разжившись у кого-то столь же изодранным и изношенным, сколь широким размахаем рыбаря, уехал на лодчонке к мелям попытать рыбацкого счастья, а сейчас, не в духе, пыхтя, отвязывал чиненную и перечиненную сеть.

Погода стояла ясная, даже жаркая для середины осени. Дождей не было, река обмелела. Не получив ответа, постояв и глядя на спину воеводы, продолжал недоумевать нелепости своего вопроса, словно не с его слетел губ. В самом деле, хоть среди ночи его разбуди и сонного об этом спроси, тотчас ответит, что *ежели ветер дует посолонь, то в легком челне отсюда, от Городца к вечеру до Большого Посаду доберешься; ну а ежели противу солнца ветер, то и того меньше.*

Да только зачем ему это?! Постояв так в раздумье, повернулся и пошел к боярскому двору через распахнутые настезь ворота. Когда проходил мимо летнего терема, то из верхнего окошка через узорчатую ставню вслед ему глядела Прекраса, как всегда ему вслед глядели женщины. Он редко оборачивался. Но всегда знал, когда кто ему вслед смотрит. А тут прошел и не заметил.

А она, проведив взглядом до тех пор, пока высокая фигура гостя не скрылась за углом дома, выбежала, как была, в легком сарафане, прикрыв косы кисейным платком, обежала растущие на вершине вала сосны и, спустившись к самой реке, остановилась и бросила в воду плоский камешек. Дремавший у заводи, раскинув руки, перевозчик Левх поднялся и, слегка наклонившись, радостно глядел на нее.

— Левх! — спросила, чуть запыхавшись от бега, — Левх! Далеко ли до Нижнего?



Он вроде удивился, поморгал, как бы озадачен.

— Дык чтож, боярышня, — молвил, — видишь сама, река нонече какая, мели да перекааты. Ну дык ежели ветер дует посолонь, то к вечеру в легком челне, пожалуй, до Большого Посаду доберешься. А коли противу солнца ветер, то и того меньше.

Она пошла назад, задумавшись и теребя концы расшитого бисером пояска, наискось в гору по тропинке, где ей повстречался невесть когда и откуда появившийся у них на дворе молодой этот монашек с длинным носом и противной улыбкой. Хотела обойти, но он встал у нее на дороге.

— Куда так спешишь?

— Тебе что за дело! Иди себе!

В эту минуту показалась у бревенчатой стены, огораживавшей усадьбу, удалявшаяся фигура Александра. Монашек перехватил ее взгляд, разулыбился еще противнее.

— Нравится тебе ваш гость?

— Ах ты! — вскричала, окончательно рассердившись. — Тебе-то что?! Чего спрашиваешь?! Он уже старый... У него дети...

— Ну так что же?

— А вот что. Скажу отцу, и вылетишь с нашего двора, куда глаза глядят! Чего всюду шастаешь, во всё суешься?!

— Ну не сердись.

— Иди с богом.

Только от этого отделалась, встретила нянька Пелагеюшка, разохалась, распричиталась

— Куда же с утрава-то неприбранная да нечесанная головушка, стыдобушка, красавица моя! Не маленькая, невестушка уже! Пойдем, пойдем, лапушка, отец спросит, что ему скажу?!

— Где он?

— Где ж ему быть. Чать в писарской избе сидит с татариним. Гуторют о чем-то.

Не слушая причитаний няньки, Прекраса направилась к писарской избе. Там за длинным деревянным столом в углу двое сидели, близко наклонясь друг к другу головами и, когда взошла, оба повернулись к ней. Один был ее отец, здешний боярин, которого по старой памяти в слободке величали между собою Васькой Та-



раканом, — нестарый еще, грузный, во взмокшей рубахе от стоявшей в избе духоты, взглянул удивленно и властно. Второй из сидевших, татарский баскак из Орды тоже к ней повернул круглую, гладкую, черную голову и не спускал с боярской дочери восхищенного и дерзкого, бесстыдного взгляда глянцевого, ставших совсем узкими, как щелочки, глаз.

— Ну? — недовольно спросил. — Тебе чего? Чего поутру, как девка дворовая, бегаешь

— Отец! Левх сказывал, отсюда до Нижнего езды от нас недалеце...

— Сама собралась? — с насмешкой в голосе. — Али ждешь кого? Али провожаешь?

— Гость наш занемог... — просяще. — Вели Левху, пусть съездит в Нижний за лекарем. Там, сказывают, в Жидовской слободке знатный лечець живет!

— Какой гость?! — брови боярина круто пошли вверх, глаза расширились от изумления, и в них, почудилось ей, мелькнул страх. Баскак Али перестал улыбаться и нахмурился. — Александр Ярославич?! Почем тебе ведомо?! Али он лежит?

— Нет...

— С чего тебе померещилось ли?! Утром видал его, шел здоровехонек. Поди-ка лучше оденься, умойся да причешишь, что неприбранная бегаешь?! Куда Пелагейка смотрит, ужо прогоню! Не маленькая уже, невеста. Сядь, делом займись. Приданое шейте с мамками, няньками. Замуж тебе пора. Ужо подыщю жениха. Матери у нас с тобой нету, помогать нам некому. Ну, поди.

Встал, подошел, погладил по волосам, поцеловал в самое темечко. Она, опустив голову, вышла.

* * *

Ветер не на шутку разыгрался, дул с реки, гнул деревья, вот вот нагонит тучи. На открытом всем ветрам мысу, у угла городской стены, стоял человек и на реку глядел, словно не чувствовал задувающего в лицо, ероша густые, пышные волосы, вихря, забиравав-



шегоя под рубаху. Вот обернулся, молвил негромко, повелительно: «Выйди!»

Из-за одного из кустов, разбросанных по склону вала, вылез тот самый монашек и встал перед князем.

— Пошто всюду ходишь за мной?

Тот молчал.

— Кто таков-то? — продолжал мягче. — Как звать? Откудава пришел?

— Из-под Киева, — отвечал бойко и разумно. — В тамошних Печорах жил у монахов шесть лет. В обители звали Афанасием. А как вышло тамошнему люду разорение и гибель от татар, многих посекали, а я убег.

— Издалече идешь... Скажи-ка: ты в обители жил, так ты грамотен, Афанасий?

— Сподобил Господь. Грамотен.

— Добро. Добро. А у здешнего боярина на постое давно ли?

— В одночасье с тобой пришел.

— Чем живешь, Афанасий?

— Время такое, что не разживешься. Живу, чем бог пошлет, да добрые люди подадут. А так хожу да гляжу.

— Ишь ты, глядит он! Да много ли видишь?

— Вижу вот... доверчив ты больно!

Повернулся к монашку лицом, тихо рассмеялся, задохнулся, закашлялся.

— Точно подметил, молодец! До седых волос, гляди, дожил, а ума, стало быть, не нажил. Все дурак дураком.

Монашка, казалось, не порадовала эта улыбка, он опустил глаза и нахохлился.

— Ну ладно, — отсмеявшись, откашлявшись, сказал, — ежели хочешь, то приходи завтра сюда же. Разговор есть. Вижу, простой и открытый ты малый.



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

Мир стоит до рати, рать до миру.

Но на завтра встретиться им не пришлось. Погода переменялась, ветер тучи надул, ливня полил дождь и продолжался на следующий день и на третий. Всё в доме пропиталось сыростью. Затопили жарко печи. На носу был Покров.

В боярском доме вставали поздно: куда спешить? Лишь высокий гость подымался поутру рано, всегда в одно и то же время, еще темно, словно привычно разбуженный далеким ржанием степных коней под чужим небом с другими звездами. Вставал, умывался, завтракал скудную свою трапезу вместе с воеводой Федором и мальчиком, а там — пройдет раз-другой через горницу, всё больше молчком, и до обеда не видать его, не выходит из комнат, беседует ли о чем со своими спутниками или просто за реку глядит в окошко за завесою дождя, предаваясь своим думам.

К обеду подавали пироги, кашу, а то и рыбку, лапшу, и боярин, бывало, воскликнет:

— Не зыщи, князюшка, яств, питиев заморских не держим!

На это Александр, рассиявшись чудесной своей улыбкой, отвечал весело:

— Эх, боярин, Василий Акинфьич! Сразу видно, что не живал ты в Орде да не спал под телегою и не едал ихнего угощения, пшена с водою и без соли, не желаешь ли отведать?! Да с месяц так поживи-ка, я на тебя посмотрю!

* * *

Великий князь владимирский Александр Ярославич, имя которого к тому времени, о котором идет рассказ, уже не одно десятилетие звенело по Руси колокольным звоном, — был из того поколения русских людей, которые родились и успели прожить юные свои годы в свободной и веселой Руси с богатыми городами, многими крепостями, селами и деревнями, монастырями и церквами, с реками полноводными и лесами дремучими на многие версты, рыбны-



ми и бобровыми ловами. Невесть за какие ли грехи страшной черной тучей налетела на Русь тьма Батыева. Это случилось в лето 6745 года от Сотворения мира, в год Красного Петуха, когда пришла перемена, внезапная, неожиданная, негаданная.

Того же лета приидоша языцы незнаеми, безбожнии агаряне, их же никто добре весть, кто суть, откуда извидоша, и что язык их, коего племени и во что вера их; зовутся бо татаре, кланяются солнцу, и луне, и огню. Нецы зовутся таурмени... инии монги. (3)

В феврале 1238 года ордынская рать, разорив города южной Руси, подошла к Владимиру. Рать великого князя владимирского Юрия Всеволодовича была татарами побита недалеко от города на реке Сити. Осада Владимира продолжалась пять дней, после чего город был взят приступом и сожжен, а жители перебиты.

«Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была единственной причиной его успехов». (2)

Татары двинулись дальше, а в опустевший стольный город приехал новгородский князь Ярослав *труны собирать*, оставив править в Новгороде своего юного сына Александра. Так начинался славный путь героя.

Родись он в мирное время, иной была бы его судьба, а в эту тяжкую пору имя Александра гремело не только в Руси, **до моря Каспийского и до гор Аравитских и об оуц стороню моря Варяжского и до самого Рима.** (8)

Александр не только побеждал врага в открытом бою, как в войне со шведами, за что присвоено ему было имя: Невский, но умел договариваться в Орде с татарами, которые весьма этого князя уважали и сказано было о нем, говорят, что самим ханом Батыем: **«Другого такого нет!»**

«И красив он был, как никто другой, и голос его как труба в народе, лицо его, как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте. Сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона». (8)

Нередко для переговоров ему приходилось навещать в Орду. В зиму, предшествующую этой своей последней остановке в маленькой крепостце Городце на Волге, он долго сидел в Орде вместе с во-



еводой Федором, не своей охотой, а удерживаемый ханом Берке, который сейчас правил там вместо Батые, убитого в далекой стороне от краля угорского.

Той зимой в Орде тяжело болел Александр от многих неудобств, плохой пищи. А когда в конце лета отпустил его от себя хан, то поехали шагом, со всею тихостию, распустив по домам дружину, что была с ним, тех, кто остались живы, и оставшись с малыми людьми. Послал весточку во Владимир брату своему Андрею, а сами сидели в крепостце этой Городце, думали — ненадолго, да вот задержались, и до зимы уже было недалече...

Ведал ли, думал ли, что тишайшее это место с малым озерком и раскидистыми соснами на валу над рекою станет последним его пристанищем? Александру в то время шел сорок третий год.

— Далеко ли до Нижнего?..

* * *

— **Г**ляди-ко ты! Пшено с водою да без соли! Али уж такие нищие, что такое жрут?

— То-то, что нищие. Попрошаек таких не видал отродясь. Всё кланчат: еды, хлеба, вина, да всякой дряни: ремешков, ножигов. А попробуй не дай!

— Дык как же они тогда...

— Полмира-то завоевали? А вот как, сыне. Много их, проклятых. Одно слово: тьма! Обучил их еще хан Чингиз воровать да грабить да убивать без пощады, застращал до смерти и вбил им в башку, что они должны править миром! Видал такое?! Они и бегут, как прожорливая и безмысленная саранча, дикий страх на людей нагоняя. Не бояться сами ни черта, ни смерти, только лишь гнева ханского бояться без меры. Вот так-то, сыне.

А то и за весь обед не молвит ни слова, только встанет, вздохнет и перекрестится. В особое ненастье, когда при лучинах сидели, спу-скалась после обеда из верхней светлицы Прекраса и садилась к окну с вышиванием. Однажды подошел, поглядел. Спросил ласково.



— Уж очень красиво шьешь, деушка. Что ж это за цветы такие лазоревые?

Она только голову опустила ниже, словно онемев.

— Ай ли где растут ли такие? Никогда не видал.

— Где-нибудь да растут, — вдруг осмелев и в глаза его синие прямо заглянув, отвечала, — в странах дальних, в дремучем бору у гор Аравитских, на сыром болоте.

Лишь к вечеру третьего дня разгулялось, тучи разошлись, и в их клочьях повисла щекастая, бледно-желтая, громадная луна, и повеяло здесь, на краю земли, небывалым покоем, какого он не знал за всю свою жизнь, пронесшуюся, как единый вздох, выпетую, как песня, отлившуюся на блюдце серебряной гривной. Всё было в этой жизни; была молодость, веселая сила; была любовь; была война без пощады; а еще была в его жизни — **дорога**. Посередь жизни легла, белая, пустынная, казалось, не будет ей конца; а на дороге той — идолище поганое среди песков бутром высится каменная черепаха...

Позвольте мне поведать вам, милые и снисходительные мои читатели...

Были в его жизни перемены, такие, что не всякому выдержать под силу. А чего не было еще в ней, в жизни этой, где всякая минута была наполнена, падала звонкой монетой на дно чаши, — так это такой вот тишины и покоя. И не знал, к добру ли эта остановка его в пути или к худу. Вспомнилось вдруг: «Смерть при дороге»...

И на мгновение одно за сердце взяла глухая тоска.

— Ты уже здесь? Давно ли сидишь?

— Не-а. Не очень.

— Замерз небось?

— Я в кожушке. Ты сам поберегись. Нараспашку ходишь.

— А, мне ничего не сдеется! — засмеялся, рassiлся улыбкой. —

Ко всему я, Афанасий, привычный. Тебе сколько годков?

— Двадцать.

— Двадцать... В твои годы...



В эти свои годы он был уже героем. Звезда Александрова взошла рано и засияла ярко.

— А я родился героем! Моя судьба такая была, бо Господь дал мне силы необъятные. Да и времена наступили тяжкие, страшные. А мне и имя такое дали. Ты слышал, небось, об Александре, мира всего завоевателе? А погляди-ка: где ты видал еще на Руси Александров? Ась? И нету. Всё Изяславы да Мстиславы да Юрьи да Иваны... А в четыре годка отцем моим Ярославом был посажен на коня, в руки дал мне меч и сказал таковы слова: *«Не дарю тебе ничего другого, только меч! — им ты добудешь все остальное!»* Ярослав сам не раз мне читал о подвигах македонянина, я их знал, веришь, лучше, чем «Отче наш» и деяния святых апостолов! — засмеялся, закашлялся. — Смолоду был я ловок! Всё у меня легко выходило, моя стрела летела дальше и выше спорящих со мной, я плавал в воде, как рыба, и скакал на коне, как степной наездник, словно родился в седле. А еще помню, как перед самой напастью Батыевой явилась в небе звезда превелика с хвостом на полнеба! Я был махонький еще. Этакие страсти! Мне и во сне она снилась. А четырнадцати лет, как умереть брату моему Федору, собралась на поминки вся родня, и рязанские со стороны матушкиной, тамошний князь рязанский Юрий был ей родным братом.

А в последний раз я их всех видел позже уже, на крестинах...

* * *

— **Т**ак вот только и собираемся: на поминках да на крестинах, — молвил рязанский князь и, отчего-то загрузив за развеселым и обильным пиршественным столом, в очи поглядел юному Александру.

Князь Юрий в тот день праздновал рождение внука. По правую руку от него сидел его сын, а с ним рядом белолицая красавица Евпраксия с младенцем на руках, в новом жемчужном уборе и с привесками, подаренном свекром к крестинам. Хмельные, веселые, счастливые, богатые, они казались воплощением силы и уверенности, казалось, что твердыню эту и спокойствие, благодать Руси, ничто и никогда не сможет нарушить! Он сидел среди милых, родных ему людей, семнадцатилетний красавец, стройный, высокий, как моло-



дое деревце, помалкивал, поглядывал на яства на столе, чего бы еще съесть, хмельного вовсе не пил, несмотря на подначивания взрослых, а, поставив перед собой серебряный жбан с ароматным квасом, потягивал питье с видимым удовольствием и внимательно синими глазами в черных ресницах через край ковша рассматривал белое лицо красавицы Евпраксии.

Господи! Кто ж мог знать, кто поверил бы тогда, что слова Юрия, его грусть, окажутся вещими! Кто б мог тогда поверить, что меньше, чем через год почти никого из сидящих за столом не будет уже в живых! Нет больше веселого богатыря, громкоголосого рязанского Юрия; нету в животе и сына его, тихого, светловолосого княжича. Погибла, выбросившись вместе с младенцем из окна терема, чтобы избежать мук и позора, красавица Евпраксия.

Это пришла перемена, весть откуда взявшаяся страшная беда. Она пришла с воплем Феодосии. Александр не узнал тогда этот знакомый ему с первых мгновений его жизни голос матери. Она не могла так кричать! Но вместе с тем он знал, что это она кричит, и побежал туда, где над бившейся на полу Феодосией стоял еле живой рязанский гонец, к вечеру умерший от ран, усталости и тоски. Орда не оставляла живых свидетелей. Так взошло на Русью черной звездой ужасное имя: Батый.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. А кде София т҃у Новгород

— Ты сам-то его, Афанасий, не видал? Бату-хана? Ась? Не? Откудова тебе. А я видал ну вот как тебя сейчас. И говорил с ним не единожды.

— Поди страшен зело?

— А? Страшен? Да нет... Ничуть не страшен... Старый татарин. Смотрит и говорит просто.

Молчание затянулось. Александр, слегка нахмурившись, глядел в темную невидь ночного неба, прислушиваясь к себе самому, внутренним взором устремляясь к странным видениям, в последнее время приходившим ему на память, да так ясно вставали перед ним картины прошлого, словно было только вчера.



«Уж не болен ли я опять»? — вдруг подумалось ему неведомо с чего, и опять странная, до сих пор не знакомая ему тоска тихо, но властно сжала железное сердце, словно осенявший его всю его жизнь спасительным крылом ангел-хранитель тихо отлетел.

— А знаешь, когда страшно было, сыне? Не когда лезли на нас здоровенные шведы все в железах, не когда крашенный кровью лед ломался под копытами коней на Чудском озере, даже и не тогда под Торопцем, я был с малыми людьми и наехали на меня со всех сторон вражеские вои, — «Э! Отобьемся!» — я уже тогда верил и знал свою звезду, свою судьбу! А в первый раз было страшно, Афанасий, когда незрелым юнцом я сидел на столе в Новгороде, а уже вся Русь татаровьями была пожжена и перебита, и Ярослав уехал во Владимир трупы собирать, когда владимирские и суздальские и рязанские рати вместе с князьями положили на поле брани буйные свои головушки. Я один сидел в Новгороде, и некому было прийти к нам на помощь, когда по умолкнувшей Руси к нам шли безо всяких препятствий три хана во главе черных туч батыевых, шли по головешкам да по трупам, людей секуще аки траву. Лицем потемнели мои новгородцы. По ночам огонь горел в кузнях, ковали мечи да кольчуги. Я, сыне, сказать по правде, не особо их жалую, новгородцев, свара вот у меня была с ними, но в бою они, истину говорю, как дикие звери! Свечи возжигали в храмах, возносили молитвы. Да разве молитвами тут дело отобьешь! Всю ночь не дремала сторожевая охрана на башнях, вглядываясь во тьму, не заматаются ли огоньки вдали, не наползет ли с какой стороны лихая орда, великая сила батыева! Помирать так всем вместе! А я сам вовсе не думал тогда о смерти. И о том, что будет, не думал, не знал. Судьбу свою не знал еще тогда. Я не был еще Александром. Бог ли защитил нас?! Кто ж мог подумать, что татары ни с того ни с сего вспять повернут у Игнача креста всего в ста верстах от Новгорода? Возликовали, возрадовались мои новгородцы! Они говорили после, что это я у них князь такой везучий!

«Уже Батый находился в ста верстах от Новгорода, где плоды цветущей долговременной торговли могли обещать ему богатую добычу, как вдруг испуганный, как, вероятно, лесами и болотами сего края — к радостному изумлению тамошних жителей обратился назад». (2)



Не только Русь, весь мир оцепенел, уstraшенный жестокостью варваров. Монголы потом дошли до Адриатики, в мечтах у них было — завоевать весь христианский мир и покорить своей властью. Недаром в те времена правители стран засылали своих послов в дальнюю даль, в империю моголов, в глубину то дышащих нестерпимым жаром, то остуживаемых резкими ветрами восточных пустынь, в столицу моголов, далекий город с таинственным и странно звучащим названьем: **Каракорум**.

До нашего времени дошли записки, оставленные послом папы Иннокентия, молодым итальянцем Дживанни дель Пьяно Карпини об одном таком путешествии.

И вот на фоне этих ужасов и поражений, всеобщего уныния и скорби — неожиданно прогремела весть о блистательных победах молодого русского князя из славного, почитаемого уже более ста лет на Руси рода Мономашичей.

Этот первый подвиг, эта победа была им одержана не над татарами, а над шведами, которые полезли на Русь, чтобы отвоевать северные земли, когда страна была ослаблена игом.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Запомни их имена!

— **А** слышал я еще от ученого монаха-фрязина, что *«вещи и гробу беспмятства предаются написаннии же яко одушевленнии!»** Эй, Афанасий! Ты ведь грамотен. Ты молод еще... Запомни же, что я сейчас расскажу тебе, здесь, в заброшенной крепостце у великой реки на краю земли, у самой Орды. Запомни. После, потом... может, передашь али запишешь... Я расскажу тебе, как всё было! Какие люди были, монах! Запомни же! Запомни их имена!

Мой первый бой был со шведами на Ижоре. А я потом так думал, что дело иногда, часто, решает счастье... случай! А посмотри: не встань тогда начальник стражи Пелгуй ночью до ветру али встань он попозже, и не увидал бы на море шведские лодии, али увидал бы, да было бы уж поздно. И еще: в бою решают дело иногда мгновенья, мелочи!



Тяжелый, сырой предрассветный туман висел над землей, когда начали мы битву, первыми напав на них! Берегом реки пустил я конников к центру лагеря шведов по узкой косе, они нас там не ждали! А после бился один на один азъ с Биргером, королем ихним! А пока бился с ним, один из новгородцев, Гаврила Олексич, отделившись от конников, помчался за королевичем ихним и, преследуя его, взлетел на корабль вместе с конем, а после перескакивал с корабля на корабль и в воду упал, но спасся и дрался, как черт, многих врагов побиваше!..

Огромен и тяжел весь в железах и видом страшен был Биргер, король шведов. Но прекрасен был стоявший перед ним витязь, глаза его сверкали из-под черных вразлет бровей, как звезды. Прорвав туман, вдруг появилось и осветило все вокруг солнце, и ярко в его лучах высветился алый плащ-корзно на плечах витязя.

— Мы бились долго. Я вдвое моложе этого ихнего Биргера. Он пыхтел тяжко, весь в железах. А они и не спасли его, слышишь, сыне, от меча Александрова! Достал и печать возложил на лице его! Носи же во всю жизнь, вражина, память Александрову!

А тут еще новгородец один от убогих именем Савва изловчился и, пеший, подкосил на виду у всех златоверхий королевский шатер, и тот рухнул! И вопль пронесся над полем битвы, как ежели бы обрушились горы Аравитския!

Был еще славный воин именем Ратмир, пеший и врагами окружен, бился, пока не упал, скончавшись от многих ран. Новгородец же Миша, тоже пеший и без шапки, побил вместе с дружиной три ратных корабля! И Збыслав Прокопович, и Яков Полочанин, один сражавшийся с вражеским полком...

Запомни же, запомни их имена!

Измученный, истощенный игом народ подхватил этот подвиг, как сказку.

«Обрадованное наше горестное Отечество дало Александру славное прозвище: Невский». (2)

Потом сражение с немцами на Чудском озере. А посредине жизни его легла бесконечная белая дорога...



Позвольте мне Вам поведать, благосклонные мои читатели...

— Телами погибших свейских рыцарей мы заполнили две огромные лодии и потопили в море, ну а прочих всяких, яму ископав, *вместа в ню беицисла*... Новгородцев же погибло числом не боле двадцати... Эй! Ты не заснул, Афанасий?

— Как можно, что ты! Все запомнил.

— Постой! Прислушайся-ка! Ничего не слышишь?

— Ничего не слышу.

— Не плещутся ли по реке весла, не разносит ли ветер переговор гребцов?

— Нет, княже. То ветер шумит в соснах. Тихо все.

— А мне показалось... Да нет, я не жду никого... Как поехали мы от Орды во Владимир, думали, что сразу повернем к Нижнему, да вот тут остановились. Воевода мой так велел, малость переждать да отдохнуть. Он мне теперь заместо мамки-няньки, в пути, — засмеялся тихо. — Я, Афанасий, дуже болел в эту зиму в Орде. Думал, не выберусь, ей Богу!. Чудное было со мною. А вот оклемался. А как сели мы тут, послал я гонца к Андрею, братку моему, что вот я, мол, туточки сижу, постараемся до зимы вернуться, а там как Бог даст. Ты знаешь ли, монах, икону: «Смерть при дороге»? — неожиданно, задумчиво спросил, а монашек, не отвечая, глаза опустил и нахохлился.

— Да, было время, сыне! Любил я разгуляться во чистом поле, померяться силушкой, поиграться. А войну не люблю. Убийство противно зраку моему. Гляди, как чудно, а, Афанасий? Героем я родился, а воевать не люблю?! — засмеялся, закашлялся. — А только время было такое, да и сейчас тоже. Только оглядывайся, откуда вылезет ворог лютый!..

— А тута?

— А чего тута?

— Тута ворога около тебя нету?

— Тута где ж ворогу быть? — с недоумением. — Тихо все.

Вышел из-за угла воевода Федор с теплым армяком, заботливо укрыл плечи князя.



— Засиделись, батюшка Александр Ярославич, гляди, как бы не застудиться. Поздно уже, домой пора. Ночь на дворе, время ворота запирать, да и Торопко плачет, без тебя заснуть не может, боится.

— Она! Шагу ступить не дает, — молвил Александр и, проходя, подмигнул монашку.

* * *

А наутро на заднем дворе боярского дома, на чурбане у крыльца, сидел воевода Федор Кривой и строгал длинным ножом-засапожником толстую щепу, которой был усыпан весь двор; накануне заготавливали на зиму дрова. Ловко орудуя ножом, вырезывал из обрезков фигурки воинов, мечи; ползавший тут же на коленках боярский сын Руслан, отбросив все игрушки, увлеченно возился, расставляя фигурки на земле. Прекраса на завалинке сидела, подставив нежное лицо скупому на ласку последнему осеннему солнышку. Чуть поодаль, из-за крыльца, наблюдал за игрой боярского сына, мало-помалу придвигаясь, глухонемой мальчик Торопко, сирота, натерпевшийся страху от татар и взятый Александром из жалости, так и ездил с ними.

— А что, дяденька, — спрашивала Прекраса, — твой-то князь Александр... Ярославич так уж знаменит, и нету равного ему во всей Руси богатыря?

— Имя Александрово, так я тебе скажу, деушка, двадцать уже годов, и когда тебя еще на свете белом не было, уже гремело по всей Руси, наводя страх на ее врагов и изумляя все народы от Орды и до самого города Рима. Слышала о таком?

— Не-а.

— А мы вот с посланцем папы, как счас с тобой. Папа римский сам послов слал для переговоров с Александром.

Она рассмеялась звонко.

— Па-а-па?! Это как же? Чей папа-то?!

— А и ничей. Это вроде как у нас поп. Только еще много важнее.

— А пошто вы с вашим князем почти не разговариваете?



— Стало быть, обо всем уже переговорено. Почитай двенадцать годков с ним уже мотаюсь. Не раз вместе под телегою лежали да банданду ихнюю едали.

— И во всех знаменитых стражениях ты, стало быть, с ним бывал?!

— Не, не во всех. На Ижоре со шведом я не дрался. Я от Пскова к нему прилепился, когда немца оттудова гнали. Там я глаз потерял. Немец семью мою во Пскове сжег. Один я. Князюшка для меня и сын и брат и мать с отцом. Люблю его. Другой такой чистой души, скажу тебе, деушка, в свете нету.

В ту минуту поодаль, по гребню вала, вдоль ряда сосен прошли двое, князь в съехавшем с широких плеч армяке, с разметавшимися русыми, едва припорошенными сединой волосами, и, словно тень его, казавшийся маленьким рядом с рослой фигурой Александра, монашек. Сидевшие на дворе, молча, проводили их взглядами, кто с ласковой заботой, с восхищением или грустью. Но не заметили еще одной пары глаз, следивших, не отрываясь, за статной фигурой витязя, пары огромных черных глаз, отрезанных от лица кисейным покрывалом. Чуть отодвинув полог в окне сараюшки, который занимали две жены татарского баскака Али, глядела вслед Александру молодая жена татарина, мусульманка Камаль. Ей было четырнадцать лет, она родилась в Орде, в плену, от женщины, которую когда-то увез лихой степной наездник из разоренной Бухары. Видение было недолгим. Полог опустился. Те двое скрылись, спускаясь по валу к реке.

— А что, дяденька, — продолжала спрашивать Прекраса, — скзывали под Псковом немца было побито видимо-невидимо?

— Точно скажу тебе, деушка, бо сам своим одним глазом видел: на семь верст вокруг Чудского озера битый рыцарь лежал! Мечи да кольчуги да сапоги были у них, ах какие славные! Наша-то вся голь оделась-обулась тогда, перепоясались ихними мечами. А я себе взял шлем начальника ихнего. Такой рогатый, щелки заместо глаз.

— Неужто, дедушка, рогатый?! — изумился боярский сын Руслан, подняв чумазое лицо и сверкая глазенками.

— Вот такие вот рога, а промеж них магистр ихнего ордену, так у них прозывается, с длинным мечом.



— Ах ты, поганец, что ж ты такое делаешь, — вскричала Прекраса, — работу дяденькину всю испортил!

— А, нет нужды, боярышня. Еще настрогаю. А толко чего ж ты, батюшка Руслан Васильич, бошки да носы им пообломал?

— Это новгородцы, это игра такая, — насупясь отвечал боярский сын, оглядывая поломанные фигурки.

— Ай-яй-яй, за что ж, батюшка ты мой, новгородцами сделался недоволен?

— Сам давеча говорил, как князюшка Александр Ярославич велел тем носы да уши пообрезать.

— Было такое дело, это верно.

— Дурак ты! — вскричала Прекраса и к воеводе. — Да неужто, дяденька, вправду было такое?

— Так. Это я сам видел. Он уж было смиловиться хотел, да я отговорил и сам за исполнением смотрел. Многих тогда казнили, как они взбунтовались противу Александра Ярославича, и сына его Василья с новгородского престола выгнали. Было дело. Имя Александрово, — добавил внушительно, вставая и отряхивая с колен щепу, глядя из-под густых бровей куда-то вдаль, поверх вала, — должно быть твердым и обоюдоострым, как меч. Иначе нельзя. А что теперь я спрошу у тебя, деушка.

— Спрашивай, дяденька.

— Тот монашек от, что давеча был, он давно ли у вас живет?

— Да с вами в одночасье подошел.

— Отец-то твой знавал его прежде?

— Да откуда? Никто допрежь в этих краях его и не видал. Время такое, сам знаешь, сколько народу бездомного и разоренного от татар по земле шляется. Божий человек, дали ему приют, живи на здорье, нам не жалко.

— Ну и ладно, — вздохнул воевода и снова сел.

— А к нам-то, — помолчав, спросила, — надолго ли на постоя?

— Это уж как бог даст, — отвечал воевода и нахмурился.

В самом деле, его привычно отважно глядевший в очи судьбе единственный глаз в последние дни в ближней уже дали наткнулся на черную невидь; как только пытался думать он о будущем, как дальше им быть и не пора ли трогаться в путь, а то уж и вот-вот будет поздно,



зима недалече, — словно туман непроглядный висел перед глазами, окутывая все, и такая тоска брала за сердце, хоть волком вой.

— Князь-то твой, — тихо спросила, словно не сразу решившись, — не болен ли опять?

Воевода помолчал. После отвечал нехотя.

— Да вроде бы нет. А чо, ты не заметила ли чего?

— Да нет...

— Ну и слава те, Господи, — вздохнул. — А вы тут как, что? Как живы-то?

— Помаленьку живем.

— Орда больно близко. Не боязно?

— Боялись сперва. После попривыкли.

— Дяденька! Дяденька! — теребил воеводу за руку уже какое-то время боярский сын Руслан.

— Ась? Чего тебе?

— А где шлем-то твой?!

— Что за шлем?

— Ну ты сказывал: рогатый!

— А-а-а. В Орде выменял у татарина на сало.

Голос, дошедший через столетия.

Позвольте же Вам поведать, милые и любезнейшие мои читатели...

— Трус! Ты трус! Ха-ха-ха! Кому сказать, не поверит, а я сейчас понял! Ты, прославленный герой, Александр, доблестный воин, трус! Жалкий трус!

— Проспись, дурень.

— А я и проспуюсь, всё то же скажу! Победил шведов, немца разбил на озере и полеживает на славе своей! Нет чтобы вести войско противу Батыея и освободить Русь!

— Не время еще.

— Не время! Заладил одно! А когда будет время то?! Когда мы от них, от поганых все передохнем?! Брат! Брат! Ну, я пьян. Прости



дурака. Знаю, что герой ты и вовсе не трус, всё знаю, и ты знаешь, как с детства я восхищался тобой, ходил за тобой, словно тень, речи твои повторял, старался ступать, смеяться, махать головой, как ты... А! Я бы сам их повел на Батюга! Но за мной они не пойдут. После той дороги, на которой загадку нам с тобой загадала молодая ханша, они не захотели меня князем во Владимире и позвали тебя! Они и сейчас пойдут за тобой, когда на подвиг смертный их позовет имя Александрово!

— Имя Александрово! Это как, брате, ты сказал. А я и не знал раньше, что окромя меня, есть еще на свете штука такая, которой слепо верят люди, с какого времечка, я и не заметил, не с той ли дороги, с которой вернулись мы с тобою невредимы, али еще раньше, что есть такой идол: имя Александрово! Да не дай бог! Тяжко, брате, это бремя, недаром сказано и в писании: «Не сотвори себе кумира!» Смятение сердцу, когда незнакомые люди глядят на меня с обожанием и верою, но видят не меня, и понял с горечью, что есть теперь у Александра двойник, и названье ему: имя Александрово! Да и какая цена этой слепой вере, любви народной? — бо так же легко, родившись, загасает и переходит порой незнамо во что. Помнишь ли ты, Андрюшка, брань мою с новгородцами? Они ли меня не любили, не славили? А за что взъелися на меня и выгнали со своего стола сына моего Василья, хоша, по правде, он и зелен, молод, да и... да ладно. Я не стал тогда браниться с ними, это уж после было. А, обиду затаив, ушел от них от всех, а, пошли вы все! И жил у большого озера, — тихо, мечтательно, — с ней и с Василием, на горе, которую ныне они зовут Александровой... Да недолго было той тихости и тому покою. А от неблагодарности людской и от зависти и злобы одно снадобье есть, спасенье одно, — это глаза женщины, которая тебя любит. Ей-то не имя нужно. Она любит тебя самого, руки, плечи, волосы, губы...

* * *

— Эй, Афанасий! Я сейчас не говорил ничего?
— Не-а. Кажись, задумался крепко о чем-то.

— А у меня словно звон в ушах, и вспомнилось, да так явно! Слушай, монах. Верись, за всю жизнь никому столько не рассказывал, сколько тебе. Не до времени было. Вот, почитай, и жизнь прошла.



А они все меня во всю жизнь попрекали, и брат мой Андрейка и другие, и даже Васька, сын, не слыхивавший сам, как воет стрела татарская, все попрекали Ордою, что лажу с ними, — помолчал. — А сейчас чего здесь сижу, не поскакал сразу из Орды к владимирским Золотым воротам да к Пресвятыя Богородицы? А здесь вот сижу, в крепостце этой, и лес, и река, луна; тишь великая; и ты тут, и боярин, и эта... девушка... Судьба ли моя здесь?

Слушай еще. Ежели когда случится тебе бывать в тех местах, я сказывал, у того озера, найди и поклонись, там знают это место люди, тому *синю камню*, что на поляне у леса. Так называют его: синь камень. А он старый, замшелый весь, заскорuzлый, и не синий вовсе, а серый... Там бывалоче, ждала меня... Поклонись. Я сам уже не буду там. А без тех мест и без того синя камня, что было в жизни моей, безо всего этого — нету Александра! Нету и все.

А еще что было в жизни у меня — дорога. Без конца. Белая, мертвая пустыня, пески. А у перепутья — диво поганое, словно бугор сперва покажется посреди ровной степи, каменная черепаха с мордой на запад! Зачем это было в жизни моей, не знаю. Только без нее, без дороги этой, — вот он я, есть Александр! Скажу тебе еще: с дороги той можно было и не вернуться. Она убила Ярослава, отца моего. И не смог я поцеловать его на прощанье, ни закрыть умирающему очи, ни предать земле. Это за меня сделал другой... человек. Я о нем знаю, только не видел никогда. Что глядишь так на меня, монах? Думаешь, вру, брежу? Нет. Так все было.

А в конце той дороги город далекий, столица моголов, с чудным названьем: **Каракорум!** Не слыхал? Ась? Откудова тебе. Нам туда велели ехать с Андрейкой. Мне ехать велели, но он со мной напросился. Хан велел. А допрежь того по этой дороге проехал Ярослав и не вернулся. А еще по ней проехал тот человек... Он был не из Руси, из другой, далекой страны, где весь год зеленеют деревья, и поют птицы, а люди веселы и беззаботны. Он был молод, почти как я. Это он, а не я, закрыл умирающему очи, его в забытьи называл Ярослав моим именем. Человек этот оставил, говорили мне, в память о своем путешествии, всё записал, что видел и слышал. И об отце тоже. Сейчас я тебе назову его имя. Я сам не читал того диковинного труда и человека этого, как уж говорил, не видал да и не увижу. Сказывали мне, что он умер в той далекой стране...



«**П**озвольте же мне, наконец, поведать, Вам, милые и любезные и снисходительные мои читатели,

Историю монголов, именуемых нами татарами. Недостойный брат ордена Миноритов, легат апостольского престола и ваш слуга, о прекрасная синьора читательница и вы также, уважаемый синьор, *Джованни дель Пьяно Карпини* из Перуджи, почитатель и друг Франциска Ассизского вместе со своим слугой Бенедиктом из Польши отправился в путь ранней весной в ту неповторимую пору, когда зацветает повсюду розовый миндаль у нас на родине, и поет разноголосый и сладкий хор птиц, — в неведомую даль посланцем Папы и Господа нашего к тем диким и невероятно усилившимся в последнее время народам Востока, о которых Вы и слыхом не слыхивали, дорогая синьора, и слава Богу! — имея дерзкую мечту и повинуюсь приказу Папы, дабы выведать елико возможно об их дальнейших замыслениях, а также приблизить, каково то будет в наших силах, умы варваров к светочу веры, тайне тайн, единой и неделимой Истине! Amen.

Ах, если б мы могли знать заранее, какой долгий, полный лишений и унижений путь нас ожидает!

Ваш слуга, дорогая синьора, выехал из Лиона в солнечный день апреля, а воротился по прошествии двух лет глубокой осенью. Не так уж и долго мы были в пути, но что это был за путь, милостивый Боже!

Но все по порядку, рискуя вам наскучить, дорогая, и вам также, увы, уважаемый синьор!

Несколько месяцев добирались мы до Киева, таково название крепости почти у границы страны руссов, не припоминаю, чтобы слышал я раньше об этой народности, впрочем, они многочисленны и богаты, у них много земли и городов, которые стоят у слияния полноводных рек; правда, сейчас города эти в большинстве все разорены Батыем, но, несмотря на великие бедствия, обрушившиеся на эту страну, что-то есть в людях, которые ее населяют, в их сдержанной суровости и спокойной силе, говорящее об их большой жизнестойкости.

Там застало нас первое испытание, жесточайшая зима, не испытавши которую, нельзя представить, что это такое, скажу лишь, что я и мой спутник сразу свалились в сильнейшей лихорадке и, буду-



чи почти даже при смерти, не мог я без насмешливости вспоминать, как собирался отправляться в путь, как то повелевает устав Ордена, в рясе и босиком, и благодарил мысленно своего Друга, уговорившего меня надеть сапоги и светское платье, а также запастись парой кинжалов, которыми я владею, синьор, не хуже рыцаря-крестоносца, что немаловажно на этих бесконечных дорогах, где нередко встречаются привлеченные общим беспорядком и разрухой и царящим в душах людей страхом — шайки разбойников.

Итак, мы не проехали еще и середины пути, а наши жизни истончились уже до тонкой ниточки, и эта ниточка непременно бы оборвалась, если б спасение и помощь к нам не пришли со стороны великодушнейших в мире людей. Нас приняла семья местного русского князя, он сам, его жена, его многочисленные родственники и слуги ухаживали за нами, как за родными, нас укутывали, поили травами и горячим медом, чудеснейшим напитком, который горячит кровь, обмазывали целебными мазями. Не могу особо не упомянуть о жене князя Романа, достойнейшей и добрейшей, прекрасной нравом и наружностью даме. Все эти люди, провожая нас, искренне плакали, ибо они считали, что более не увидят нас живыми, что нам вряд ли удастся вернуться из столь длительного и полного опасностей путешествия, одно лишь начало которого для нас оказалось почти губительным. Вдобавок они сменили нам лошадей, дав малорослых и до чрезвычайности выносливых татарских лошадок, которые зимой могут обходиться без корма. У татар, как мне объяснили, нет ни сена, ни соломы, их лошади сами умеют даже зимой прокармливаться, добывая траву из-под снега копытами. Нас щедро снабдили провизией и вдобавок почти насильно заставили принять несколько ценных высоко даже и у нас меховых шкурок из блестящего коричневого меха для даров хану и его приближенным, уверяя нас, что с пустыми руками мы малого добьемся и можем навлечь на себя недовольство. Я был против, ибо, как учит меня моя религия и повелевает устав Ордена и не раз указывалось мне и в личной беседе с высшими духовными чинами и с самим Папой Иннокентием, — нет и не может быть никаких иных даров, более ценных, и даже все сокровища мира не стоят того, что получает смертный, обретший свет Истины! Amen.

Да. Впоследствии я убедился, сколь ценны были даваемые мне от души советы и, пока луч божественного света безуспешно пытал-



ся пробиться, как через твердую коросту, в очерствевшие души варваров, эти почти силком мне навязанные меховые шкурки произвели быстрее свое дело. Силы небесные! В жизни не мог я представить себе подобных бессовестных попрошайек! Но об этом после.

Итак, укутанные с головы до ног, мы тронулись в путь, лошадки бежали резво, дорога пошла быстрее и чем дальше, тем более делалась печальной и унынливою. Мы ехали через заснеженные степи, встречая время от времени на пути своем покинутые, сожженные развалины деревень, груды головешек, припорошенные снегом *«бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле»* (3).

О эта стужа, пронизывающий ветер, мерзлая, звенящая под копытами земля, о эти дни в белой мгле и эти ночи с огромными ледяными звездами, когда нет места мыслям о Боге, ни о природе добра и зла, а лишь одно суровое и каждое мгновение ощущаемое желание: выжить! Это невозможно описать. Я и мои спутники, ибо со мной отрядили в Орду несколько русичей по ихним делам, — каждый день боролись за свои жизни.

Спутникам моим дорога была хорошо известна. По прошествии нескольких недель нас повстречал первый татарский разъезд. Потом набрали мы на каменного истукана в степи. Затем вдали показались первые кибитки. Мы подъезжали к ставке Бату-хана.

Второй человек империи Моголов, повелитель полумира, имя которого заставляло трепетать многие годы бесчисленное количество людей в разных частях света, живет посреди степи в огромном станоме, называемом по-ихнему *Урду* — Орда. Не пытайтесь, однако, себе представить, уважаемый синьор, стены или башни или хоть что-то напоминающее поселение, город в нашем понимании, — ничего, кроме бесчисленного множества кибиток на колесах, плетеных из ивовых прутьев, эти кибитки им служат для жилья и для передвижения. Короткий зимний день был ясным и уже сменялся ранними сумерками, когда мы подъехали к Орде и увидели на фоне розовеющего неба бесчисленные поднимающиеся от повозок тонкие дымы.

О, братья мои во Христе, и ты, любезный Иоанн, и ты, Бернар, и ты, святой апостол, к духу которого я зываю, глядящему на меня с небес, обожаемый Франциск, услышьте бедного своего брата, чувствующего себя таким одиноким, ибо истинно говорю, что как толь-



ко «мы вступили в среду этих варваров, мне показалось, что я вступаю в другой мир!»

Но все по порядку, рискуя смертельно вам наскучить, о любезная моя читательница, и вы, уважаемый синьор. Итак, на огромном пространстве, которое не охватить взглядом, и немало времени потребует, чтобы проскакать его из конца в конец, люди эти, кочевники, живут в крайней бедности и убожестве, не имея необходимых удобств, ни хотя бы мало-мальских тех многочисленных предметов, которые делают жизнь сносною и приятною, ни даже достаточной, я уже не говорю разнообразной, пищи посреди голой степи. С одною лишь пещуркой, безо всякого умения возделывать почву и пользоваться ее плодами. Похоже, что они привыкли лишь пользоваться плодами чужих рук, умеют убивать и грабить, этому выучил их Чингиз, который был сам, как употребляет это выражение Ветхий Завет, «*сильный ловец перед Господом*». Он внушил им эту мысль, что они своей силой могут и должны завоевать мир и установить в нем свой порядок.

«И не должны иметь мира ни с каким народом, если прежде не будет им оказано подчинения».

Нынешний правитель Орды Бату-хан приходится внуком знаменитому Чингизу, выше Бату только сам император Моголов, он живет в Каракоруме. Но и власть Бату велика, и велик страх, внушаемый им окружающим. Похоже, что здесь держится все на страхе и подчинении.

Насколько возможно в тех условиях, сам хан живет в полном великолепии, его шатер стоит на широкой площади посреди Орды; туда нас не допустили ни в первый, ни во второй день.

Места же, отведенные для послов иностранных держав, напротив того, самые убогие. Скажу только, что все дни, немногим более недели, которые нам предстояло провести в Орде перед дальнейшим нашим путешествием вглубь империи Моголов, я не видел ночью над собой крыши, мы спали под открытым небом или под повозками, ну а что до пищи, то приходилось довольствоваться по утрам горстью пшена, которое запивали мы местным напитком, они его называют: «*камаз*» или «*кумуз*», — бр-р-р! — отвратительное пойло, от которого, прошу прощения (эти строчки не читайте, синьора!), у вашего слуги произошло в желудке невообразимое, и я вынужден был бегать в степь столь часто, что, призови меня хан для беседы



в эти первые два дня, не знаю, как бы высидел. Лишь вечером давали немного бараньего мяса, да и то без соли. Ну соль-то, слава Богу, нашлась! По соседству с нами в Орде жили еще другие русичи, приехавшие раньше нас. А те, что нас сопровождали, именно ехали к ним с каким-то поручением, через них мы все перезнакомились. Главным у русичей был человек, которого они называли великим князем, именем Ярослав, на вид он был уже немолод, росту среднего, широк в плечах, с худым лицом в черной с проседью бороде и серыми глазами. Вот чудо! Он со мной заговорил по-гречески. Оказывается, бабка его была грекинею. Я-то знал это наречие древних мудрецов с малых лет. Общение с этим человеком оказалось для меня знаменательным. Судьбы наши не на лучшем участке наших жизней складывались одинаково: нам предстоял долгий путь в столицу империи, город с варварским названием, как, впрочем, все здесь: Каракорум!

За время пути он, Ярослав, не раз помогал мне и выручал меня. Повелением Божиим мне, грешному, довелось закрыть ему очи, отправившемуся, не окончив пути, в последнее свое странствие. Амен.

Наконец, явился посланец хана. Он сразу же попросил денег. Я дал ему немного из того, что у нас оставалось. Ах, какие это попрошайки, если б вы только знали, синьор! Они клячат хлеба и вина и денег, в также всего, что видят на вас: ремешки, кошельки, перчатки! Приходилось иным давать, чтобы избежать неприятностей. Впрочем, народ сей не отличается благодарностью.

Ярослав наскоро наставлял меня. Он сказал мне вещь, столь же важную, сколь нелепую до крайности. Под страхом смерти оказывается, нельзя было ступать на порог ханского шатра! Нарушившего эту дикую заповедь, как дико и нелепо все тут, ожидала немедленная и жестокая расправа, увы, в жестокости этих людей у меня был впоследствии случай убедиться воочию.

Наконец настал день, когда нас привели к очень красивому шатру из белой льняной ткани. Шатер был весьма просторен, в нем легко помещался трон и двор хана. И вот горький ваш слуга, синьора, задирая с великим тщанием и как можно выше сапог над злополучным порогом, употребя в ту минуту все силы, душевные и телесные, на то, чтобы не споткнуться, ступил в шатер и левое колено трижды пре-



клонил, как того требовал обычай, перед ханом под насмешливыми и настороженными взглядами варваров.

Первая наша беседа была короткой. Бату принял меня милостиво. В противоположность сильному страху, который он внушает даже людям из его окружения, он в обращении прост и немногословен, в нем не чувствуется ни капли чванства. Несомненно, он проницателен. Говорят, что он очень жесток в бою.

Он спросил меня, зачем я послан Папой в Каракорум. Я ответил намеренно многословно и довольно туманно, подпустив длинную тираду о величии и славе императора Моголов, о том, что весь мир удивляется и трепещет из-за силы и побед неисчислимых войск хана над народами.

Он слушал, благосклонно прикрыв очи. Намек на внушаемый им страх, видимо, польстил этому человеку, остающемуся в душе варваром. Он переспросил, каково отношение к его победам? Я отвечал, что, как к замыслению божию, пути которого неисповедимы. Кажется, и этот мой ответ принят был милостиво. Он велел мне сесть рядом с собою и сделал какое-то распоряжение. Мне поднесли красивый серебряный сосуд, несомненно, из награбленных трофеев, и наполнили питьем из золотого кубка. Я храбро выпил, не глядя: будь, что будет! Напиток оказался крепким, питье согрело и подкрепило меня, не оказав притом заметного опьяняющего воздействия, отчасти из-за того, что мысли и чувства мои напряжены были в те минуты до предела.

Сам Бату не пил. Вскоре он дал понять, что мое первое представление окончено. Я же благодарил Бога, что дал мне ума сдержаться и не выговорить ему сразу все, о чем наставляли меня дома, о страшном смертном грехе убийства и потоков крови безвинных людей, ведь они убивали, высокочтимый синьор, всех подряд! Не милуя в захватываемых ими местностях ни детей, ни женщин и ни стариков, побивая тех, кого считали бесполезными, иных угоняя в рабство, оставляя позади себя пустыню, *«так словно уже вчера здесь ничего не было!»*

Ну что пользы было бы, братья, в моих словах и неминуемой вслед за тем и бесславной гибели?!

Ах, надобно было видеть эти рожи словно у обитателей иного, не понятного для нас мира, чтобы убедиться сразу и окончательно, что, увы! — здесь не пробиться лучу Истины!



Боже милостивый, куда попал я, бедный?!

И этот темный кочевник на троне, ставший повелителем полумира!

На вторую встречу с Бату я взял папскую грамоту, а также прихватил, по совету Ярослава, меховые шкурки, которые повесил на руку, прикрыв тряпицей. Между первой и второй встречей прошло чуть менее недели. Передо мной в уже знакомый мне белый ханский шатер зашли гурьбой послы русичей вместе с Ярославом и довольно долго там оставались. Неожиданно и бесшумно створы высокого полога распахнулись, и два ханских батыра выволокли одного из русичей; рубаха на нем была разорвана, они вывернули ему руки, крепко скрутив, и, отойдя от шатра недалеко, швырнули несчастного на землю, он при этом застонал и попытался подняться.

Как я позже узнал, этот один из сопровождавших Ярослава людей навлек на себя во время беседы гнев хана, бывшего сегодня и без того в дурном настроении; вид этого человека будто бы показался хану невеселым или недовольным чем-то. Также мне сказали, что получил человек этот только что письмо из Руси от своей дочери, бывшей настоятельницею монастыря в городе с немислимым названьем, которое я не запомнил. И он этим письмом был огорчен и не умел этого скрыть.

Над ним начали издеваться. Его заставляли, страшно вымолвить, отречься от истинной веры и поклониться *кусту*, — ибо эти люди поклоняются всему, что их окружает, солнцу и луне и земле и источникам... Они подносили ему питье, спрашивая и хохоча при этом: «*Пиеш ли черное молоко, наше питье, кобылий кумуз?*» Питье он выпил. Сменить веру, конечно, отказался, ибо это — страшнее смерти.

Я был свидетелем последующей расправы. Один из прислужников хана вдруг дико гикнув, начал бить несчастного изо всей силы, лежащего, пяткой в живот против сердца, пока тот не скончался в муках. Истинно эти, с позволения сказать, люди владеют многими способами убивать.

Вскоре вслед за тем вышли из шатра остальные. Они шли с суровыми лицами и, проходя, косясь на убитого товарища, снимали шапки, некоторые крестились.

Больше Ярослава в Орде я не видел. Русичи тотчас по отпущению ханом отъехали. Мы встретились вновь позже, уже на подъезде к столице Моголов.



Позвали затем меня в шатер. Я шел и не знал, истинный крест, выйду ли оттуда живым. В темной глубине шатра хан стоял у своего позолоченного трона, к которому вели три ступени. И, хотя, как уж я сказал, было полутемно, ясно видно было, что он не в себе. Он держал в руке полусмятый пергамент и, как мне войти, под ноги себе швырнул, затем взошел на трон и, обернувшись, глянул на меня и спросил, что это еще за грамота, которую держу в руке? Я отвечал. Он недобро усмехнулся и, садясь, еще сказал, что на сегодня с него хватит грамот, а также, что пора и мне ехать в далекую Татарию, как раз поспею к церемонии избрания нового императора. Видно было, однако, что известие это об избрании его самого застало врасплох.

— Эта ведьма, дочь Кашея, старая, сухая коряга Туракина сумела-таки проташить на трон в Каракоруме жирного, глупого барана, своего сынка! Не дождется моего согласия! Пусть отныне знает меня своим врагом! Пусть...

Проклятия, порой почти что жалобные, слетали с его уст. И я тут понял, что часть своей миссии выполнил. Я понял, что сия стоглавая гидра, огнедышащий дракон, имя которому: Орда, — слабеет, пожираемый внутренним огнем! Я начал кое-что понимать во вражде между собой многочисленного потомства, сыновей, племянников и внуков Чингиза.

Едва взглянув на развешанные на моем рукаве блестящие меха, хан заявил, что у его жен достаточно такого барахла и что мне еще пригодится все это, чтобы умиловить злобную ведьму Туракину, чтобы не подслала ко мне убийцу с кинжалом или не подлила яду в питье, — просто так, ради развлечения. По правде говоря, больше всего в его речах доставалось проклятий этой неизвестной мне даме, которая, так я понял, до самого последнего времени сама управляла после смерти мужа в качестве регентши всей обширной империей Моголов.

— Спеши, фрязин! — сказал, отпуская меня. — Зима кончается. Скоро придет весна.

Это было заметно. Повсюду в степи повылезали травы, как изумруд, еще не пропаленные яростным солнцем, птицы пели громче; лишь ночи по-прежнему были холодны.



Что сказать вам, синьора, о тамошних женщинах, которых я видел в Орде, хороши ли они? Помилуй бог, не знаю! Для меня они все были на одно лицо, и дурнушки, и хорошенькие. Я различал лишь молодых и старых. В одежде их есть нечто отдаленно сходное, синьора, с мавританками. Они носят под платьем шальвары, а на голове — убор длиною в локоть из каких-то прутьев, заканчивающийся серебряной или золотой, в зависимости от знатности, палочкой, и все это нашивается на шапочку, а сверху еще накидывают белое покрывало.

Но — в путь, в путь! От Орды в глубь монгольских степей. Мы ехали быстро, а за нами шествовала весна. Земля, которую нам предстояло преодолеть, была обширна и дорога длинна. Проезжали мы и пустыню. Климат здесь резкий, морозы настигали нас и в мае, и часто дул пронизывающий, ничем не сдерживаемый на бескрайней равнине ветер. Пищей нам по-прежнему служило пшено с водой и солью; порой нечего было нам даже пить, кроме растаявшего в котлах снега. Люди русского князя Ярослава, которых мы нагнали недалеко от столицы Моголов, в большом количестве умерли в пустыне.

Недалеко от столицы посреди песков увидели показавшееся нам сперва огромным камнем странных очертаний, — изваяние: серую каменную черепаху, глядящую мордой на запад.

Каракорум, столица моголов, представляет собой город, окруженный глиняной стеной. В стене четверо ворот, у восточных продают пшено, у западных — баранов, у южных — быков и повозки, а у северных продают коней. В городе двенадцать кумирен разных народов, две мусульманские мечети и одна христианская церковь.

Безусловной достопримечательностью является дворец императора. Он не так велик, на семидесяти двух столбах. Трудно сказать, в каком выстроен стиле, скорее всего, смешанном, китайском и греческом. Верх покрыт разноцветной, красной, зеленой и синей черепицей. Устрашением служат изображения дракона на крыше.

Но истинным дивом искусства, разумеется, исполненным не руками людей этой земли, — большинство сооружений выполнено пленными, привезенными сюда мастерами из других стран, — является серебряное дерево перед дворцом. В жизни своей ничего подобного, синьора, я не видел. Ветви, листья и плоды его сделаны искусно



из серебра, на верху же дерева — ангел с серебряной трубой, а у подножия — четыре серебряных льва с разверстой пастью! Дерево обвили четыре серебряные змеи. Описать сие произведение невозможно. Ангел трубит в трубу, и тотчас из пасти львов исторгаются белый кумыс и рисовое пиво, вино, мед.

Как мне после объяснили, сие чудо было изобретено пленным парижским мастером Вильгельмом, который жил при дворе императора в Каракоруме.

Боже милостивый, куда попал я, бедный! Они, хозяева этой страны, поклоняются козлу! Он стоит здесь же во дворце! И войлочные болваны и тут же ангел, созывающий на пьяный ханский пир с бараньим мясом и жареными карпами, без соли и хлеба! Смешение вер и обычаев, бедлам! Бедлам! Молитвы не шли мне на ум!

Роскошь и обилие всего, столпотворение людей разных вер и народов, собравшихся на церемонию избрания нового императора, обилие золота и серебра, драгоценных одежд, сияние камней, обильные возлияния, столпотворение вавилонское и — хаос! Хаос!

Но хаосом этим управляет незаметно и по-своему внимательно чья-то жестокая и организованная воля, невидимая рука! О, я видел эту руку! Мне не надо закрывать глаза, чтобы увидеть ее перед собою, сходящаяся, точно как у мумии, коричневая ладонь. В ней болтается темная жидкость... яд!

Да, правит этим хаосом, не нарушая его, а лишь строя свои, подчас коварные, планы и зорко высматривая очередную жертву, — всеми покоренными народами и их правителями, ремесленниками и землепашцами и пленным мастером Вильгельмом и полумиром! — не новоиспеченный император Гуюк, который, кажется, в самом деле глуп, названный Бату жирным бараном, а его мать, великая ханша Туракина.

Я был представлен ей очень скоро по приезде. В противоположность приему в ставке Бату, великая ханша внимательно выслушала меня и долго беседовала со мной. При этом я не мог избавиться от ощущения, пренеприятного, что неподвижный и бесстрастный, без всякого выражения, взгляд ее маленьких, глубоко сидящих, коричневых глаз из-под морщинистых век, вытягивает из меня — меня самого, мою сущность, мои мысли и еще нечто, самому мне неведомое. Она внимательно прочла грамоту Папы Иннокентия; меховые



шкурки взяла и долго разглядывала, разминая их пальцами, даже понюхала; и расспрашивала меня обо всем: долго ли мы ехали и как трудно показалась мне дорога, и о моей стране, и о Папе, о моей семье, она спросила, жива ли моя матушка; но более всего интересовало, кажется, ее всё, связанное с моим пребыванием в Орде. Ее интересовал ее могущественный племянник Бату-хан. Я же употребил все мои бедные дипломатические хитрости на то, чтобы наиболее возможным образом удовлетворить ее любопытство и в то же время не рассердить эту даму. Не знаю, право, насколько мне это удалось; напротив, у меня осталось полное чувство неопределенности, когда эта фурия бесстрастно кивнула, отпуская меня.

После чего она обратилась к моему дорожному спутнику, русско-му Ярославу. Со смехом ему заметила, что наконец-то она удостоилась чести посещения подданных из самых дальних улусов, и из полуденной страны, и из Руси. Перебирая дары и всё посмеиваясь, вдруг спросила: отчего он не приехал вместе со своим сыном?

Она назвала имя: Александр.

При этом имени, уже слышанном мною, спутник мой, и без того сильно ослабевший и еле державшийся на ногах, побелел и стал, как мертвец. Однако, собрав силы, отвечал тихим голосом, запинаясь и, казалось, что с трудом выговаривая слова, что-де страшился он оставить Русь вовсе без правления, без защитника и от северных соседей, и что сыновья его Александр и Андрей со всей покорностью кланяются ханше и ее сыну и челом бьют.

— Мы много слышали, — так сказала она, всё выслушав, — о достоинствах молодого русского эмира, о его подвигах и победах, а также о его других преимуществах и о его красоте. Нам очень жаль, что до сих пор не имели мы случая лицезреть и убедиться в том воочью. Мы не оставляем надежды увидеть при нашем дворе твоего сына, князь Ярослав.

Затем повелительница нас отпустила, и я начал утешать своего бедного друга, который совсем пал духом. Наконец молвил, махнув рукой, с надеждой: «Авось позабудет! Шуму, делов, народу много!» Но она ничего не забыла.

А шуму и людей в самом деле было много. Каждый день празднества, возлияния. Мы пробыли в столице моголов без малого четыре



недели, и за все это время великая ханша не удостоивала нас своей беседой, кроме последнего дня прощания, но я как бы спиной своею ощущал постоянно на себе и на всем ее неподвижный, бесстрастный, пристальный, немигающий взгляд.

Что касается самого великого Гуюк-хана и всей церемонии, то — о! это была все четыре недели одна большая попойка!

Мне и русскому Ярославу оставляли всегда за оградой лучшие места вместе с послом калифа багдадского и вождями китаев. Я же бывал и внутри ограды, деревянной, огромной по площади, разри-сованной различными изображениями. Она окружала огромный шатер из белой ткани, в котором, посередине его, стоял трон великого хана. Чтобы вам понятнее стало, синьор, каких размеров был этот шатер, скажу только, что в нем могло бы разместиться до двух тысяч человек!

В шатре могли находиться только приближенные хана. В первый день празднования все они были в белом. И великое множество было на них золотых украшений. Сверкала сбруя коней, на кото-рых въезжали на торжественное избрание вожди моголов. Среди них не было Багу-хана. Сильнейшего не было среди них. По правде говоря, мне и трудно было бы его представить здесь, среди разгу-ла и разноцветного тряпья. Так все разнилось, — там, в ставке во-еначальников, — и здесь, в столице и сердце этой страны. На вто-рой день переоделись все в пурпур, к шатру прибыл Гуюк и взошел на трон. Кстати, изумительное произведение искусства, этот трон вырезан весь из слоновой кости и украшен богато золотом и са-моцветами; говорили, что изготовил его пленный русский мастер, умелец Косьма.

На третий день все были в голубом. А потом разоделся в разные, самые дорогие одежды и под балдахинами ярко-красочной толпой отправились все к другому прекрасному месту, у ручья между двух гор, там тоже был шатер, поставленный на столбах, крытых золотыми листками, прибитыми золочеными гвоздиками. Пришли послы в шел-ковых и бархатных, шитых золотом одеждах. Удивительно было ви-деть обилие подносимых хану даров. Было пять сот повозок, полные золотом, серебром, шелковыми платьями. Рослые юноши-невольники и прекрасные девушки-невольницы несли блюда с плодами и фрук-тами, пловом и диковинными сладостями. Рисовая водка, пиво, вино



и кумыс — всё лилось рекой. Эти варвары были к тому же ужасными пьяницами. Спросили и нас, не желаем ли мы преподнести дары для хана, однако у нас уже совсем ничего не осталось.

Затем был недолгий, но ужасный град, прервавший празднество и показавшийся некоторым дурным предзнаменованием.

Мельком в один из дней мне удалось увидеть жену императора Гуюка, мать его сыновей. Имя ее, скорее мусульманское, Огюль Гамиш, красиво звучит, не правда ли, синьора? Она молода. По манере одеваться восточных женщин, на ней было чрезвычайно много драгоценных и прекрасно выполненных украшений. Лица не закрывала она, но мне не удалось как следует рассмотреть ее: появившись вечером, при неверном свете факелов, она почти тотчас же исчезла. Глаз она не подымала. Но я заметил, что, кажется, она не в ладах со свекровью. Та что-то сказала молодой женщине, и она тотчас ушла.

Сим ужасным градом закончились празднества; послы начали разезжаться; и эта ужасная фурия, Туракина, вновь, прежде, чем отпустить восвояси, призвала к себе меня и русского Ярослава. Здесь я приступаю к самому тяжелому месту моего повествования.

Кроме нас, на том последнем приеме были еще другие, я же замешкался и пришел, когда она уже разговаривала с Ярославом. Сразу отметил я, что ханша не в духе, узкие и без того губы ее были плотно сжаты, лицо более обычного напоминало маску; мой же товарищ, немного успокоившийся за эту неделю празднеств, снова, я видел, едва держался на ногах, бедный. Я поклонился низко, как того требовал этикет. Тут она, похоже, сменила гнев на милость и даже слегка улыбнулась, давая какое-то приказание слуге. Тот принес маленький резной кубок. Ханша протянула сомкнутую ковшом, коричневую ладонь, и слуга налил ей из кубка в ладонь темную жидкость. В зале воцарилось убийственное молчание. Ханша протянула ладонь с питьем русскому. Это было, вообще говоря, милостью великой — разрешение испить из ханской ладони... Случайно боковым зрением в ту минуту я увидел лицо стоявшего со мной рядом посла китаев и — поразился: то была желто-белая маска, застывшая маска ужаса.



Русский умер через семь дней, мы были уже по дороге домой, в монгольской степи. Лето уже вступило в свои права, рыжее солнце палило жаростно и нещадно, а сдувавший с растрескавшейся, твердой земли пыль и песок злой, колющий ветер нисколько не облегчал жары. Нам вслед внимательно и бесстрастно глядела каменная черепаха со взглядом ханши Туракины.

Он умер на моих руках. Как бы я хотел, чтобы это осталось диким и ужасным сном, призрачным видением пустыни. Ведь всё самое трудное было уже позади!

Русский совсем ослабел, часто впадал в беспамятство, а, приходя в себя, плакал. Перед смертью на теле у него выступили темные пятна — признак отравления. Мы были бессильны перед страшной болезнью, одни посреди пустыни. Вдруг в беспамятстве он начал обращаться ко мне, как к сыну, которого этому бедняку уже, увы, не суждено было увидеть, как и родины его, о которой так мечтал и всечасно туда стремился! Он называл меня Александром. Я, разумеется, не противоречил ему, едва удерживаясь от рыданий. О, я уже слышал об этом имени и о его славных подвигах! Не у себя на родине, там этого имени не знают. Мне рассказывали о его славных победах над немцами и шведами, а также об уме и красоте этого молодого князя — в Киеве, у тех милых людей, ставших нашими спасителями и друзьями. Я не противоречил умирающему, моля бога о том, чтобы не разуверил страдальца в его последней ошибке, и потихоньку начал читать над ним псалмы. Коршуны и еще какие-то огромные птицы, распластывая в голубом небе черные крылья, кружились над нами. Вокруг повозки с умирающим стояли люди Ярослава, немногие, те, кто остались в живых, плача, опустив головы. Воистину, бесконечно печальна *смерть при дороге...*

Когда же, похоронив страдальца, мы продолжили свой скорбный путь, я думал с грустием о многом, о жизни и о смерти, о Боге. Думал и о том русском Александре, именем которого называл меня умирающий. Увижу ли я его когда-нибудь? Каков он? Говорили, что он молод, еще моложе меня...»



- **И** сейчас не слышишь?!
— Слышу, княже... Слышу!!
— Топот коней в ночной тишине!
— Топот коней в ночной тишине...
— Едут! Я же говорил, что он приедет!
— Да кто?
— Братка мой, Андрейка. А, может, и сынок Василий с ним!.. Айда!

В самом деле, у низеньких, но крепких ворот, ведущих в рубленую крепостцу, когда они подошли, царили оживленные хлопоты. В безлунной ночи ничего не видно было, но вот вышел из ворот со свечой, видимо, ожидавший полуночных гостей — сам хозяин в богатом платье и с расчесанной бородой; за ним малый нес хлеб-соль, а двое ловких холопов уже помогали слезть с коня пожилому, грузноватому седоку; другой же путник, половчее и помоложе, наклонясь, подвизывал сбрую. Лиц их было не видать, голоса плохо слышно, и непонятно, что за ночные гости на городецкое подворье?

Ан видно, не всех ждали; боярин Василий подходит к третьему седоку, низенькому в мохнатой шапке... То ли татарин? Вот бежит со всех ног, напяливая армяк на ходу, разбуженный баскак Али, о чем-то быстро начинают они лопотать с приехавшим. И с честью всех ведут на двор, а за ними за всеми, чуть поодаль, замыкая небольшое шествие, следуют князь и монах.

Как всякая в те времена на Руси рубленая крепостца Городец стоял на небольшом холме и обнесен был частоколом из бревен и валом; великая река несла чуть поодаль свои воды величаво и спокойно; а между крепостью и валом, у его подножия, невидимое от реки, лежало тихое озерко, в ту осеннюю пору сплошь забросанное желтыми, зелеными и красными листьями, заросшее болотной травой. Осеннее тепло и солнце в тот год все медлили уступить место первым морозам и непогодам, словно не хотя с кем-то навсегда рас-



статься. После прошедших, холодных, с ветром, ливней вновь наступили сушь и тепло; в звездные ночи земля замирала, готовая на зиму вот-вот оцепенеть, а ранним утром вновь дышала и отогревалась, и казалось тогда, что небывалым образом вернулось и не собирается уходить благословенное северное лето. Даже невесть откуда взявшиеся показывались большие желтые почки на деревьях, готовые раскрыться... И на дорогу под ноги идущим выпрыгивали из травы коричневые кузнечики, и большие и ленивые медленно выползали красными капельками божии коровки.

Рано утром, когда после вчерашнего переполюха в боярском доме все еще спали, хозяева и припозднившиеся гости, а только что вставшее солнце золотило край неба, недалеко от того озера на земле, на выгоревшей за лето траве, лежал человек, раскинув руки и глядя в небо. Словно готовясь перейти в эти две стихии, приникал к земле, и взор погружал в бездонную голубизну, проникаясь великим покоем.

Но вот мир с его делами и страстями напомнил о себе в этот ранний час, и мятущаяся всю жизнь душа привычно тотчас отозвалась. Он приподнялся на локте и обернулся.

Неслышно подойдя, в нескольких шагах от него стояла Прекраса и глядела прямо в лицо ему, как глядят на икону со слезами и обожанием, желая передать неведомому, чудному свою любовь и свои страдания, и память унести с собой. Убрана она была в кружева и ленты, концы шелкового платка, покрывавшего волосы, закинута были на спину; так, словно собиралась сейчас идти в посадскую церковь, в новых сапожках и бархатной, расшитой бисером и золотой ниткой душегрее. Он, вскочив тотчас на ноги, глядел на нее. Поклонилась и тихо молвила:

— Благослови, батюшка князь Александр Ярославич, — и, помолчав, вздохнув, — замуж иду. Отдает меня отец. Вчерась видал, гости к нам заехали из Нижнего...

— («Далеко ли до Нижнего?» — эхом отозвалось).

Он затуманился было, потом улыбнулся. У реки внизу перевозчик Левх возился у своей лодчонки, чинил что-то.

— Да будет с тобой, милая, — откашлявшись, сказал, — благословение Господне, жить тебе в любви с мужем и согласии, дом твой пусть будет сытен и тепел, и дети здоровы и веселы и не слыхивали чтоб, как воет стрела татарская. Да живите... долго...



На колени встала и припала к его руке, он же, молвив: «Ну, ну, милая», погладил ее по волосам. Она убежала.

А на том месте, где только что стояла, у самого у озера, вдруг незапно вырос огромный, мшистый, увалистый камень, и озеро само разлилось, расширилось и засинелось, и невесть откуда пришла, как всегда приходила к нему, в простеньком платье и с полураспущенной косой, в синих бусах, — «Как очи твои», — говорила ему.

— Что нынче грустен, князь?

(Не отвечай. Я знаю. Но не может быть грусти в любимых очах, когда вечер такой и тишина, так ласково и хорошо вокруг, зелена трава и цветы, птицы поют, вода в том озере глубоком едва колышется, и синь камень, к которому к тебе прихожу...)

(Бедное, бедное дитя. Она любит меня, как сказать ей?)

(Не говори ничего. Я знаю имя этой грусти. Ей имя разлука. Я прочла это в твоих очах и еще раньше в твоём сердце. Пока не говори. Дай мне еще некоторое время жить...)

(Бедная, бедная. Она беспечна, весела, не ведаёт ничего. Она живет этим лесом и травой и цветами и болотцами и... мною. Что с ней будет?)

(Какое имя разлуке? В чьем образе явится? Кто будет моим злодеем? Татарский ли лохматый гонец, надменный швед, коварный римлянин? Или та тихая, белая, которую называют люди матерью твоих сыновей? Не всё ли равно?)

(Я слышу всечасно время, звенящее за моей спиной! Чуть зазеваешься, заспишься, и грянет беда неминуемая неведомо откуда, весь мир полон ею! Не ведаёт дева моя лесная, как беспощадна жизнь, приказы ее неотвратимы!)

(Когда же?)

(Завтра чуть свет...)

(Ты мне этого не скажешь. Не сможешь. А я все уже знаю, я догадалась. И уйду первой. Я слабее тебя и не смогу видеть, как уходишь ты. Всегда легче уйти первой. Может немного показаться, что сама оставляешь, а не тебя оставляют. Я всегда знала, что так будет и не может быть иначе; не знала только дня нашего расставания. У тебя есть еще сын... она, братья; слава, война и твои новгородцы; а у меня ничего, кроме тебя; и еще вот этот синь камень, видевший наши с тобой встречи...)



И ушла — в никуда, как всегда приходила и уходила. Больше не видел ее, да и, кажись, не был в тех местах и у того синя камня... Разве мимо раз проскакал... А сейчас вот все вспомнилось да так ясно! Уж не болен ли он вправду? Но отчего тогда не чувствует ничего? Ни боли али перемены какой в хождении, седании, едении и во всем обычае, не то, что давеча было в Орде? Только странное что-то с ним. И непри-
вычная тоска, как перед расставанием. С кем? С чем?

А вечером в полутемной, хотя и при огнях, горевших по стенам в светцах, большой избе боярина Василия за длинным столом сидели мужчины, во главе стола сам хозяин, по правую руку — гость его почетный, благоверный великий князь володимерский и всяя Руси Александр Ярославич прозвисьчем Невский, рядом с ним воевода Федор Кривой, а по левую руку боярина Василия — ночной его гость, нижегородский посадский человек Путятя и его сын Онфим, по другую же сторону стола, напротив хозяина, сидел третий, нежданный вчерашний гость, присланный зачем-то из Орды ханом Берке, его эти двое нижегородские нагнали по дороге и взяли в попутчики, а по правую руку от гонца сидел татарский баскак Али.

Нижегородец Онфим, жених Прекрасы, был молодой мужчина лет тридцати или около того, среднего роста, не полон, но крепок и сноровист, сразу видно было, что ловкий мужичок, с круглым приятным лицом и небольшими голубыми глазами, глядевшими уверенно-спокойно и чуть насмешливо, по всему чувствовалось, что это был новый тип русского человека, народившегося под игом, но не раба, а, напротив, сметливого и ловкого, не растрчивающего задарма свою силу, но и не опасующегося понапрасну невесть какой беды, а налаживающегося, чтобы самому быть живу и чтобы и семья, и земля была жива, и еще чувствовалось, что к плечу его, — так, должно быть, подумалось и выходявшей к гостям с подносом, уставленным питиями и закусками, девушке, — хорошо и надежно было приинкнуть, им заслониться...

Он, Онфим, с почтением выслушивал, что говорили старшие, пил в меру и нисколько не хмелел, не краснел лицом и не менялся в речах и повадке. Прекраса выходила к гостям со строгим лицом, не подымая очей. Одета она была в шелковую кофту с широкими рукавами, подхваченными у запястий вошедшими в моду еще только



недавно в вольной, веселой, сказочной Руси, цветными стеклянными браслетками, еще были на ней три нитки бус, одна жемчюга речного матового, мелкого, вторая из ракушек речных, третья же из яркого-лубой бирюзы, подарок к свадьбе от двух татарских жен, молодой и старой.

Но сегодня — не свадьба, а только сговор. На столе — запеченный поросенок, украшенный зеленью, птица лесная и рыба речная, крупные карпы, пироги, мед в расписной посуде. Прекраса обносила гостей чаркою, ей помогали девка-холопка и старая жена татарина Али. Этот один из всех за столом пьян до ушей, а туда же командует. Крикнул что-то пронзительно жене, татарка ушла и привела Камаль, укутанную от пят до бровей в кисейное покрывало, и та стала у дверей изваянием. Снова повелительно-гортанно прокричал на своем наречии Али, но она не шелохнулась. Сердился, кулаком об стол стучал, молодая татарка не двигалась, точно куколка бабочки в своей матово мерцающей оболочке, только торчал вверху конец шапочки, украшенной павлиньим пером. Тяжело встал со своего места пожилой татарин, голова лысая, только клок седых волос на макушке торчит, бренча привешенными на парадном платье бляхами и ожерельем; вдруг взялся в его руках рог заскорузлый, кривой, полный вином.

— Хан Берке, — залопотал, кланяясь, обращаясь к русскому князю, — помнит Александра и ему привет шлет и жалует кубком вина и своей ханской особой милостью.

Передал тот рог старой татарке, а она, подняв над головой, понесла со всей осторожностью, чтобы не разлить, через весь стол к Александру. Тот, помедлив, тоже встал; воевода же Федор на ногу ему под столом нажал: не пей, мол! Побледнела Прекраса и чуть не выронила поднос с закусками. В дверях встал маленький монашек, словно желая что-то сказать.

Всплеск! — взметнулось пламя в светцах и погасло, закружились серебряные струи, зазвенел в руках Камаль маленький бубен, бабочка раскрылась, к ней обратились все очи, поневоле привлеченные юной красотой и экзотическим костюмом татарки, она была в шелковых шальварах, с обнаженных плеч на голый живот падали звеневшие при каждом движении украшения, длинное покрывало из белой кисеи свешивалось с шапочки, в тесноте никак им не разминуться, неожиданный взмах руки, и рог с вином соскользнул с вытянутых



ладоней, упал, разлился... А она, не глядя, танцевала, помахивая бубном и сильно раскачиваясь на месте, как кобра перед прыжком, и что-то маленькое, тонкое, острое, холодно сверкало, зажатое в другой ее руке.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ОРДА

Другого такого нет!

Он меня встретил в степи. Посреди Орды сам-третей ходил с двумя анчутками, те до ушей в железах, а этот нараспашку и без шапки, а уже к зиме холод был. Ветер злой вовсю гулял по степи. Мы токмо подъезжали к Орде, он вышел нам навстречу. Остановились мы зачем-то, я еще, помню, наклонился, подвывая подпрыгу, замешкался; наши меня окликнули, я оглянулся и в двух перелетах стрелы его увидал.

Я его узнал сразу. Хотя не видел никогда. Бывает так, а, Афанасий? Сразу узнал. А он на меня воззрился и глаз не спускает. Вижу я: жесткий мужик. И, как бы сказать, не такой, как мы все. Другой. Из-за чего, не пойму. А они все другие, не такие, как мы, люди. Не понимаешь? И мне чудно в тот раз было, братишка. Знаю, что передо мной идолище поганое, враг лютый, лютее нету! Идолище, кощей, чурка, змей горыныч, тот, чье имя леденело на устах стольких умирающих без покаяния на снегу, винный в гибели сел и городов бещисла, погорелые останки которых видели мы в дороге, тот, на ком кровь родичей моих, стрья моего Юрия резанского и его сына и юной Евпраксии и новорожденного младенца, умерших нужною смертью!.. А я не токмо что не могу, безоружный, оружие-то наше в тот раз на возу складено было, не ехать же в кольчугах, один посреди вражин, броситься на него и задавить руками, как гадину! Но стою, сыне, как оцепенелый и гляжу и вижу одно: старый татарин и без шапки, ветер ерошит полуседые волосья. И в глазах у него уже, — ты это можешь понять? — будто он... жалеет меня!



И аж в сердце холод, и неминуче, что уже содеяно зло и еще содеяно будет. А он — словно *бич божий!* Бич божий, а? Ты это понимаешь, Афанасий?

Поворотился он тогда прочь идти, но помешкал, глянул еще и подбежавшему в мехах и побрякушках — молвил тако:

«Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему».

Он тогда сам послал за мной, Батый, зовя в Орду. Но сперва, еще до него, эта ведьма гонца засылала, Туракина. Как умереть Ярославу, домой не вернувшись, при дороге, так щас ко мне гонца, ехать в Каракорум на поклон Гуюк-хану. Щас как же, думаю. Разлетелися. И гонца поим допьяну, всяко улещиваем, с почестями великими и с дарами богатыми ханше и хану назад отправляем. Дескать, ну никак щас не можем, то да се и княгиня на сносях, вот-вот родит... Время прошло, она, вишь ты, опять гонца. И мы все тоже: *идяху да не идоша...*

Ну а тут вести пришли из далекого Каракорума, что сын ее, великий хан Гуюк, помре. На все воля божия. А и ей, ведьме, отлилось за все ее злодеяния. За наши слезыньки. Хан-то Гуюк совсем недолго правил. После смерти сына она, говорили, так не оправилась. Хотя еще в силе была. Владычествовала вместе с невесткой своей, вдовой усопшего, великой ханшей Огюль Гамиш. Но того яду в ней, кажись, больше не было.

Тут и от Батья гонец: «Покорил, дескать, я многия языки, *«ты ли един не покоришься державе моей?!»*

Ну, тут я Андрейке и говорю: что, дескать, брате, так не отстанут чурки, надо ехать. По смерти Ярослава принимать ярлык от ханов на правление в земле отчей. Такой порядок теперь в Руси, неча делать. А и самое теперь, может, для этого время. Ну ладно Батый. А в империи какое теперь правление, сам знаешь, одно слово: две бабы! Аль не сладим? Поехали, говорю, братка! Бог, он правду видит, авось, нас не обидит!

И к осени тронулись в путь. Собирались неспешно. Платья взяли зимнего да летнего да еды всяческой, мяса, рыбы сушеной и хлебушка вдоволь, муки, а также сухариков, пряников, да солений всяческих, луку и чеснока от хворобы, ну и меду и вина жбаны на отдельном возу. Само собою, дары во множестве для ханш и их сановников, ну и для голытьбы татарской тоже не забыли прихватить. Всего набрали: монеты и дина-



ры персидские, серебра в гривнах, колец и украшений, ткани аксамиту узорчатой с шитыми золотом прозвисями хана, да мехов всяческих...

И простился я, в дальнюю путь-дорогу собираючись, с теми, кого любил, и кто любили меня. А любили меня в ту пору, Афанасий, пуще других, две... женщины.

Сперва-то не хотел я, чтоб Андрейка со мной ехал, с двумя татарскими бабами я как-нибудь один управлюсь, а, Афанасий?! — захотал, закашлялся надолго. — И уж дорога та была длинна, казалось, как жизнь. Дарует ли мне милость Господь живым домой вернуться, не помру ли, как отец, при той дороге? Нельзя было Русь оставлять без правления в смутное время. Но он, Андрей, никак не хотел без меня оставаться, ни чтобы я оставался без него...

Она меня собрала. Глядела, как от сердца отрывала.

Но надо было торопиться.

Ах, где ж ты, Русь, светло светлая и украсно украшенная?! (12). Стынь, пустоши. Заехали в Рязань, где враны летали, и ветер гулял над рассеянными по земле костями родичей моих. Поклонились этим местам, сотворили молитвы. А и храмов уже нет, одни погорелые столбы повсюду. Страшные зрелища. Много такого пришлось перевидать за дорогу, что поневоле сердца наши покрылись словно броней или двойной коростой. А иначе было нам не выжить. А мы выжили, не поломались. Десять уже лет было как Руси быть под Ордой. А конца не видно, вот что главное. Не видно, Афанасий, конца разорениям от татаровьев. Сказано бо:

*Зверье едше насыщаются, мы же, человеки, насытиться не можем!**

Да, почитай, полжизни моей отняла, Афанасий, эта дорога. Надвое разделила жизнь мою. А до того по молодости носился я, мотался, вертелся, как ветряк, повсюду успевал, и всё, веришь, ловко выходило у меня, меч мой вылетал легко из ножен, как сокол из рукавицы сокольника. Радовался, горевал, любил, ненавидел, плакал и смеялся, всё разом, и не было у меня времени остановиться да назад оглянуться, но я слышал всечасно время, звенящее, гремящее за моей спиной!

И вот она легла передо мною на полмира мертвой белизной. Я молод был. Думал: «Нет нужды, выберусь!»



Как отъехали мы от Орды, там снова пустыня. Степь. И в июне лежали в тот год снега. Ближе к Каракоруму — пески, жарко стало. Подивились мы на идола поганого посреди песков, каменную черепаху, глядела туда, откуда мы пришли. И в самом городе большим, столице ихней, немало дивились, как чудно всё, не по-нашему. На дворцы дивились ихние и на дома и разных верований молельни. Сейчас уже всего не упомяну. А вот во дворе ханского дома есть еще дерево с серебряными листочками, перед ним львы с разинутой пастью, из которых исторгается хмельное зелье.

Разместили нас на слободке с уважением. А на другой день прямо с утра повели меня к молодой ханше, в ее покои. Первое, чему удивился, была великая тишь в тех покоях. Ковры кругом искуснейшей работы, на полу и по стенам, всюду. Шагов ничьих не слышно. Со стен свешиваются шелковые ткани, и на окнах занавеси цветные, оттого полутемно. И в нос сразу шибает пряный, сладкий запах, дурман. В углу курились благовония. Цветы кругом. Пока озирался я в великом изумлении, кто-то, чья-то словно тень, шевельнулся в полумраке, и тотчас исчез. А потом вошла она...

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.

Бог во мира не аггелом любит но человеком.

В путь! В путь! По первому снежку, по легкому морозцу, розово-румяным утрецом, боярин Василий провожал своих вчерашних недолгих гостей. Солнце еще не встало, медлило и позевывало, обленившись к зиме. И было светло от ярко-белой, матово посвечивающей, легшей на землю пелены, на которую сверху, не спеша, падали, в безветрии кружась, белые мушки.

Во утро, встав чуть свет, вышла на крыльцо Прекраса проводить суженого. Быть ей вскорости нижегородской купеческой богатой жонкой. Путята и сын его Онфим уже сидели на конях. Грузновато, но ловко сидел на небольшой лошадке и приехавший с ними татарин, его провожал баскак Али, а у того татарина поперек седла перекинуто была еще странная поклажа, то ли мешок, можно даже было подумать, разве токмо спьяну, что то был небольшой и легковесный, весь увязанный человек, неизвестно, живой али нет...



Спешили пораньше выехать, пока дорогу не развезло. Прекраса ближе подошла, встала около стремени. Посадский сын Онфим наклонился, еле слышно шепнул для нее для одной заместо клятвы в любви и верности, таковы слова:

— Будь покойна, боярышня, все в точности исполню, как ты сказала. А как приеду в Нижний, то, матушки не обняв и коня не распрягая, с дороги водицы не испив, пошлю тот же час летом лететь верного человека во Владимир к князю Андрею Ярославичу с известием о брате его. А уж к Николину дню приеду за тобой, ненаглядная! Прощай же, милая, здорова будь!

Низко ей поклонился, глянул еще на прощанье острым, веселым оком, тронул поводья и пустился догонять уже отъехавших всадников, и вскоре хорошо кормленные кони, легко набирая ход, отнесли их в недостижимую для глаза даль.

* * *

Вто утро он проснулся в слезах. Во сне плакал навзрыд, как только бывало давным давно, в беспечном детстве. Во сне к нему приходила она. И, как при жизни своей, преданна была ему и добра, ласкова и любила его пуще всего, но изнутри словно полна темной печалью и, хоть близко, но странно и невозвратно отдалена, отделена навсегда была от него. Он и во сне знал, что она умерла, и плакал от непоправимости происшедшего. Она умерла давно, как умерли все, любившие его. Он одинок.

Еще подумал: ведь она приходила к нему не в своем, а в каком-то незнакомом ему образе... В чужом облике и с чужим лицом, но он узнал ее; знакомые ему любовь и тепло исходили от нее. Но... *кто* — она? — еще подумал со смущением. И не знал. Не ответил себе, кто из нежно и преданно любивших его и умерших женщин, которая из них приходила этой ночью, получив краткий отпуск из небытия, чтобы утешить его, и по ком плакал так горько и безутешно?! Жена? Н-нет... кажись, не она. Не та ли, что у синя камня?.. Или...

— Эй, Афанасий! Слышь? Ты молодой. Ты всё запомни. Может, расскажешь когда кому...



— Запомню, Александр.

— И всё, что говорил тебе. А никто больше тебе такого не расскажет! И место это запомни тоже... Берег, сосны... Весной тут хорошо, наверно!

Голос Александра оборвался и отчего-то странно тоскливо сделалось ему при упоминании о весне, и молчание в воздухе повисло. Монашек вздрогнул. Незримый черный ангел прошел, возвещая безмолвно то, чему они, будучи живыми, не смогли бы поверить: что ни один из них не доживет до грезящейся далеко за идущей зимой — той весны.

— Меня запомни, однако. Какой я есмь человек перед богом. *Бог бо мира не аггелом любит, но человеком* (15). А люди — не то, им подавай ангелов. А когда в этот раз болел я в Орде, без памяти лежал, всё мне чудилось: кому это поклоняются они истово, что за витязь такой али святой на коне и с мечом и в алом плаще-корзно? А то был я. А я о ту пору подыхал в Орде. И коня того уже нету подо мной. Умер конь мой на той дороге. Она, дорога эта, без конца и края, слопала и отца моего, и меня самого еле отпустила, я после, возвратившись, дуже болел, чуть не помер. А конь, ах, Афанасий, что это был за конь. А из людей меня никто так не любил, как эта лошадка, вот-те крест святой! Из скольких сражений выносил, из скольких бед спасал меня! И похоронил я его при дороге, как друга своего.

Александр помолчал, утер слезу, подумал: «Слаб я, однако, стал...», и долго еще глядел на реку, на текущую воду, потом продолжал, и голос его сделался глуше.

— Я подумал еще тогда чудное, когда ехали с Андрейкой по той дороге обратно: что, может, вся жизнь такая моя теперь будет: белая, стылая гладь да серое небушко. И я постиг тогда свой конец. Ты это можешь понять? Словно далекий колокол мне одному прозвучал. И между этим расслышанным мною звоном, моим концом, и тогдашним днем, так я подумал, — не будет ничего окромя цепочки одинаких дней и этой дороги. Глаза каменной черепахи глядели мне в спину. А еще, — помолчав, молвил тише, — там другие были глаза. Два огромных, черных, над белой кисеей. Здесь есть, — он закашлялся, сбился, словно вспомнив что-то или пытаясь удержать неосторожное слово, готовое сорваться с губ.

— А мы тогда с Андрейкой, — продолжал, повеселев, — всю обратную дорогу, обратно-то способнее ехать было, торопились по зимне-



му насту, пока не развезло, а мы бошки себе обломали, бились над загадкой, которую на прощанье нам загадали в Каракоруме те две фурии, молодая и старая, уж не знаю, которая из них придумала так мудрено? Али за тем, чтоб рассорить нас с братом? А отпустили они нас с миром...

* * *

— Ну? Ты подумала? Каково же будет твое решение, правительница? — голос Туракины насмешливо звучал. — Кому из русских братьев намерена ты даровать ханскую милость, ярлык на великое княжение владимирское? Кто более достоин?

— Александр.

— Так. Александр. Конечно, Александр. О великая мать песков! Ничтожнейшая из твоих дочерей презрела бы всё, что говорят люди об ее мудрости, и на старости лет распустила бы седые космы и покрыла себя позором, если бы хоть на миг сомневалась, что эта женщина так ответит! Александр! Вот, что могут сделать с женщиной за несколько дней, — и несколько ночей! — широкая грудь и сильные руки, светлые волосы и синие глаза! Молчи. Я не слепая. Я видела, как ты глядела на него. Ну что ж. Это понятно. Он красив. Хотя тебе это может показаться невероятным, но я и сама была когда-то женщиной и знала толк в мужской красоте. Ведь он прекрасен лицом и телом, русский батыр? Как по-твоему?

— Не знаю. Внешность витязя не привлекла моего внимания. Для меня все русские на одно лицо.

— Врешь! Вре-е-ешь. Он красив и силен, как барс. Младший перед ним суслик. Красив и умен. Коварен немного, как все русичи, и увертлив. Речь его убедительна. Это правитель. Это воин. Это мужчина. Как он, как мужчина, силен?.. А какие у него руки! Ты обратила внимание, какие у него сильные, большие руки?

— Говорю тебе, что внешность русича не привлекла моего внимания! Мысли мои далеки от земных дел с тех пор, как умер мой муж, а твой сын, Гуюк, да будет легким путь его кибитки посреди небесных садов, да будет сладостен и радостен отдых его души вблизи божественных сил...



— Да будет. Достойный ответ, ничего не скажешь. Умница. Это достойный ответ для матери детей моего сына, моих внуков, для правительницы великой империи Моголов. Но ты, верно, не знаешь, что мой старый визирь в последнее время стал страдать бессонницей и по ночам любит иногда бродить по саду... Да. Однако оставим в покое моего визиря с его привычками и поговорим о деле. Поговорим о наших русских братьях. Для этого я к тебе пришла. Давай вместе сейчас подумаем, какой ответ дадим мы русичам и как достойно и с честью проводим братьев в их вотчину. Но что с тобой? Тебя что-нибудь обеспокоило в моих словах?

— Нет. Ничего.

— Да? А мне показалось, ты вздрогнула. Ну ладно. Оставим это. Поговорим о деле. Слушай. Я расскажу тебе. Знаешь ли ты, вдова моего сына, великая ханша Огюль Гамиш, как богата страна руссов? Тебе не говорил об этом твой муж? Мне рассказывал об этом еще блаженной памяти мой супруг, хан Угедей. У русских много городов, благоустроенных, людных. Их страну еще некоторые зовут поэтому Градорикией. В городах у них стоят каменные храмы, украшенные золотом! У них произрастает посеянный хлеб, и струится вымя, текучут бурные реки и зреют плоды. Говорят также, что у них в стране есть серебряные рудники, оттуда привозят серебряные слитки, на которые в русском улусе все продается и покупается. Словом, это очень богатая страна, и богатым будет тот, кто владеет ею. Ну, ты поняла? Ты поняла, что нам нелегко будет сохранить власть над ними? И не только потому, что наш народ — это бедные кочевые племена, у них нет ничего, кроме степи и кибиток, напротив, может быть, именно в этом и есть наша сила, наши воины легки на ногу и не так отягощены плотью! Но после смерти великого Чингиза у нас начались и не прекращаются раздоры. Ты это знаешь не хуже меня! Что далеко ходить, мой знаменитый племянничек, Бату хан! Жертвой раздоров, я не хочу называть больше имен, пал мой сын Гуюк! Но это не последняя смерть! Не последняя! Это я говорю, Туракина! Я стара, но я еще жива! Пусть помнят об этом наши враги! Пусть трепещут! Туракина не простит! Она сумеет отомстить за смерть сына, клянусь Великой матерью песков!.. Но вернемся к нашим русским братьям. У них в стране тоже далеко не всё в порядке, и князья русичей тоже враждуют между собой. И это хорошо. Тебе понятно? Так нам легче



будет удерживать их в подчинении и страхе! Ну? Ты все поняла? Ты поняла, почему мы не хотим, нам неудобно иметь в Руси такого сильного и полновластного правителя, как Александр?

— Что ты... хочешь сказать? — еле слышно, поворачиваясь к той лицом и вперя сверкающий взор в похожее на желтую сморщенную маску лицо Туракины.

— Ничего. Ничего. Я советуюсь с тобой. Да, ты, пожалуй, права. Пусть так будет, как ты сказала. Ладно, пусть будет Александр. Конечно, Александр. Скажешь им свою волю. И проводим с почестями, с ханской милостью. Как его отца... С ханской милостью, пишем из ханской ладони...

— Ты отпустишь его живым!

— Ты что?! Тише! С ума сошла? С цепи сорвалась что ли, тигрица?! Великая мать песков! Глаза сверкают!.. Заткнись, дура. Могут услышать!

— Ты его не убьешь!

— Дура. Корова. Уймись! Уймись!

— Ты отпустишь русских братьев живыми, слышишь? Или я сама, — шепотом, похожим на шипение змеи, — вот этими руками отравлю тебя твоим пойлом, которым ты поишь других, и это будет последнее доброе дело, которое я исполню в своей жизни, клянусь Великой матерью песков! Я, правительница Моголов! Я знаю, где лежит порошок!

— Дура! Дура. Корова. Ложь. Всё это ложь! Я никого не убивала. Браки, выдумки! Я и не собиралась их убивать... А ты вот, ты, великая правительница, жива только милостью моей после смерти твоего мужа, ты хоть это-то понимаешь?! Я могу в любой день уличить тебя в заговоре против сына! Это ты, ты умертвила его!

— Ложь, — в изумлении, — это ложь! Ты это знаешь не хуже меня! Тебе известно, отчего умер Гуюк!.. Не я умертвила отца моих сыновей!

— Не ты. Еще бы мне не знать. А если бы это было не так, мы бы не говорили здесь сейчас с тобой. Если бы это было не так, то тебе жизни оставалось бы ровно столько, сколько времени мне бы понадобилось, чтобы хлопнуть в ладони и позвать стражу, чтобы удавить тебя! А! Какое это имеет значение, ты или не ты! С тех пор, как ты ступила на этот трон, босячка, ты ходишь по лезвию длинного татарского ножа! Знай же, что быстрый барс, мой племянник Мункэ-хан, только и ждет одного моего взгляда, безмолвного согласия, чтобы



обвинить тебя в заговоре и колдовстве против моего сына! Тебя бичуют раскаленными головнями, и ты умрешь в мучениях. Но я покамест медлю. Мне жаль — не тебя, твоих сыновей.

Ладно. Не дрожи. Ах, я что-то устала от этой бесплодной беседы с тобой. Не дрожи. Не такая уж я злодейка, как ты думаешь. Ладно, я их отпускаю. Я устала. Пойду полежу. Я не выйду к князьям. Ты проводишь их сама. Ладно. А! От нас еще никто... Проводишь их одна. Скажешь им так.

* * *

— **Я** тебе говорил, что был у нее в покоях? У ханши молодой? Какая там тишь! Травы голову дурманят. Ароматные дымы повсюду курятся. Жарища! Девки ее, все в кисеях, полуголые, бегают неслышно, как духи! Она сама вся почти что нараспашку. Под кисеей все видать. А над кисеей глаза... Сколько мы там с Анdreйкой пробыли... Однажды в саду... — махнул рукой, закашлялся, потом долго молчал, глядя на выползшую из-за облаков луну. — Тут вот тоже тихо. Но там другая она, тишина, Афоня. Как во гробе. Здесь она живая, тишина. Ветерок шебуршится в соснах, речка плещется, шорохи всякие, шевеления в траве тварей малых; вон в доме за воротами суета, самовар ставят. А там она мертвая, тишина. Всё как застыло. Как во гробе. Однако, сыне, скажу тебе, что гроб-то тот больно душист да красив. И, скажу тебе еще, как перед Богом. Мне однажды привиделся человек... кто бы остался там, с нею. За стенами глухими да за коврами пушистыми, за которыми не слышать всего режущего, орущего, дерущегося, разрываемого на части, окровавленного мира! Но тот человек был не я... Он бы остался там, подле нее, ее невольником, рабом... Среди цветов и благовоний и сладких пениев. Зажмуриться и... То был не я, я же всечасно слышал время, гремеее, звенеее за моей спиной! И мне издалека, из-за синя камня светились другие глаза. И срок свой знал, какой отмерено мне быть в этом Каракоруме. Судьбу свою, знаешь ли, Афанасий, до сего дня я знал, как облупленную!

В последний день приняла она, Огюль Гамиш, молодая ханша, нас с Анdreйкой в тронном зале. А той, ведьмы старой, не было! Тура-



кины не было, слышь?! А я Андрейку под бок толкаю: старой ведьмы нет, авось ноги унесем, живыми убедем, братку! А эта важная, вся в золотых побрякушках на троне, на голове хлыстик золотой, а в руке — шар серебряный, кругом вельможи да сановники ихние, а у дверей двое анчутков с копьями и в железах. А сама-то она, Огюль Гамиш, словно, вижу, не в себе, бледная, как смерть, и губами еле, так показалось, шевелит.

И загадали они нам в тот день загадку, что билися мы во всю обратную дорогу разрешить, и так не смогли. Это точно, что старуха придумала, сама-то она, царица, не додумалась бы до такого.

— Тебе, Александр, — так сказала, — по мужеству и мудрости и по силе твоей мы нашей ханской милостию назначаем владеть всюю землею русскою. А сестричичу твоему Андрею мы даем ханский наш ярлык на княжение во Владимере.

Да как же это так?! Али у нас всяк не знает на Руси: кто владеет великим княжением во Владимере, тот и владеет всей Русью! Так повелось и при наших отцах и дедах, таков есть порядок издавна на Руси!

Да. Ушли мы от нее в смущении, и думал каждый сам-друг, как уладить дело и избежать грядущей братней смуты, и дивились немало на чудные ханские загадки. А делать было, сыне, нечего. Ну и радовались, конечно, что ноги уносим подобру-поздорову из гнезда гадючьего, хотя и сторожились, ожидая всечасно злой черной немочи али стрелы предательской в спину из-за песчаного холма. Так-то, сыне.

Князь замолчал, задумался. Минувшее уже не представлялось ему яркими видениями, сопровождаемыми дрожью воздуха от сбивающихся дыханий, гортанных вскриков, то лезло перепутанной перед глазами, душистой травой, за которой слышался тихий смех.

После той дороги была перемена. И тот прозвучавший колокол вдали, до которого быстротекущее время отмеривалось месяц за месяцем, седмица за седмицею. Кончилась молодость.

Вернувшись из дальнего путешествия, в первый раз тогда напала на него эта хворь неведомая. Так тяжело болел, и уже оплакивали князя все люди, не чаявшие, что будут делать, если лишатся Руси великого защитника, и закатится безвременно солнце Русской земли. Княгиня Александрова сидела у его ложа денно и ночью, отгоняя неведомую порчу. Однако оправился, встал. А уже в Руси к тому вре-



мени опять стало неустройство, и пришлось ему спешно ехать снова в Орду к Бату-хану... Там дошла до него весть, что за дальними даями, за снежными горами да за сдуваемыми ветром сыпучими песками, умерла молодая ханша Огюль Гамиш. Ее обвинили в заговоре против ее мужа, и, в войлок закатав, бедную утопили. А правителем империи моголов стал племянник Туракины Мункэ-хан.

Но и вернувшись из Орды, вновь его ожидала на Руси смута. Сперва взбунтовались новгородцы против сына его Василия, которого Александр посадил на стол в Новгороде. Чем-то им не угодил. Свара большая была. Многих он тогда казнил, бунт усмирил. А тут другое неустройство. Сказалась загадка, тот наказ, что дали им две ханши в Каракоруме. Братишка его Андрей заявил даденные ему права на великое княжение владимирское. Тяжела была распря между братьями. Правда была на стороне Александра, и Андрей бежал в сторону свейскую от гнева старшего брата.

Тут настигла еще страшная беда. Слух прошел, что идут на Русь две татарские рати, Неврюя и Черемсы, сея повсюду пожары и кровь. И вновь скачет изо всей мочи в Орду улаживать дело, отмаливать Русь.

— Так и не отпускала во всю жизнь меня Урду-Орда. Многожды бывал, лежал под телегою ночью, глядячи на звезды. Я и балакать выучился по-ихнему. А как убитому быть хану Батью *от краля угорского*, то стал править в Сарае хан Берке. Потом и с Андрейкой, дурнем этим, замирились. Приехал, плакался. Говорил, что по пьянке идти противу брата решился. А и правда охоч был к зеленому вину. Потом, позже, вроде поумнел. Улегся в Суздале, я даровал ему там правление, там утихомирился и уж так больше не пил...

И увенчанный многими славными делами и победами, боготворимый всем русским народом, после всех этих смут, проехал со всем торжеством и при звоне колоколов во всех церквах Александр через Золотые ворота владимирские.

— Так-то, сыне, стал я править великим князем во Владимире.

Голос рассказывающего осекся. Он внезапно в ту минуту вспомнил недавний свой сон и вдруг догадался, что это, может быть, была — она... Припомнился странный, ни на кого не похожий, тем-



ный, печальный облик, явившийся ему, и по ком плакал он посреди ночи навзрыд так безутешно. Однако, — со смущением еще подумал, — с какой же это стати и с чего вдруг, почему — она? Одна из всех любивших его и ушедших?.. Но по каким-то неопределимым, неземным, неназываемым знакам — понимал, что, кажись, так, точно, она, татарка... Молодая ханша Огюль Гамиш. Глаза над кисеей... Чудное дело.

— Эй, слышь, Афанасий! Тебя любили женщины?

В темноте не видать было лица маленького монашка, он невнятное что-то пробурчал и нахохлился.

— Я рано узнал всё. И женскую любовь тоже. Княгинюшка моя, светлая, чистая душа, упокой ее, Господи, — утер глаза, перекрестился, — предана была мне всю жизнь. А так бывало ежели что... Я мимо проходил, а если ненароком и привечал кого еще... Главное, недосуг было, да и не по мне, не таков я... Бывало, ожидала меня еще у синя камня... Скажу тебе, Афанасий, что в ту пору любили меня пуще всего... две... али три женщины.

Бесшумно из-за ближней корявой сосны туманным, светлым облаком скользнула Прекраса.

— Князь Александр Ярославич, батюшка звать вас велели к вечерней трапезе. Да не застыли бы так-то, вечера холодные.

Он послушно пошел к воротам. Следом за ним монашек и Прекраса, и этот противный, длинноносый, успел-таки ей шепнуть ехидно:

— Что же сама-то прискакала? Али некого было послать?

— Ишь какой! Не твое дело! — шепотом всердцах ответила она.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Грешен, Господи!

Невероятное, в самом деле, творилось в природе. Так долго и благотворно задержавшаяся осень, сменившаяся было зимой, вдруг в один прекрасный день вновь переменялась и обернулась, утром проснувшись, — ясным и тихим, солнечным днем, сухостью и прохладным осенним теплом. Выпавший было накануне и покрывший землю тонким, невесомым слоем первый снег повсюду



исчез. Расправилась уже покорно было примявшаяся лечь под снегом буро-зеленая трава. Небо, утратившее темно-голубую, прощальную, осеннюю глубину, отливало странным жемчужным светом вокруг расплывшегося желтым кругом солнца.

А в доме боярина Василия Акинфиевича дни наполнялись двойной суетой. Приготовляли дом на зиму, исполняя необходимые дела, укладывали дрова, затыкали окна, собирали и жгли всюду опавшие листья, ветер разносил запах гари. Но всё больше обитателей дома и дворян заботили новые хлопоты: готовили молодую боярышню к отъезду, к замужней жизни. К зиме, к Николину дню, ей было перебираться к мужу в Нижний. Готовили приданое; отпирались сундуки кованые, вились по комнатам полотно золоченой кисеи и белого муслину, перекатывался по ладоням матовый жемчуг. Днем и ночью неугасимым светом горели лампы перед Божией Матерью Казанской. Негромко за шитьем пели девушки. Сама Прекраса заходила к ним посидеть за пядьцами да попеть, распустивши косу.

А на половине дома, которую занимал с малыми людьми князь Александр Ярославич, тихо. Князь снова занедужил, слег. Воевода Федор у печи на лавке размешивал для больного питье. Мальчик Торпко, когда-то сильно напуганный татарами и почти всегда с тех пор молчавший, как глухонемой, сегодня с утра заговорил и потихоньку упрашивал воеводу, теребя за рукав:

— Дедушка, пойдем на солнышко! Скоро не будет солнышка! Дедушка, выйдем на двор! На солнышко очень хочется! Скоро не будет солнышка! Зима ведь будет!

За занавеской скрипнула кровать. Слегка придерживаясь за стену, вышел Александр. Лицо его осунулось, вокруг синих глаз легли темные круги, однако улыбнулся, расслаился чудесной своей улыбкой, и вмиг впечатление болезненности исчезло. Словно здесь, в горнице солнышко засветилось. Нахлобучив небрежно на разметавшиеся кудри шапку, накинувши на одно плечо охлупень, обнял мальчонку за худенькие плечики, подтолкнул к двери:

— Пойдем-ка и вправду с тобой, малец, на солнышко!

А к вечеру переполох в Посаде. Мирный сон начал уже было окутывать притихшую слободку, наступили сумерки, то недолгое время, когда всё вокруг, земля и небо и дома, стало одинаково сине, и в ма-



леньких оконцах кое-где засветились, как малые звездочки, тонущие в этой предночной синеве огоньки, как вдруг, словно ветер принес тревогу, слух ли пронесся по избам, отчаянно и дробно забил набат, пооткрывались двери, люди выскакивали оголтело и в великом страхе, кто в чем был, запирая ворота! Раздался чей-то истошный вопль, пробежал посередь улицы обезумевший мужик, схватившись за щеку, с которой капала кровь...

— Уби-и-или!!

— Батюшки светы!!

— Что там, что?!!

— Пожар!! Посад горит!

— Татаровья, сказывают, наезд! Горе нам! Всех побьют, пожгут, никого живым не оставят!

— Уби-и-или!!

— Да сколько их?!

— Тьма!!

Толком никто еще ничего не знал и никого не видал, но, раздуваемая мгновенно возникшими слухами, понеслась паника, оставшиеся в домах попрятались и рассовали по чуланам да по овинам детишек, задымилось с краю слободки, впрямь не пожар ли?

А это кто?! Мать честная! Вдруг пронесся стрелой посреди улицы дивный видом воин!

— Эй-о! Кто там спрашивал, сколько их?! Александр не спрашивает, сколько, но — где враг?! Коня мне, черти!! Коня!!

Рассказывали после, сколь был он прекрасен и грозен, и как дивно и ужасно горели его очи, и развевался на ветру алый плащ-корзно, даже и шлем с конским хвостом углядели, а уж всадников за ним ехало, разно говорили, кто — три али четыре, а другие клялись, божились, что все двенадцать... И вот уже звякнула одна, другая щеколда наглухо запертых ворот и, освобождаясь от цеплявшихся женских рук, не слушая истошных криков, бегут за тем дивным всадником вслед кто помоложе и половчее, вывернувши рогатину али прихватив вилы...

Но где они, татаровья, где враги-то?!

Добежали до конца улицы, нету никого. Лишь поодаль в сгущающихся сумерках видны стали темные силуэты нескольких улепетывающих вон всадников.



Вдруг, откуда ни возьмись, стрела, одна единственная, невидимая во тьме, тугая, сбоку откуда-то пущенная прямо в Александра, летит. Пронзительно вскрикнул мальчик Торопко; метнулся к князю один из сопровождавших его, загоразивая собою, и упал, сраженный той единственной, неведомо кем пущенной стрелой.

Между тем случайно наехавший на слободку татарский разъезд, три али четыре всадника, вызвавший весь ночной переполох, с истошными криками: «Здесь есть Александр!» — удирал прочь. Осталась в слободке одна наполовину выгоревшая невесть отчего изба с краю улицы, да в ней еще сгорел пьяный вусмерть, едва перед тем не зарубивший своего соседа топором мужик, да той единственной стрелой был наповал убит загородивший собою князя перевозчик Левх. Да не доискалися еще в слободке бабенки одной, говорили про нее, что гулящая, так сгинула...

И в памяти людей остался вдруг воссиявший, восставший от печального одра витязь, именем которого тогда жила и дышала русская земля.

Он долго сам-друг преследовал невидимого врага, и только когда стало совсем темно, и понял, что никого ему не догнать, остановил посреди чиста поля истекающего пеной коня.

Ночь наступила. Это была последняя ясная, лунная ночь перед грядущим ненастьем. Полная луна, еще недавно в вечерующем небе висевшая тяжело и низко, огромная, расплывшаяся, почти прозрачная, теперь, уменьшившись, скакнула высоко, и ее ослепительный, голубой огонь яростно бил в очи, а пониже нее, одна на небосклоне, сверкала и переливалась красным и голубым большая звезда... Его звезда!

Господи! Грешен.

Вот тут я весь перед Тобой стою, ибо час мой настал. Как на ладони весь перед Тобой, и жизнь моя вся, как длинная дорога. На длинной и торной дороге той разное со мной бывало, Тебе всё ведомо, однакоже открыт и чист был помыслами и не роптал, и благодарю Тебя за всё, прости же Ты меня, раба грешного! Не смог я той дороги пройти, и вот умираю *при дороге*...

Грешен, Господи!

Бо не аггелом Ты меня создал, но человеком, и жил в мире людей, раздираемом враждой, терзаемом муками, истекающем кровью



в то страшное время, когда жизнь людская почиталась ни за что, а кровь лилась водицею. И жил в этом мире и в этом страшном и жестоком времени, и меч в руке моей был мечом карающим, за то молва людская нарекла меня героем, и имя Александрово гремело во всех странах до моря Каспийского и до гор Аравитских и об ону сторону моря Варяжского и до самого Рима. Имя, да... Но кто же знает, кто слышит, кто смог читать в сердце моем? Предаю его Тебе, сердце Александрово, ибо знаю, что час мой настал. Возьми его, оно еще теплое.

Господи, грешен!

Любимые мои... Более ли радости вы видели со мной, али печали? Простите ли меня в час последнего прощанья, что нежалостен бывал к вам, и время мое было временем разлук, более чем радости, что мало берег вас и вот не уберег. Кто остался со мною? Кому на грудь в заветный час склоню я усталую голову?..

Грешен, Господи!

Что бывал гневлив и скор на расправу, а порой и обманом, и коварством и лестию и, хотя как лутше всем людям сделать, не всегда делал. И на братку своего Андрея гневался, когда тот восставал противу меня, а после он бежал от гнева моего в сторону свейскую... И на сына своего Василья гневался, и казнил многих людей и из новгородцев и посадника ихнего Ананию по оговору без вины, в тех смертных грехах гневливости и умерщвления человеков каюсь, грешен, грешен, грешен! *На страшном суде без обвинителей сам себя обвиняю.*

В оправдание ли себе замолвлю, что люд русский заплачет об Александре и скажет ли ежели кто дурное слово обо мне, то более скажут хорошего, бо почитаем был даже и ворогами своими, убоявшимися при мне разорять, как прежде разоряли, Русь, и сам хан великий и грозный, тень которого счас с небес глядит, однажды так обо мне сказал, что «Другого такого нет!»

И в заветный свой, последний свой час, который счас я узнал, озираю словно в первый раз, а вот, выходит, что в последний, мир, который Ты создал, и дивлюсь, сколь прекрасно творение Твое! Словно всей красы этой ранее я не замечал. И мило мне каждое деревце с полуоблетевшей листвою, и озерко, засыпанное желтыми, узорчатыми листьями, на всё гляжу, как на диво дивное, последним взглядом. И звон отдаленный стоит в ушах моих, и сердце мое непривычной, тихой болью исходит, отделяющись от этого мира,



и к травушке холодной, росистой, к земляшке милой тянет прикинуть и так остаться... В этот час прощания отпускаеши ли с миром душу раба Твоего, Владыко?

И упал на землю и зарыдал.

ДЕНЬ БЕДЬМОЙ. Далеко ли до Нижнего?

Ах, откуда, откуда, откуда взялось вдруг столько народа в маленькой слободке, в крепостце этой на краю земли у великой реки, стекались, ползли темными ручейками, избу всю боярина Василья заполнили, а кому места в избе не досталось, те на дворе, а кому и на дворе места нету, окружили огороды и тын и до самого вала, расположились промеж старых сосен, лодии привязывают у того места, где под свежесрубленным крестом беспробудным сном спит перевозчик Левх, и карабкаются по валу, крестясь на церковь. А она большой, темной птицей мечется, мечется, — ах, зачем, зачем здесь сегодня столько собралось людей, что за слух прошел и их сюда пригнал, из каких-таких мест понабралось!? Неправда это! — неправда, что умирает пресветлый князь Александр Ярославич! Господи, помилуй! Он не старый еще!! И что за неведомая немочь враз свалила его, вчера еще ходящего и в глаза прямо смотрящего?!

Мечется туда-сюда большой птицей с коричневыми крылами, вглядываясь в лица людей, обегая людские оползны, вот задержалась у могилки, где, бывалоче, сидел, глядя на реку, перекрестилась и снова бегом наверх, к дому...

Ни отца не видно, ни мамушки Пелагеюшки... и монашек этот противный, который вечно путался под ногами, вдруг словно сгинул, три дни уж нету нигде, ай убег?..

Ах, зачем, зачем надела сегодня монашеский этот убор, коричневое, почти черное покрывало, а под ним белое, и привески жемчужные сливаются с матовостью бледного лица?.. Ах, Онфим, нижегородец Онфим, али забыл ты, о чем обещался своей нареченной, али не поспел?!..



Нет, не забыл! Нет, поспел нижегородский посадский человек Онфим Путятич, чу, не показалось ли?! Земля ли гудит под копытами коней?!.. Нет, не показалось! Гудит, дрожит земля, едут, едут! Вот уж словно маленькое облачко завиднелось вдали. Но кто они, те всадники, приближающиеся?!

Люди враз расступились, пропуская ко двору боярина Василья малую дружину на взмыленных конях, на всем скаку соскочил тот, что впереди, бросив поводья молодшему дружиннику. Но кто же это?! — ростом сам невелик, в богатом одеянии, рыжеват, неказист, а — похож, словно бледный, неяркий, начерно сделанный слепок с самого прекрасного в мире лица!

Люди дают ему дорогу, и вот уж он у постели умирающего, к руке его припал, орошая слезами:

— Ах, брате, брате! Мы не ведаем ничего, тебя в стольном граде ожидаючи... Да нет же, не может быть того! Не покидай нас, брате, не покидай, не оставляй сиротами детей твоих!.. — и все плачет, плачет и прощенья просит и руки тому целует. Тихо воины в светлицу вошли, что сопровождали Андрея, и встали по стенам. Следом за ними и Прекраса, в монашеском уборе, взошла и застыла.

— Ась? Гдей-то я? Кто со мной? Андрейка? Здорово! Чего, дурень, реवेशь?! Чево вы все ревете? Девица... плачет. Ты кто, милая, и по ком плачешь?.. А-а-а, да. Я тут... Задержался малость. Так в путь же пора! Андрейка! Где конь мой?! Слышу, слышу, как звонят колокола Пресвятыя Богородицы за Золотыми вратами владимирскими... По ком... звонят... В путь, в путь, ждут меня мои новгородцы! Коня мне, черти!! Коня!!!

Охнул, судорожно дернулся и задохнулся. Вся неслышная речь пронеслась в его меркнувшем сознании, губы же, едва раскрывшись, дрогнули и невнятно, с усилием выговорили, или так послышалось стоявшим вокруг постели его:

— Да-ле-ко ли до Нижнего?

И чей-то голос ясный, звучный, грустно ответил:

— Далеко, Александр. Всей жизни твоей оставшейся не достанет туда добраться...





Много потрудившись Богу, оставил царство земное и стал монахом... И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в 14-й день, на память святого апостола Филиппа. (8)

И сказал митрополит Кирилл: «Чада моя, разумеите, яко уже заиде солнце земли Суздальской».

Мир опустел. Почившего князя с великим тщанием на телегу уложив, в начавшемся холоде и ненастье поздней осени, сопровождаемого Андреем с дружиною, повезли во Владимир, чтобы предать тело его земле в Рождественском монастыре.

Немного еще времени прошло, как, простившись с родными местами, обойдя всё в последний раз, к мужу в Нижний к зиме, к Николину дню, уехала Прекраса. За нею вслед собрался и сам боярин Василий Акинфиевич с чады и домочадцы и со всею челядью. Те, кто оставались еще в Городце от дружины, бывшей с Александром, разбрелись кто куда. Опустел двор боярина Василья, заперли двери, заколотили окна, наглухо закрыли ворота.

Лишь желтел над рекой свежесрубленный крест над могилой перевозчика Левха, да болталась, задуваемая стылым ветром, заливаемая осенними дождями утлая его, никому не нужная до весны лодчонка. К весне еще нашли, всплыл из-под льда, тот монашек, что жил недолго на дворе боярина, с проломленной башкой, невесть от чьей руки безвестно так сгинул.



Недавно, мне довелось быть в Городце. Я бродила по старому валу между корявых, древних сосен, и от реки в сторону городка глядя, где на месте старинной крепостцы грудились унылой, безликой, серой массой заново выстроенные неказистые здания российской глубинки, пустые и плоские, с подтеками сырости и грязи и подслеповатыми окнами, и заводишко неказистый стоял на берегу плоской лужей растекшегося озера, сплошь забросанного желтыми листьями, — рисовались мне иные контуры, словно сотканые



из воздуха, но непостижимым путем сохранившие очертания свои, иные строения... И ветер ли то гулял и нашепывал в спутанных верхушках старых сосен, или доносились до ушей неслышимые шепоты и вздохи незримо здесь селящихся, не желающих расставаться с этими местами, хотящих рассказать о себе...



Г Р А М О Т А
И В А Н А К А Л И Т Ы





— **М**ихайло! Эй, Михайло!
— Ну, чего тебе?! Пошто орешь истощно на ночь глядя?! Али беда какая случилась? — перекрестившись, всматривался в темноту.

— От беды-то большой покамест Бог миловал, княже. Неладные, однако, вести...

— Так сказывай, ежели пришел! Не гневается ли на нас хан Узбек? Не замыслил ли слать войско на Тверь?

— Бог миловал.

— Родичи ли мои разлюбезные, московский Юрка с галицкими да с черниговскими противу нас не стоворилися?

— Покамест нет... Однако к тому идет! Юрий-то Данилыч того... Хан-то Узбек дает ему в жену Узбечиху, сестру.

— Врешь!

— Верно говорю. Нонече свадьба в Орде.

Несколько минут молчания последовало, пока стоявший внизу под окном пытался разобрать в темноте лицо князя. Молвил неуверенно:

— От московских-то, гляди, вовсе теперь проходу не будет? Ихний, стало быть, верх?

Без ответа резко захлопнулось окно. Тяжело ступая, князь Михаил Ярославич Тверской прошел в просторную горницу, где при свете лучин, горевших в светцах, ужинала его большая семья. Оглядел всех, будто заново увидел; перекрестился широко на образа, садясь на свое место во главе стола. Княгиня Анна увидела сразу перемену в муже, но не спросила ничего, а сам он, хотя известием неожиданным немало был огорошен, — ни сном и ни духом не ведал еще, насколько худо всё дело для него обернется.

Хотя беду в то время ежечасно ожидал каждый на Руси, когда целые поколения рождались и жили и умирали — **под игом**.



1.

Султан моголов, кипчаков и тюрков, тень Аллаха на земле, со-
кровище правоверных, подпора благочестивых, Узбек-хан,
сын Тогруджи сына Менгутемира сына Тогана сына Бату, вступил
на ханский престол в землях Сарайских Великой империи моголов,
простиравшейся от реки Итиль и до Страны Мрака, в последний
день мусульманского месяца рамазана.

Он был, как сообщает восточный летописец, молодой человек
красивой наружности, отличного характера, прекрасный мусульма-
нин, храбрый и энергичный. Прежде, чем сесть на престол, он *умерт-*
вил несколько эмиров и других знатных лиц, а также убил множество
бахшей и волшебников.

Великолепна столица хана Сарай Берке! Это один из красивейших
городов мира, переполненный людьми, он стоит на ровной земле,
в нем тринадцать мечетей, много красивых базаров и широких улиц.

Великолепен дворец хана, где правитель сегодня празднует свадь-
бу своей сестры. Он выдает ее за русского эмира.

Земля русских далеко, в одиннадцати днях переезда отсюда. В той
земле много городов, благоустроенных, людных, там *произрастает*
посянный хлеб, и струится вымя, текут многоводные реки, и созре-
вают плоды. Там в рудниках добывают серебряные слитки, на кото-
рые у русичей всё продается и покупается.

Народ же, которым владеет хан, это — бедный кочевой народ.
У них ничего нет, кроме степи и кибиток, они передвигаются на по-
возках и едят конину.

Они завоевали полмира, идучи тьмою, как саранча, повинуюсь
воле великого хана, оставляя после себя пустыню, *как будто уже вче-*
ра здесь ничего не было.

Они жестоки, воины хана. Когда трещали и ломались кости русских
пленников, их положили между двумя длинными досками, на которых
расселась ужинать татарская рать, то, слыша стоны, плач и проклятья
раздавливаемых, они смеялись и жевали конину, запивая вином.

После великого разорения русичи покорны хану, ведут себя, как
его данники, а русские князья ездят в Орду на поклон к хану, дару-
ющему ярлык на великое княжение во Владимире и враждуют друг
с дружкой за милость великого хана.



Стены зала, где Узбек-хан пирует со своими гостями, убраны разноцветным сукном, с потолка свешиваются волны раззолоченного шелка. На свадебном столе — всевозможные яства, жареные куры, журавли, молодые голуби, хлеб, растворенный на масле, который моголы называют куличом; сухари, халва; гранаты в золотых и серебряных сосудах с золотыми ложками; виноград и дыни, среди них — королева всех дынь, хорезмская, ее кожа зелена, а внутренность красная, те, кто ее пробовал, говорят, что не знают ничего, ей подобного. Гости едят и пьют вино из золотых и серебряных кубков и пиал иранского стекла и славят хана.

По левую руку от хана за столом сидит жених, московский князь Юрий Данилович. Глядя на него, трудно сказать что-нибудь о его внешности, ни сколько лет ему; полный, даже рыхлый, с белокурыми волосами, гладко облепившими череп, с бледной кожей и глазами, взгляд которых трудно уловить; может быть, эти глаза, по-особому отражают свет десятков установленных на столе свечей. Рядом с Юрием сидят его братья, Иван и Афанасий Даниловичи.

По другую руку от хана — невеста. На ней покрывало из кисеи, затканное золотыми звездами, а на голове шапочка-бугтак, украшенная драгоценными камнями и павлиньими перьями; она что-то уж очень весело смеется, сверкая белоснежными зубами, слушая, что шепчет ей на ухо сидящий сбоку от нее молодой красивый татарин. Лицо ее открыто; татарские женщины не закрывают лица, к тому же она только что крестилась в веру своего жениха и теперь учится произносить новое, данное ей при крещении, взамен прежнего имени: Кончака, — христианское имя, которое выговаривает, смеясь: Ака-пия.

Да, он, Узбек-хан, великий правитель! В его власти сейчас возвысить своего новоиспеченного шурина, незнатного князька недавно выскочившего, как пузырь на воде, московского княжества. Захочет — и дарует ему здесь же, сейчас, за свадебным столом, грамоту, ханский ярлык на великое княжение владимирское. Что из того, что прежде уже такой ярлык был даден князю тверскому? Тверских давно пора осадить! Горды и непокорливы стали! В Орду на поклон к хану не ездят, даров не возят! Да еще, небось, и дани ханские присваивают!

Юрий недаром три года почти безвыездно сидит в Орде.



Бумагу, писало!

«Вышняяго и бессмертного Бога волею и силою Узбеково слово ко всем князьям, великим и средним и нижним...»

И, разгорячась, — на Тверь! Не медля, сейчас, от пиршественного стола! — Тверь старую, Тверь богатую! Изреченную волю хана pokrыли воинственные и восторженные вопли.

Но вот подошел к правителю единственный, пожалуй, трезвый человек среди присутствующих, ближний советник хана, немолодой, с худым, изрезанным морщинами лицом и поблескивающими, как смоляные, узкие щелки, глазами; что-то прошептал. Лицо хана осталось неподвижным и бесстрастным, но через мгновение со своего места внезапно и легко поднялся и, глянув куда-то поверх голов, вышел, а за ним змеей проскользнул замеченный разве что лишь Кончакой-Агафьей красавец Кавгадый.

После знойного дня прохладой овевала ночь бритые щеки великого Могола. На каменной площадке над ступенями, ведущими в сад, он застыл в чернильной тьме, как умеет внезапно замирать житель степей, и так неподвижно стоял. Вот в глубине обширного сада смутно едва забелело движущееся пятно, потом стало видно, что это — голова в чалме; кто-то пробирался по саду. Вдруг из кустов неясно различимая мелькнула тень, слабо сверкнуло и погасло что-то, вслед за этим раздался далекий, удивленный и тоскливый возглас. И снова все смолкло. Через несколько мгновений вынырнул откуда-то из-за кустов запыхавшийся Кавгадый и остановился перед ханом, склонившись к отягощенной перстнями его руке, из которой, тихонько звякнув, упало что-то в ловко подставленную руку татарина, принявшую дар или плату за происшедшее только что в темном саду. Вдруг рука хана замерла, он вперил взгляд в сторону дворца, а рука его слуги привычно легла на неостывшую еще от человеческой крови саблю.

Вот выступил оттуда, из темноты, человек и, часто кланяясь, приблизился, и хан узнал его. Однако давно ли он здесь? И много ли видел?..

Тонкие, черные брови грозно сошлись в одну черту, и, не сводя огненного взора, следил за малейшим движением мускулов на лице своего владыки Кавгадый, готовый каждое мгновение ринуться бесшумным и ловким барсом и сокрушить нежелательного свидетеля. Но подошедший, не мешкая, но и без особой торопливости, загово-



рил, и что-то было в тоне и словах его, и в безбоязненном взгляде, который устремил прямо в лицо хану, и в улыбке, хотя и не так бело-зуба была, как у Кончаки-Агафьи, обнажила желтые, хотя и крепкие зубы, и такой подобающе льстивой и вкрадчивой была его речь, хотя и не внушала презрения, — оно появилось было на мгновение в глазах хана, но тут же угасло, а рука татарина соскользнула с эфеса сабли, — что заставлял слушать себя.

— Хан дарит своего батыра. Татарский батыр, красавец батыр, силен и ловок, как барс, и быстр, как ветер. У русских не может быть такого сильного батыра. Но позволь же и мне свой ничтожный дар в этот полный счастья день к твоему присоединить.

И, торопливо сняв с шеи что-то тяжело зазвеневшее и тускло блеснувшее в темноте, протянул с поклоном, а хан, чуть помедлив, громко захохотал, так, что проснулся в клетке молодой лев, которого великий Могол всюду возил с собой, и огласил сад рычанием, заставившим вздрогнуть и пуститься наутек случайных прохожих, бредущих в этот час мимо дворца и сада.

— Ох, эти русские, народ плутовской! — и так, хохоча, хан ушел обратно в покои.

А следом за ним мягко, по-звериному ступая, прошел его слуга. Когда они ушли, человек тот, незванный и непрошенный, обернувшийся таким щедрым свидетель и даритель, помедлил идти следом за ними и, оглянувшись по сторонам, вознамерился, кажется, зачем-то сойти в сад, как вдруг из-под лестницы откуда-то до его ушей донеслось четко и внятно произнесенное по-русски длинное ругательство и, вздрогнув от неожиданности, сплюнул в сердцах.

— Ты что ли тут, Вахрамей?

— Кому ж быть, Иван Данилыч.

— Напугал, старый черт. Откудава свалился? И пошто ругаеessi? Али жисть надоела?

— Не надоела покамест Иван Данилыч. А только смотреть и слушать зазорно, прости ты меня за ради Христа, когда отцы-деды наши грудью стояли, головушки положили за матушку Русь святую против поганных, а мы пьем-жрем, милуемся, братаемся, тьфу! Не вели казнить, князюшка, за речи дерзкие.

— Что с ты, старого хрыча, взять. Ну, ты, однако, не горячись. Не горячись, говорю, погоди...



— Чего годить-то?

— Ну, мало ли чего... Авось, придет времечко... Покамест не победить нам их в открытом бою. А мы другим возьмем, измором да хитростию окоротим да оборотим... А ты вот что. Подожди здесь, пока я в сад спущусь, гляну, чево там. В сад, говорю, сойду и мигом вернусь. А ты здесь сиди. Ну?

— А я и сидю.

* * *

Э то было жестокое время. Глубокие зимние сумерки опустились над полуживой Русью. Кончились ее детские, волшебные сны, исчезла с лица земли в крови и огне сказочная, языческая, звонкая, с лешими и лелями страна; словно смерч, прошел по ней хан Батый со своей многочисленной ордой, как прожорливая саранча, одержимые одной идеей — завоевать мир, и не боящиеся ничего, лишь гнева ханского.

Русь замерла, растеклась, затихла. И не одно столетие уйдет, когда гигантским спрутом медленно и осторожно, охватит, удушит, поглотит, переварит в себе монголо-татарское идолище и даже кое-что примет в плоть свою и кровь.

В описываемое время на Руси правят потомки Александра Невского: братья, внуки.

Считают историки, что и тот, кого современники называли «Солнцем русской земли», сам Александр Ярославич отравлен был в Орде и умер по пути во Владимир, «при дороге», в Городце на Волге.

Орда коварно и умело использовала то, что издревле называли на Руси «нестроениями» и «междоусобиями», натравливая русских князей друг на друга.

И снова ярко освещенные, душевные от людского дыханья, испарений и курящихся по углам благовоний, покои хана. Уже кто-то из гостей от жирных яств и неумеренного питания свалился под стол; а кто-то, наоборот, протрезвел. Вот встретились глаза хана с глазами вошедшего Ивана, Данилова сына, которому в княжестве московском присвоят люди прозвище: *щедрая Калита*.



Задержался он, однако, в саду. Вот хан что-то сказал слуге, и тот несет диковинный прибор в виде колыбели из листьев финиковой пальмы на четырех ножках, а в колыбели той — угощение от хана: жареная голова баранья, — не твоя ли бесталанная то головушка, Иване?! — и рог протягивает золотой, самоцветами украшенный, полный вином: Пей!

И не уходит прислужник, словно ждет чего-то. И гости враз при- тихли все. И догадка, как стрела из колчана, пронзила ум: «Батюшки! Отрава!»

«Ай-яй-яй-яй! Ох-хо-хо-хо! Отравит, как пить дать, гадина поганая, татарская. Как деда Александра и отца его Ярослава травили... и других. Али уж и твоя смертынька пришла, Иване, ну вот так вот, нежданно-негаданно? А что делать?! А неча и делать, как токо выпить. Смотрят. Нельзя не пить. А может, сразу и не околею, даст пожить еще денек-другой... Александр-то Ярославич, он тоже не сразу помёр от того яду, а после, при дороге... Господи помилуй, чевои-то я, о чем?.. Смеется, падаль, рыло татарское. А вот выпью же я мерзкое зелье твое и плюну тебе в харю, вслух не скажу, да узнаешь и вспомнишь мое проклятие. Недолго смеяться тебе, гнида болотная, это я тебе говорю, отольются вам слезыньки, кровушка наша, передохнете, да сами себя и перережете. А кто жив останется, тех рученьками своими передадим!.. Ох-хо-хо-хо!»

— Пью за здоровье великого хана!

Тьфу. Выпил, косясь по сторонам, за один присест весь рог до дна под крики и хохот, и не мог разобрать, в чьих глазах веселие или ужас, последнее, на чем остановил полубезумный взор, — огромное черное око, длинный ряд смеющихся зубов. Ака-пия...

Выпил. Очухался. Крякнул. Вроде жив... покуда. Оглядел стол, все орут. Отщипнул кусок мяса от бараньей головы, проглотил, да- вась. Грянул оземь рог. Где наша не пропадала!

— А спляшу-ка я с княгинюшкой твоей, Юрий! Иди ко мне, кра- савица Агафья!

И с похмелья, не проспавшись, шапками маша, саблями звеня, из- за стола свадебного:

— На Тверь! На Тверь! Тверь старую, богатую! Горды да непокор- ливы нонече тверские стали, надобно их укоротить!



Юрий, маша ханским ярлыком: наше таперича княжение великое владимирское! — за ними Кавгадый с отрядом, и княгинюшку свою молодую Юрий с собой прихватил.

Однако вышло из этого похода не поймешь что. С небольшим войском с месяц погуляли под Тверью. Поостыли головушки. Татаровьям что, у них приказ ханский то ли был, то ли не было, пили вусмерть, без просыпу. В конце концов Кавгадый даже вроде побратался с Михайлой тверским; получив от того богатые дары и дани для хана, ушел, бросив русичей. А князь тверской, чтобы припугнуть да разогнать шпану московскую, вывел рать во чисто поле супротив племянников. И, — вот позору для московских, — в том бою пленил молодую жену Юрия, Кончаку-Агафью. Дальше дело пошло вяло; больше переругивались. А пленнице от тверских никакого зазору не было, поместили со всеми почестями на дворе князя. Иван-то Данилыч, тот сразу от Юрия ушел, сказавшись то ли заботами, то ли жениными родами...

* * *

Вто время были главные междоусобия, между Тверью, «старой, богатой», и недавно вынырнувшим из небытия московским княжеством. За тверскими упрочилось звание великих князей владимирских. Тверичи независимы, горды, героика первых десятилетий борьбы с Ордой еще жива была в них, жива мечта победить татар сегодня, сейчас, в открытом бою!

В этой борьбе они потерпят поражение, и начнется возвышение Москвы, которой для того, чтобы победить, надо было лишь сохранить себя.

Тщетно в летописи искать дату рождения Ивана Калиты, таким незначительным было это событие, рождение московского княжича. Тверских указывали всех поименно. Потомки скажут **«Похвальное слово Ивану Калите»**.

«Мир и тишина воцарились в северной России» при этом князе (Н. М. Карамзин «История Государства Российского»).



Рачительный хозяин, хитрый и ловкий, он помог выстоять, выжить обескровленной земле. Был *отменно набожен, усерден к строительству храмов и милосерден к нищим*, за что и получил прозвище свое: Калита, денежная сума, из которой щедро раздавал подаяния. Он возвел храм Успения Богородицы в Москве на площади, и митрополит Петр завещал похоронить себя в этом городе, в этом храме.

2.

Не достоин еси милости, но достоин еси смерти

«Повесть о Михаиле Тверском»

— **М**ихайло! Эй, Михайло! Спишь что ли?!

— Кто там?! Ты опять? Чево тебе? Что стряслось?!

— Беда, княже, ох, беда неминучая.

— Чево, говори, не томи! Юрка что ли со своей шпаной опять прилез?

— Да кабы так!..

— Не лиса ли эта, Кавгадый, воротился, позабыв тверские топоры да наши княжеские дары?!

— Да вот как намерднито заезжал он да с княгинюшкой Юрьевой, что у тебя в полоне, о чем-то погупотурили, и как отъехал, а она возьми и помре...

— Кто?!!

— Ну, говорю, эта, Юрьева Агафья. Нонешней ночью, неведомо отчего.

— Не может такого быть!!!

Отпрянул от окна, шибив лавку. Как так?! С чего?! Берегли, со всей лаской и почестями держали! Да если б Юрка попросил, ему б тотчас ее и отдал! Вот ей же Богу! — перекрестясь.

Свеча потухла, и во тьме крошечной мысли пробежали одна другой тоскливее, и — заглушаемое надеждой, что всё каким-нибудь образом, даст Бог, обойдется, — страшное предчувствие: кажись, на этот раз пропала головушка твоя, Михайло! Пропала Тверь. Хан не простит смерти сестры. Страсти подумать, какой вопль подыметься! Этот-то... Кавгадый зачем к ней заезжал?.. Так ведь здоревехонь-



ка же была, ела, пила... Отчего помереть ей, видит Бог, не ведаю, нету вины моей в том, люди добрые!!!

На палых листьях, на плоском берегу излучиной изогнувшейся, круглым озерком растекшейся реки, под стеной храма, некогда белой, а счас в языках копоти, подтеках сырости и грязи, на земле чужой и под небом чужим, среди людей и глаз чужих, в вере чужой, лежала, съезжившись, словно усохнув, несчастная Кончака-Агафья. Недолго на русской земле погостевала, порадовалась ласкам мужа, если были сладки, попила меду-браги, понадевала злата-серебра, снятого с шей да вынутого из ушей, что еще можно было с покоренных людей снять да вынуть, понатешилась. Не защитил ни муж, бежал бросив ее в плену, ни этот не спас, побратавшийся с князем тверским, Кавгадый.

На палых листьях, под ненастным небом лежала неминучей бедой для Твери. И вот уже гонец-килибей с приказом от хана спешит, немедля князю тверскому ехать в Орду!

— Не хо-ди!!

— Перестань, Анна. Перестань, не реви, не трави душу.

— Не пуцу! Не ходи счас, родной! Авось опосля уляжется!..

— Не уляжется. Да и нельзя послушаться приказа ханского. Тогда уж точно беды не миновать. Дай то Бог, чтобы мне одному за всех головушку сложить.

— Нет!!

— Ну что ж так-то убиваешься. Еще живой я, — отвернулся, сморгнул слезы.

— Одного не пуцу! С тобой поеду!

— Счас, сказала. Оставайся, береги сынов.

Отчаянный взгляд из глаз в глаза с немым вопросом: «Вернешься?!» Он молчит, и в его лице на мгновение мучительно проступает правда.

Ехали всей семьей до стен владимирских, до самых Золотых ворот, отстроенных после пожара, с сыновьями и со старой бабкой. У Нерли простились. Дальше на коней и поскакали князь и его служка, ратник молодой, и вслед им, глядя сквозь слезы, долго воздух крестили трясущимися руками женщины.



Не достоин еси милости, но достоин еси смерти.

И ничего не слушают. Ладят одно: горд стал и непокорлив! Ханского посла Кавгадыя осрамил и бился с ним и воинов его побил, дани ханские присвоить хотел и бежать с ними в немцы... Княгиню Юрия Кончаку зелием извел!

— Господи, да когда же я его осрамил! — (Все врет собака проклятая татарская!).

— Он сам пошел на меня, и я поневоле бился с ним, а после побратались мы, и дани ему отдал, и ушел с дарами!!

А Кавгадый, начальник злу, от одних ушей к другим мечется, наговаривает.

— А что до Юрьевой княгини, ведать не ведаю, Христом Богом клянусь, с чего случилась с ней беда такая! И мысли единой не было чтоб уморить ее, держали в холи и ласке!.. Да если б прислал за ней Юрий добром, тотчас бы ее ему отдал, да и сам посылал гонца за тем к Юрию, он же убил его! Вчера еще здоровехонька была, да с ним же вот, с Кавгадыем днесь смеялась...

Но ничего не слушают. Всё свое твердят:

Не достоин еси милости, но достоин еси смерти.

Хан сказал:

— Судите, как хотите, судом моим, токо праведно судите брата своего моим ханским словом. *Бо суд ханский подобает бысть праведен и милостив!*

А Кавгадый, начальник злу, все мечется от одних ушей к другим...

И был суд в Орде, и бысть уже вечеру глубокоу сущу.

А утром на руки ему наложили железо и на выю дерево, и Кавгадый повез его на торг, где народу было много, как песок, и цареградцы, и немцы, русь, литва и кызылбаши, — и там ругал его, как разбойника и злодея, а после велел тому руки развязать и омыть и в дорогие одежды одеть и, смеясь, говорил, что хан дарует последней своей милостью того, кто *в тягости и нужи скоро смерть примет*. И еще велел принести вина и овощей, но пленник ничего не ел и не пил. И те, кто видели всё это, плакали. Не было ни одного человека, который был бы в тот день без слез.



Между тем близился ежегодный праздник, ханские ловы. Орда вместе с ханом и его прислужниками двинулась по степи к морю.

Знаете, как это бывает, когда движется Урду — Орда? Это как огромный город со своими жителями, базарами и мечетями. Лошади везут повозки-кибитки, заменяющие кочевникам дома, в них вся утварь, одежда и всё, что надобно для жилья и приготовления пищи, которую они варят на ходу, и дымы от кухонь поднимаются высоко в небо.

В праздник воины надевают свои лучшие одежды и садятся на лучшего коня. Купцы везут товары индийские и греческие.

Тогда же дикие степи казались улицами городов многолюдных...

На одной арбе везут пленного русского князя. Бегают глядеть на него, как огромен, кажется, что встань он да скинь оковы, — без труда одолеет с десяток низкорослых, сухощавых моголов. Но руки его крепко связаны, и на шее дерево, он не может повернуть головы, и его глаза с тоской следят за свободным парением ястреба в безоблачной выси.

Отчего они не убили его сразу? Зачем везут с собой? Он принял бы смерть с мужеством. Он примет ее и сейчас... Но против воли его одолевает тайная слабость. Они не убьют его сегодня... Сегодня у них уже не будет привала до самой ночи. Может быть, они оставят ему жизнь и на завтра. Он начинает любить и лелеять в душе, в сердце своем эти оставленные ему последние часы и мгновения и даже противу всякого смысла и воли своей начинает лелеять надежду. Отгоняет ее, призывая все силы душевные; но она появляется вновь. Особенно тяжело и нелепо умирать в праздничный день, когда вокруг все радуются, смеются и поют, пьют вино и глядят на танцующих девушек...

На привалах они снимают с повозок палатки и расставляют мечети. Хан имеет обычай после пятничного моления восседать в своем золотом шатре, он сложен из деревянных прутьев, обложенных золотыми листками. Хан восседает на деревянном престоле, обложенном серебряными, позолоченными листками; ножки у престола из чистого серебра, а верх усыпан драгоценными камнями. Вот около ханского шатра остановилась большая арба, обтянутая хорошим синим сукном. С нее сошла женщина в длиннополом платье; на концах его



пришиты петли, и тридцать девушек, прекрасных, как утренняя заря, приподымают края ее платья за эти петли и несут. На голове женщины — шапочка-бугтак, украшенная драгоценными камнями и павлиньими перьями. Она прекраснее всех, это любимая жена хана хатунь Баялунь; у нее хан проводит большую часть ночей.

Про нее говорят, что она добрая. Такая красота не может не быть доброй. Мелькает мысль, мгновение слабости: быть может, она заступится перед великим ханом за голубоглазого русского батыра?..

Шли долго и остановились под горами кавказскими, за рекой Терек, у города Титякова, близ ворот железных, у медного болвана златоглавые Темир-батыры могила. Там в обители принял схиму князь, и еще двадцать шесть дней провел в плаче и молитвах, вовсе обессилел и приехавшему к нему сыну завещал так:

«Держи, сыне, чисто веру православную».

В назначенный Всевышним день свершения его судьбы пришел некто и сказал, что идут сюда Юрий и Кавгадый и с ними множество народу.

— Да веси ли пошто идут?

— О, Господине княже, на убиение твое грядут!

Сына тут послал бежать к ханше, но те пришли и били и за древо, что на шее, взяли и мучили. Повесили на стену, но он, тяжелый, грузный, сорвался и упал. Вскочил, рванулся бежать, но повалили его и ногами били. И некто *имянем Иванец*, взявши за уши, бил головой о землю, а некто *имянем Романец* всадил нож в ребра, оборотив *сема и авамо*.

И великим голосом возопил и дух испустил и умер сей князь, был он муж велик ростом, силой могуч и мужествен, и во гневе взором страшен. От людишек тверских был любим, за всех же себя отдал и смерть принял.

Прошел год. И ровно день в день сын убитого, молодой княжич именем Дмитрий и прозвисьем: «Грозныя очи» убил своей рукой в Орде князя московского Юрия Даниловича, *мстя кровь отчу*.

Тогда Узбек-хан, который уже прежде гневался на Юрия и Кавгадыя, узнав о клевете, ими сочиненной, повелел верного своего



слугу Кавгадыя *мучити и ругати*, как тот мучил князя тверского. И на княжича Дмитрия разгневался, а заодно на всех тверских, называя ослушниками, и повелел того Дмитрия, убить за то, что он убил Юрия *без слова ханского...*

И был убит молодой княжич и положон рядом со своим отцом Михайлой тверским, тело его жена его Анна вымолила у хана, обменяв на тело Кончаки-Агафьи, а похоронили их в том храме над излучиной Тверцы. Князь же Юрий Данилович *положон бысть* в храме Михаила Архангела, а княгиня его Кончака-Агафья погребена в Ростове, в храме Святыя Богородицы.

Того же лета пришел из Орды *посол лют имянем Кокча* и убил сто двадцать человек у Костромы.

Того же лета был мор в Твери...

Смерть, смертынька с косою острою шастала по Руси. Мрак, ужас!

Того же лета *солнце погиге и бысть аки млад месяц...*

А-а-а-а-а!!

3.

*А-а-а, стать почитать, стать сказывать,
А в города все, пригородья все,
В бубны звонят, в горшки благовестят,
На полатях мужик с Орною лежит,
А не мил мне Семен, не купил мне серег,
Толко мил мне Иван, что купил сарафан.
Он положи на лавку, примеривать стал,
Он красной клни в середку вбил...*

Песня из сборника Кириши Данилова

Как-то погожим осенним днем в том городишке невеликом Миномем Москва, мимо речки, мимо вытянувшихся вдоль дороги разной величины и добротности домишков, шел человек. Был он не молод, но и не скажешь, что стар, ростом не высок, но и не мал, не красив, но и нельзя было сказать, что такой уж урод; одет не богато, но и не бедно, в одежде мирянина. Широкий плащ скрывал полнеющую фигуру, к поясу подвешен был большой кожаный кошель, а на голове надета шапочка-камилавка из темно-вишневого бархата,



местами потертого, вышитого бисером, наподобие той, какие носят татары в Орде.

Шел он, не поспешая, но и не замедляя шагу, а легко, ходко, и у одного домишка, не могучи встать, а только приподнявшись от завалинки, ему поклонился высокий, сухощавый старик.

— Здоров, Иван Данилов.

— А-а-а! И ты будь здоров, Иван Федотов. А я прошел, раздумался, тебя было не заметил. Богат будешь. Как нога-то? — спросил, присаживаясь рядом на завалинку.

— Плохо нога, Иван Данилыч. Гниет кость.

— Ну-у-у, авось, отойдет. А я всё думаю: когда ко двору моему придет Иван-то Федотов сын топориком помахать?

— Отмахался, стало быть. Ну, а ты-то как? Что слышно? Владыко-то Петр али всё болеет?

— Ох, ох, владыко, да, — махнул рукой гость. — Раскис совсем. Каменную, говорит, гробу себе заложу в Богородицыном храме и здесь в Москве граде помру.

— Ну-у-у. А сама-то как, княгинюшка-то? Здорова ли? — всё спрашивал любопытный старик.

Гость, слегка нахмуясь, отвечал скороговоркой, словно неохотно.

— Молодая, да. Что ей сдеется. Вестимо, здорова.

— Ну и слава те, Господи. А Семен-то слышал?


— Да знаю, слышал, — отвечал с досадой.

— А ты, люди гуторят, опять в Орду собираешься ли?

Гость тут сделался совсем озабочен, заторопился и той же скороговоркой отвечал:

— Кто брехню такую сказывает, язык тому оторвать. Али я враг себе али совсем дурак туды идтить? В целом своем уме? В своем, я говорю, здоровьи? Да мало ли наших приняло там смертушку лютую? От меча али зелья ихнего? Ну, а уж коли будет к тому нужда... — закончил, уже уходя, помахивая рукой.



—  х-хо-хо-хо-хо.
Се азъ худый, бедный раб Божий Иван Данилов сын прозвичесем Калита пишу грамату душевную, идя в Орду... (13)

— Эй, Епифан! Подь сюда. На вот тебе ключ, ступай, сам знаешь, куда, да приготовь мне к завтраму к утру:

Что два блюда динаров золотом да столько же серебром.

Коня с золотой уздой. Пять шкур белых зайцев... ан нет, пять шкур собольих.

Ткани аксамиту краснаго с шитыми золотом прозвичесами хана.

Шитый золотом исподний халат из белого атласу.

Да золотой кушак и шапку золотую.

Ну? Чего кривисси? Али жалко тебе добра моего? А меня тебе не жалко, что еду смерть за вас примать в Орду? Ну, сам посуди: на кого мне надеяться? Кто порадеет обо мне? Жена моя Елена, грех сказать, лапушка-голубушка. А и о чем подумывает, стара мужа в Орду провожаючи? А-а-а. Сыны мои, красавцы писанные, вона отца переросли, го-ордые. Всё не то им отец говорит, не так ступает. А сами-то не слышали, как воеет стрела татарская. Вот и выходит, на одного тебя вся надежа, что не пожалеешь добра моего. Ну! Жидовее Калиты быть хочешь?! Дурак. Сам знаешь, я задаром гроша медного не оброну. Ежели говорю, значит так надо. Всё приготовь к завтраму, как я сказал. Да, шапку-то золотую, ладно, оставь. Сеньке отдам. Ступай.

...идя в Орду никим не нужен, целым своим умом, в своем здорovyи. Аще Бог чего разгадает о животе моем, даю ряд сыном моим и княгине моея...

Княгинюшка! Еленушка! Голубка сизокрылая! Милое твое лицо. Так поглядишь — ничего особенного. Круглолица, курноса, веснушки. А для меня милее всех на свете. И речами приветными, и статью, и поступью плавной, всем белым телом мила. В каком краю, в земле заповедной тебя отыскал. И какова судьба твоя, что пошла за меня, старика. А то жила бы у себя припеваючи, забот не зная, землянику бы собирала в заповедном бору, рассыпью, на коленках, как в тот



первый раз, когда тебя увидел... Милая, добрая. Жалеешь меня. Не сердись, ежели ору. А на меня порой как находит: «и за что ей, — думаю, — любить-то меня?..»

Жене моей княгине Елене оставляю я Радонеж, Сурож да Данилищову слободку, сельцо Павловское, что под Суждалем...

Тебе, Семен, как старшему, приказываю меньших братьев и княгиню с дочерьми, будь им по Боге главным защитником.

Семен-от, да. Гордый стал. А чево тебе перед отцом, — так-то подумать, — гордиться-то? Ась? Маленький ласковый был. На девочку похож. И не было у отца вашего, веришь ли, другой нужи и большего счастья, как вырастить вас в довольстве и спокойствии. В наше-то времечко! Ох-хо-хо-хо... Вот и вырастил. Ничего не скажешь, что ростом высок, глаз остер, губы румяны.

Сыну моему Семену даю я вотчину свою Москву азъ есмь им раздел учинил, да Можайск, да Коломну, Мезынь, Песочну, да деревеньки Канев, Гжель.

Из одеж моих Семену назначаю шубу червленую с жемчюгом и шапку золотую. А еще из золота Семену четыре чепи, три пояса, две чаши да блюдо с жемчюгом и два ковши да серебром три блюда.

Золото княгинино отдал я дочери Фетинье: четырнадцать колец, новый сделанный мною складень, ожерелье матери ее, чело и гривну.

А мое собственное золото и коробочку золотую отказываю я княгине своей с младшими детьми.

А что есмь нарядил нынече да кожуха с аламы с женчюгом а то есмь дал меньшим детям своим Марье да Федосье ожерельям.

Кто нарушит грамоту оную Бог тому судия».

Да не забыть еще на слободке той вдовушке две чары да две чаши круглы да две гривенки от меня.

— Занят, Ваня?

— Нет, нет, входи, входи, владыко! Я дело уже окончил. А я как раз ждал тебя вот о чем спросить. Намедни видел я чудный сон. Приснилася мне гора высокая, каких нет в Руси, а на той горе сверху снег лежит. Всё вижу, как наяву, и дивлюсь, какова красота, снег бе-



лый, а небо розово. Только вдруг снег пропал, стоял. А за ним и гора пропала. К чему бы такой сон?

— А я тебе скажу, Ваня. Я разъясню тебе твой сон. Гора это ты, мудрый и благочестивый князь. А белый снег — я, седой старик. А что стоял тот снег, это смерть моя недалече.

— Да полно тебе, отче. Полно, говорю. Меня еще переживешь. Потому вот в Орду иду. Вот накропал граматку душевную. Всё бо в воле Божией. Хан-то опять сделался гневен на всех русских. Зовет. Вот и иду. Целым своим умом. В своем здорovyи.

— Не расстраивай меня, Ваня, не утешай столь жестоко. Сколько лет мы с тобой вместе, ты оберегал меня и защищал и от неправедного суда и от ересей. А сейчас, когда близок, чую, мой конец, ты меня бросаешь. Повременил бы ехать, — просительно, — а, Ваня?

— Нельзя не ехать, — вздохнул Калита. — Нос мой за лихие годы стал зело чуток, чует беду, гнев ханский.

Митрополит Петр опустил седую голову, взявшись обеими руками за посох.

— Сам знаешь, в какое время живем, не приведи, Господи, — продолжал уговаривать, — живем под игом. Огненной грозой обрушилась на нашу землю Орда. В открытом бою нам их счас никак не одолеть. В людях страх живет. А мы потихоньку, где хитростию али лостью. Они на это падки. Бог даст, выберемся. Глянь вот Москва-то какова стоит посреди разору всеместного! Народ ходит сытый да веселый, словно и не под татаровьями живем. Дети вона не слышали, как воеет стрела татарская!

— Я вот о чем, Ваня, думаю. Я умру...

— Ну, вот ты опять.

— А ты послушай, я дело говорю. Умру и кости мои в сем граде Москве оставит завещаю. Пусть знают, что Петр митрополит возлюбил сей город и его благочестивого князя. Род твой возвеличится! И другие святители захотят обитать здесь. Род твой возвеличится, и руки его взыдут на плеща ворогов наших...

— Вот и ладненько. И ладненько. А мы это дело сейчас спрыснем, проводишь меня в дорожку дальнюю. И закусточку княгинюшка соберет.

— Да мне же ничего нельзя.

— Да ладно, один-то раз, за компанию!



— Ну, разве за компанию.

— И Сеню позовем.

Старик привстал и что-то зашептал на ухо князю. Тот поморщился, махнул рукой.

— Ах, да, я забыл... Елена!

Женщина вошла.

— Что, мать, — ворчливо, — давеча просил мне сапоги приготовить, да не те, что с подковами, а войлочные, татарские, что пожаловал мне великий хан, небось, позабыла?

— Как же, батюшка, всё, как ты сказал, еще вечер приготовили.

— Ну-ну. А найдется ли в доме чего выпить да закусить, мужа проводить в дорожку дальнюю, не догадалась?

— Постарались, как же, батюшка. Есть блины и белорыбица, икорка. Мед, брагу сама варила, грибочков соленьких, как ты любишь.

— Ну-ну. Да, а Семен-то где? Где, спрашиваю, Семен-то?

Она потупилась.

— Виноваты, батюшка. Не доглядели.

— То-то что не доглядели. Вся Москва, вся, говорю, Москва-то языки чешет. Как придет, пришли его ко мне.

— Слушаю, батюшка.

Подошел к жене, поцеловал, погладил по гладко зачесанным волосам.

— Ну-ну, кроткая моя. Поберегитесь тут без меня... Береги себя, береги, — шепотом, — Ваню.

Она засмеялась, покраснев.

— Почем знаешь, что Ваню? Может, будет Маня.

— Маня уже есть! — захохотал, — Маня уже есть! Теперь будет Ваня!

Перед рассветом. Сильный стук в окно.

— Иван Данилыч! Иван Данилыч!

— Ась?! Кто?! Что там?! Али уже пора?! Петухи не кричали еще!

— Беда, князь! Беда!

— Елена?!

— Не. Спит княгинюшка.

— Так пошто ж ты, дурень, орешь, меня пужаешь?!



— Тверские-то, опять тово... Прибыл счас гонец оттедова едва жив. Говорит: татар, что у них стояли, побили, а посла ханского Щелкана в огне пожгли.

— Во-она, — помолчав, сказал Калита, — как я чувствовал! В огне, вишь, пожгли. А то дровишек нету у них, топить нечем. Тьфу, — сплюнул всердцах.

— И от хана гонец, — продолжали за окном. — Велено тебе тотчас собираться и ехать в Орду. Хан, сказывает, люто гневается на всех русичей.

— Как чувствовал, — снова пробормотал Калита, отходя от окна. — Это беда так беда. Удастся ли Москву-то отстоять? — и еще мелькнула мысль. — Опоздал!

И вдруг сразу успокоился. Одевался неторопливо.

— Так что ж, седлать что ль? — нетерпеливо за окном.

— Вестимо. Дай только штаны одену. Без штанов к хану неудобно.

4.

И снова Тверь старая, Тверь богатая. Морозит. Маленькое, холодное, рыжее солнце в синем небе. Бело и сине, мороз дышать не дает. Рыжие костры на белом снегу. У костров греются бородатые мужики в заплатанных зипунах, потопывают, по бокам себя похлопывают. А в кострах что ни головни, темные, большие, то тела татарские. В глазах у мужиков веселие и ужас.

Темноликие, сгорбленные старухи в платках, на костры глядячи, крестятся, запавшими ртами боязливо шепчут:

— Батюшки, что ж это такое деется? Погибли мы. Погибла Тверь. Нету нам теперь спасения. Хан грозился всю Русь смести с лица земли, как во времена Батыевы! Шлет войско великое на Тверь.

— А не слышали ли? Начальником тому войску ханом назначен и ту всю орду ведет на Тверь старую, Тверь богатую, наш, нашеньский, московский князь Ванька Данилов сын. Иу-у-уда-а-а!

Орда. Ночь. Спят все. Спит в шатре, обтянутом белым войлоком, великий хан подле своей жены хатуни Баялуни. Спят крепко, без снов, молодые батыры, на их гладких лицах застыла жестокая, спокойная радость перед завтрашним. В сердцах у них нет жалости.



И там, где завтра они пройдут, останется пустыня, так, *словно уже вчера здесь ничего не было.*

Спят, да не все. В большой избе, что с краю, в окнах темно, лишь светится огонек лампадки, озаряя темное золото образа. На полу перед иконой распростерт человек, землю пальцами скребет, плачет, слезы крупные, быстрые, бегут по темным морщинам, застревая в бороде, плечи трясутся, из груди вылетают хрипы и стоны да глухие рыдания.

Хан дал коварный приказ прибывшему Калите: ему вести на Тверь войско противу своих. Что делать?! Отказаться, — и самому смерть, и от Руси не отведет беды страшной, неминуемой. Один он сейчас в ответе перед Богом и перед людьми. А сил уже нету. Встал, шатаясь, постоял, словно прислушиваясь к чему-то. Нету сил, и всё тут. Легше умереть.

Так и вот же оно, вот оно, спасение! Умереть счас, сию минуту! Пожил на белом свете, Иване, ну и шабаш. Да, вот оно, облегчение великое! — заходил по избе, руками зашарил в темноте. — Не видеть, не слышать ничего, ни рыл мерзких татарских... Всё, всё, таперича без меня, и живите долго!.. А меня простите, моченьки нет.

В сени вышел, веревку нашел, потянул, отбросил: гнилая. Отвязал от пояса кожаную суму на плетеном шелковом шнурке, этот выдержит. Пододвинул лавку на середину избы, влез, принялся прилаживать петлю к крюку сноровисто, спокойно, словно занимался нужным и веселым делом. Приладил, еще постоял, перекрестился широко, трижды, вздохнул, просунул голову в петлю...

Тут сильный стук в окно заставил его, готового уже оттолкнуть ногой лавку, замереть. Вздрыгнул и дико в ту сторону воззрился. Стук повторился, еще громче, требовательнее.

«Кому б и быть об эту пору? — невольно подумал, весь трясаясь, всё еще медля вылезать из петли. — То не татарин, нет. Татарин так гвоздить не станет. Он мышью прошмыгнет, змеей подползет. Стало быть, свой? А и кому быть своему в орде об эту пору?»

Снова стук, но теперь уже в дверь, дубасили со всей силы ногой, словно хотели выломать.

— Эва, — проворчал, высвобождая голову и соскакивая с лавки, — помереть и то спокойно не дадут.



Ноги плохо шли.

— А, это ты, — молвил равнодушно и устало, выходя из темноты сеней и разжигая лучину. — Чево приперся-то к ночи? Здорово, сват.

— Дык к вам только ночью и иттить, а то днем как же, — отозвался, входя за ним следом широким, размашистым шагом невысокий мужичок в тулупе и валенках. — Здорово, сват.

Перекрестился на образ, окинул взглядом избу и, приметив отодвинутую от окна лавку и болтавшуюся петлю, крикнул.

— Садись, — молвил Калита, — да говори же, каким ветром занесло? С какою вестью? Доброю али злою? А уж столько зла совершилось, боле не принимает душа!

— Да уж, с вестью, — отвечал важно гость. — И не с одной, а с двумя. Прибыл я к тебе, сват, с великой радостью и с великой печалью. С чего прикажешь начать?

— Ну, давай чего похуже. Вали, всё одно.

— Декабря в двадцать первый день, — начал, сняв шапку и крестясь, — преблагой и преславный наш Петр митрополит...

— Батюшки, неужто помер?! —

— Отошел в ночь со слезьми к тебе взываше и благословляше.

— Господи, на всё воля Твоя, — оба, крестясь, — святая, истинно святая душа. Ну, царство ему небесное! А не дождался меня.

— Тебя дождешься, — проворчал поздний гость и продолжал. — Как завещано им было, положон в Москве, в Богородицыной церкви *ю же сам нача соиздати.*

— Ну, а еще-то что? — нетерпеливо спросил.

— А еще вот что, сват. У княгинюшки твоей сын родился. Нарекли Иваном. Славный мальчонка. Весь в отца.

— Да неужто?! — вскричал в невольной великой радости. — Вот уж весть так весть. Спасибо тебе, сват. Вот уж точно сказать: во время ты пришел!

Оба покосились на болтавшуюся петлю.

— Сама-то как? Здорова ли?

— Бог милостив. Оправилась, здорова. Всё меня отговаривала в ночь ехать. А у меня сердце как чуяло. Нет, говорю, матушка, еду сей же час. Как чуяло сердце, что ты тут... Грех, сват, великий грех ты задумал. Не ждал от тебя.

Помолчали.



— Не могу, веришь, сват. Один я перед всеми вами. Как на свет белый глядеть, на своих рати поганных вести!

— А ты боком, сват.

— Чавой-то?

— Ну, боком, говорю. В обход Московушки. Всё равно всем не уцелеть, ты об том подумай.

— Думал уже. От тех думушек мне не легче.

— Тверские-то, головы горячие, неразумные, пошто себя погубили, послушались неумного совета молодого князя. Их не спасешь. Спаси хоть нас, людишек московских от огня и разорения, подумай о княгинюшке твоей и о сынах твоих! А все знают на Руси, один есть человек, которого сам хан жалует и дарует своей милостью. Имя тому человеку Иван Данилов сын прозвисящем щедрая Калита. Спаси нас в лютый час от гибели неминучей и страшной, — встав, поклонился в пояс. — Спаси Москву, помни, что завещал, уходя от нас, Петр митрополит! Ну, Ваня!

В темной ночи при свете лампадки сидели рядышком на лавке и тяжкую думу думали в лихую годину два мужика.

— Поздно уж сват. Пора тебе. Скоро светать начнет.

— А то хочишь, с тобой до завтра останусь?

— Нет уж, — вставая и распрямляя плечи, — молвил Калита, — один, Бог в помощь, управлюсь. Прав ты, сват. Во время прибеж, ум-разуму научил.

— Нет нужды, — спокойно, — у тебя у самого разума хватает.

— А и что за рожу скорчил бы хан, тебя, сват, поутру увидавши! Кланяйся всем нашим. Да прощенья проси, дескать, Ванька прощенья просит у народа. Не поминайте лихом, ежели что. Такая злая, видно, моя судьба. Елене скажи: пуцай ждет. Пора, сват. Прощай.

Обнялись недолго, крепко, пряча глаза, как прощались в те лихие времена, всякий раз не зная, доведется ли еще встретиться на этой земле.

Длинна ты, ночь, темна ты, ночь, непроглядна, нескончаема.



5.

О, светло светлая и украсно украшенная Земля Русская!

«Слово о погибели Русской земли»

Март. А метелит. Ветер вольно гуляет по безлесой равнине, по белой пустыне. Ни жилья вокруг, ни запаха человеческого. Лишь иногда принесет ветер запах гари и паленого мяса. Всё. Погибла Русь.

Позади всё. Отмучилось, отплакалось, отшумело, отгремело, отболело. Снова тучей прошли татары по Руси, как прежде, во времена Батыевы. Они не оставляли после себя ни одной живой души. Умерщвляли мужчин и женщин, стариков и младенцев, вспарывали животы беременным и умерщвляли плод. Они останавливались в местности, деревне или городе, и не уходили, пока не разрушат всё, церкви и дома, и кладбища, сравнивая с землей, так, *словно уже вчера тут ничего не было.*

Они дошли до Твери, старой, богатой, постояли под ее мощными стенами, предлагая жителям сдаться и обещая им пощаду. После взяли приступом, а войдя в город, сожгли, разрушили и перебили всех. Со стены города, объятай пламенем, некто безымянный стрелял в Калиту. Его спас пришедший из Киева с молодой дружиной боярин Родион Несторович. Половина Руси, погибая, прокляло имя московского князя иудюю.

Март. А метелит. Отмучилось, откричалось, отболело и успокоилось всё. Пусто вокруг, будто не осталось на земле ни одной живой души. И такая вокруг тишина, страшная, невыносимая! Один по обледенелой дороге, по белой пустыне едет в дровнях Ванька Калита. Да и он жив ли? Не смертынька ли глядит из провалившихся глазниц? Снег за ворот ветром зашибает, холодно. Значит, жив еще. Возница всё оглядывается.

Еще на пути деревенька пустая, из-под снега торчат обгорелые срубы. Около одной из изб шевелится что-то. Старуха стоит у телеги, разбирает тряпки, на них кровь. Лицо бледнее снега, сама не то что тоща, а бесплотна. Даже не обернулась поглядеть, что за люди едут, глаз не подняла. Жутко опять стало Ванятке. Сколько за жись свою,



особливо за последние месяцы видел кровушки, а вот теперь не принимает душа ни слезинки, не кровинки-и-и!

Вахрамей, черт старый, чего всё оглядываешься! Ай, боишься замерзну, окачурюсь при дороге? Беды в том мало будет.

Дальше едут. Куда путь-то держим? А, не всё ль равно? Вдоль дороги рошица, тоненькие осинки гнутся под ветром. У колеи лежит вмерзший в сугроб мертвый татарин. В колеях снег, а по верхам оголившаяся, застывшая рыжая земля. Вот неторопливо через колею перебирается черно-белая сорока, помахивая длинным хвостом.

Почудилось ли вдруг что-то...

— Эй, стой, Вахрамей! А ведь жива она, землюшка-то родная! Ой, чую, что жива! Не погасла свеча! А и Москва-то стоит целехонька! Стой, говорю!

Возница хмыкнул, вожжи натянул, а Калита спрыгнул с саней, побежал назад, добежав до убитого татарина, стянул с того лисий треух, повертел, понюхал: «Хорошая шапка, сам не сношу, кому отдам».

Холодно. Скоро уж смеркаться начнет, день клонит к вечеру, долгому, студеному. Впору бы подумать о ночлеге, замерзнем так-то в степи. А какой ночлег в снежной пустыне с погорелыми деревеньками.

Вот еще на пути изба стоит покосившаяся, но целая. Вроде в одном окне огонечек мелькнул...

— Постой, Вахрамей, погляжу, али там есть кто живой?

В избе студено, нетоплено. А и откуда быть теплу? Ни запаха человеческого. Али почудилось? Прошел из сеней в горницу и не сразу увидал: в темном углу под иконой сидят на лавке у стола двое, старик, весь убеленный сединами, и молодой, оба в рясах. Божьи люди. Старый вроде пишет чего-то, а молодой растирает в ступке, должно быть, краску для письма. Калита взошел, они и головы не подняли. А он обрадовался: вот и ночлег, вот и печь целехонька, и дровишек завались, а у него в телеге под рогожей пять тушек бараньих, пожалованных ханским темником, вот и этих-то двоих уцелевших будет чем, не чем-нибудь, а царским ужином накормить! А косточек собачкам, ежели найдутся, поглотать! Кормить было любовью и заботой Калиты, будь то человек или тварюшка бессловесная, котенок или пес бездомный... Потому, жалостлив от природы он был, князь московский.



Осторожно ступил, закрипела под ним половица, старик поднял голову, вперившись взором в пришедшего. И трубный голос, вырвавшись из тщедушного тела, прозвучал.

— Пришелец! Я не спрашиваю тебя, кто ты. Я подумал, что ты тень, каких немало, бесприютных теней, скитаются по дорогам. Но я вижу: се человек. А я думал, что в Руси уже не осталось никого живых, кроме меня и моего товарища, но и нашего дыхания осталось мало, ровно настолько, чтобы всё происшедшее описать... Слушай! Слушай!

О, ты, светло светлая и украсно украшенная земля Русская! Дивна многими красотами, озерами глубокими, реками многоводными, дубравами частыми, горами крутыми, птицами бесчисленными, зверьками различными, городами величыми, селами богатыми князьями грозными и болярами честными... (1) — звук, похожий на всхлип или рыдание, вырвался из груди говорившего, но он продолжал.

— Я тебе расскажу, пришелец, что я видел своими глазами. Господь меня спас, я схоронился в соломе, Он меня спас, чтобы я рассказал людям обо всем *в наставление и память всем пользоваться*. Они убивали всех подряд. Из дома, где я был, они выволокли человека, а он просил у них пощады и кричал: «Нет, ради Бога!» Они убили его и при этом весело смеялись и повторяли: «Нет, ради Бога». Бога, которого они не знают. Истинно настало время, о котором сказано в Писании:

И пошлет на тебя народ издалека, от края земли; как орел, налетит тот народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши... (Иер. 5:15).

Тут молодой поднял голову и уставился куда-то вбок безжизненным, белесым взором, словно силясь разглядеть, и Калита подумал со страхом: «Батюшки! Слепой!» И заговорил пересохшими губами, перебив речь старика.

— Жива, жива она, Русь, отец. Есть еще люди в ней. Я вот издалече еду...

Старик, не слушая, продолжал.

— *...он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынею; города твои будут разорены, останутся без жителей...* (Иер. 4:7).

— Не погасла свеча!



— Истинно говорю, последние времена пришли, сами мы навлекли на себя гнев Божий и грозу губительную. Брат пошел на брата, племянник на стряя, смерд поднял руку на боярина. А еще родился в Руси новый каин, мерзостный иуда, что повел поганых на своих же, имя ему Ванька каин, князь московский, *лицем мерзок, сердцем подл...*

Тут молодой руку поднял со скрюченными пальцами, словно желая схватить, лицо его исказилось, губы раскрылись, издав нечленораздельное мычание... Калита затрясся весь, вылетел вон из избы.

— Гони, Вахрамей! Гони-и!!

И всё звенело в ушах: «Лицем мерзок. Сердцем подл!»

Совсем стемнело. Серая равнина слилась с темной мутью неба в одну непроглядную мглу. Метель вроде поутихла, но мороз крепче ударил.

А потом стало спокойно. Как во сне. Или в смерти. Видения замелькали смутные, бессмысленные. Вяло подумалось: то ли вправду смертушка моя пришла? Сколько уж раз за последнее время глядела ему в лицо, и сейчас даже привиделась, тихо подкравшись, пугающая и жутко манящая, черно-фиолетовая... Она до ужаста была проста... Утро вот придет, и всё будет опять, и белая равнина, и тот страшный старик, и черно-белая сорока... Только его не будет.

Задремал седок, и предательски ласковый, смертный холодок уже подкрадывался к самому сердцу... Но вот через плотную, застлавшую веки мерцающую мглу и покой — прорвалось что-то земное, грубое, не дававшее уснуть. Калита ощутил боль и, проснувшись, высвободившись из-под засыпавшего его снега, с усилием разняв заиндевевшие, смерзшиеся веки, не сразу признал своего возницу в здоровенном черном мужике с заснеженной бородой и бровями, а тот колошматил его со всей силы по плечам и спине.

— Ай! Вахрамей, черт сиволапый! — вскричал, прикрываясь руками. — Спятил ты что ли?! Чаво дересси?! Я и не думал спать, дурья ты башка! Так, задремал. Ай, приехали куда? Да не Москва ли?! Ан нет, до Москвы ох как еще далече!

Проснувшись окончательно, увидел невдалеке, в глубокой тьме, слабые огоньки, расслышал неясный шум, вскрикивания... Господи! Чавой-то там орут-то?! Али опять плачут?! А не принимает больше душа ни слезинки, ни кровинки-и-и!



Ближе подъезжаем. Да что там, в самом деле, такое деемся?! Кричат, плачут... али смеются? Поют?!!

Когда подъехали к избе, огороженной высоким забором, разглядел еще у крыльца упряжку коней, украшенную лентами и бумажными цветами.

Да никак, свадьба?! Вот уж нашли время! Будто и не под татаровьями...

От темноты отделилась незамеченная ими ранее высокая фигура. Здоровенный парнище в распахнутом черном полушубке взял лошадь под узду, завел под плетень, на крыльцо взошел и так же, ни слова ни говоря, пригласил жестом гостей пройти. Сверкнула в черноте белозубая улыбка. Калита, помедлив, проходя, в лицо парню заглянул и подивился: «Вона! Откуда такие красавцы молодцы еще беруща!»

И впрямь, то была свадьба. Широкая горница с низким потолком и занавешенными оконцами была тесно уставлена столами и лавками, так что не пройти, и плотно усажена гостями. Вон и жених с невестой под образами. Раздышался Иван, втянув в себя людный, душный, спертый, с запахами еды и питиев и пота воздух, перекрестился и, поклонясь честному народу, придя в себя, примолвил привычной скороговоркой:

— Здравствуйте, люди добрые! Да не мало ли вас, не надо ли нас?

От стола засмеялись. Встал невысокий, седенький, с виду щупловатый, в черном кафтанишке с подколотой бумажной алой розой, отвечал хмельно и лукаво:

— Здравствуйте. Проходите да не хвастайте.

— Благодарствуйте. А нам бы только с дороги обогреться малость, а у вас тут пир горой, а мы получаемся как незванные гости, что, как говорится, хуже татарина...

— Ан, нет, не хуже, — заготовали за столом.

— Коли так, то с морозу да с ходу позвольте вас почествовать и женишка с невестой одарить, чем в лихую годину Бог послал, — приговаривал Калита, развязывая суму.

Прошел мимо видно, что парень, срамно одетый бабою, в широком, пестром сарафане и с намазанными свеклой щеками, приседая и жеманничая, под общий хохот заглядывая в суму.



— Что ж, спаси вас Бог, — приговаривал седенький, — да уж и вы не спешите, сделайте нам честь, посидите, в такую-то пургу да стынь пущай одни татары ездют. А что, путнички, — продолжал, — не обидьтесь, ежели спрошу: куда путь-дорогу держите и по какой такой надобности в лихую пору?

— В Москву спешим, в Москву, куда ж, — отвечал всё той же скороговоркой Калита, вынимая и раскладывая на столе подарки, мешочек с монетами и ожерелье из самоцветов для невестушки, а еще одно такое припас для Елены.

— Спаси вас, Бог, — приговаривал старик. — Вы, стало быть, тамошние, московские?

— Оттедова. Сын вот у меня там нонече родился, а я его и не видал.

— Радость для тебя, проезжий человек, великая, — продолжал, приглядываясь к гостю. — А как назвали сына-то?

— Как меня, Иваном. Да вот, почитай, то ли с дороги сбились, не знаем, далеко ли ехать осталось?

— Близо ли, далеко ли, — протянул старик, — а еще тебя спрошу, не обессудь. Имя у тебя славное. Как у князя нашего. Да уж не ты ли будешь самый, князь московский. Ась?

— Ну, я и есть, — хмыкнул в бороду Калита и тут же спохватился, припомнив услышанное в другой, холодной избе: «лицем мерзок, сердцем подл...»

(«Ай-яй-яй, кто за язык дернул! Сморозил ты, Ванька! Обругают, прогонят! Да еще, пожалуй, побьют...»)

Оглянулся на дверь. Там всё тот же парень в распахнутом полубубке стоит, белозубо улыбаясь. Батюшки, светы! Встают!

Еще успел подумать: кабы бить собирались, то встали бы молодые...

От стола поднялась высокая, величавого вида старуха, заговорила спокойно, властно, нараспев, и всё стихло, лишь легкий вздох-шелест прошел, как, бывает, ветер пронесется над верхушками колосьев.

— Хозяева милые, и вы, гости дорогие! Светел ли месяц сквозь тучи выглядывал, лазоревы ли цветы под снегом распустились, радость великая к нам пришла в светлый час. Гостем на празднике нашем кто един в лихую годину наш заступник и радетель, спаситель наш, Иван князь Данилов сын, прозвисьцем щедрая Калита, поклонимся ему!



Кланяйтесь ему труженики землепашцы, кабы не он, вам бы не видать возвращенного вами хлебушка.

Кланяйтесь ему и вы, купцы заезжие, кабы не он, вам не ходить из села в село с товарами.

Кланяйтесь ему жених с невестою, кабы не он, вам бы не радость, а горе грести лопатою!

Поклонитесь ему низко хозяин с хозяйкою, кабы не он, вам бы не знать отрады, малых внучат!

Кланяйтесь ему, девы юные, кабы не он, вам бы не сохранить себя для суженого, ходить опозоренными.

Поклонимся же ему и мы, старики, кабы не он, то помирать бы нам на снегу смертью лютою.

Пока говорила, что-то подкатило к горлу, только выговорил хрипло: «Да я вот...» — шапку сдернул с головы, и видно стала на сивых, слежавшихся кудрях белоснежная, как поляна в зимнем лесу, седина. Вдруг понял, что плачет, впервые после той страшной ночи в Орде, не скрываясь и не стыдясь перед людьми, не утирая слез, они струились по потемневшим, запавшим щекам, как оттаявшие бурные ручейки бегут из-под сугробов. Он плакал навзрыд, так что тряслись его плечи и руки, захлебывался слезами и шмыгал носом, и вот представилось ему, что не муж он умудрен годами, а маленький Ванятка и плачет оттого, что не дали ему пряника, а кто-то из старших, подойдя, утешает: «Поплачь, Ваня, поплачь, полегше будет...» Глянул вбок, — старуха та вышла из-за стола, подошла к нему и приговаривает.

Как накатило, так и отпустило. Вздохнул, втянув с шумом воздух, утерся. Поглядел, обомлел: да откуда такое берется?! К нему, покачивая станом и улыбаясь, шла молодлица в цветастом платке на плечах, а про таких только в сказке сказывается: «ни словом сказать, ни пером описать». Поднесла ему чарку на подносе и, глядя в глаза, усмехаясь, ждала. Калита чарку выпил, рукавом утерся, крякнул, осторожно, как к чуду или к иконе, приложился к ее прохладным, упругим губам. И — пошло, поехало. Только успел сказать: «Возницу моего не забудьте», — пролезая и садясь между красавицей молодицей и дюжим рыжим мужиком.

Старик с цветком мигнул парню в полушубке, и тот исчез за дверьми. И-и-эх!



Полюбил меня молоденький попок,
Подарил мне полторы рубли платок,
Мне платок носить-то хо-чи-ца,
А попа любить не хо-чи-ца!
Ай не мил мне Семен, не дарил мне серег,
Толко мил мне Иван да купил сарафан! (11)

— Шумно живете, — покачал головой Калита, — словно и не под татаровьями.

— А кчто ж, у нас вон свой, — меланхолично отвечал рыжий мужик.

А парень, срамно одетый бабою, прошел, приплясывая, в угол просторной избы и, нагнувшись, выволок из-под лавки вусмерть пьяного татарского баскака в лисьей шапке, кривляясь, делая неприличные жесты, так что весь стол изошел слезами и стоном, поплевал тому в рожу и снова ногой под лавку задвинул.

— Шумно живете, — снова повторил Калита и почему-то вздохнул.

Запели за столом. Господи, до чего хорошо они пели! Стройно, сдержанно-сурово, многоголосо, словно это широкая, полноводная река несла воды свои в берегах посреди равнины; сперва красиво, звонко разлились женские голоса, за ними не сразу, но вдруг вступили слаженно, негромко, чтобы не заглушить, со сдерживаемой силой и неожиданной доверчивостью, голоса мужские, женские притихли, прислушиваясь, давая им дорогу, вдруг взмыли звонче, ярче, слились, обнялись...

И снова утро. Метель давешняя улеглась, словно и не было вчерашнего, никаких предсмертных мечтаний. Солнце в небе пригревает по-весеннему и ест снег, оголяя еще больше рыжую землю по верхушкам колеи.

Пора в путь. Вышли проститься, руками, шапками махали, крича все разом и неразборчиво, желали доли, легкой дороги... За деревней, как выехали, опять наткнулись на вмерзший в снег труп татарина, а вокруг ребятишки прыгают, орут:

— Татарин, барин, кошку ожарил!

— Ах, бесенята, — проворчал Калита, на ходу вывалился из саней, погнался, они со смехом от него врассыпную в разные стороны.



Поймал одного, самого маленького, застрявшего огромным, не по росту, валенком в сугробе, нахлопал, а тот со смеху на снег лег. Калита достал из-за пазухи вчера снятый с убитого басурмана лисий трех, нахлобучил мальчонке на голову и отпустил, а тот сиганул, поддерживая обеими руками трех.

— Да, — примолвил еще, рассуждая сам с собою, идя следом за саянями и вдыхая всей грудью пронизанный солнцем морозный воздух, распрямляя косточки, — вот сколько уже раз, не припомню, с жизнью прощался, а, слава, те, Господи, покуда жив остался. А чем я щас жив, это что вчерась они меня не осудили, а приветили и за стол усадили и потчевали, а я, худый раб божий Иван Данилов что сидел, да ел да пил да байки ихние слушал и сам рассказывал, не помню, о чем, и славно так всё было, и пел дохрипу да пил допьяну от чистой... российской... совести.

А те вот махонькие, — а они и не слыхивали, как воеет стрела татарская, — али дети их али внуки выйдут на поле, имя которого нам неведомо, прогонят черную тучу с нашей земли. Толко нам с тобой, Вахрамей, этого не увидеть, не дожити. Ох-хо-хо-хо.

*Как издалеча еще было из Волынца города изгалечья
Как есен сокол вон вылетывал, как бы белой кречет вон выпархивал,
Выезжал удача добрый молодец, а конь под ним как бы лютой зверь,
Он сам на коне как есен сокол, крепки доспехи на могучих плечах,
Куяк и панцырь у него чиста серебра, а колчуга на нем красна золота
А куяку и панцырю цена стоит насто тысячей,
А той колчуге красна золота цена сорок тысячей,
Шелом на буйной голове замычетца, а тому шелому цена три тысячи,
Копье в руках марзамецкая как свеча горит,
В левой бедре припоясана сабля вострая,
Еще с ним лук тугой разрывчатой, а цена тому луку три тысячи,
И колчан с ним каленых стрел, а в колчане было полтораста стрел,
А и конь под ним как лютой зверь, цены коню сметы нет,
А потому ему сметы нет, за реку броду не спрашивает,
Он скачет конь зберегу на берег.*

Из сборника Кириши Данилова



ПРИЛОЖЕНИЯ





Указатель имен исторических лиц

1. Александр Ярославич Невский (1221–1263), сын Ярослава, внук Всеволода Большое Гнездо, правил в Новгороде с 1238 года. Это был второй год монголо-татарского нашествия, уже разорены были города в Южной Руси, была разорена и сожжена Рязань, разорению подверглась Москва, где в это время сидел молодой князь Владимир Юрьевич, сын великого князя Юрия Всеволодовича. В феврале 1238-го Орда подошла к Владимиру. Войско Юрия Всеволодовича было разбито в битве на реке Сити, сам князь погиб. Брат Юрия Всеволодовича, новгородский князь Ярослав уехал во Владимир «трупы собирать», оставив княжить в Новгороде своего юного сына Александра. В это тяжелое для Руси время опасность грозила не только от Орды, но и от западных стран. В 1240 году Александр с дружиной разгромил шведов на Неве, за что «Обрадованное наше горестное Отечество дало Александру славное прозвище: Невский» (Н. М. Карамзин). Он одарен был «необыкновенным разумом, мужеством, красотой величественной и крепкими мышцами Самсона». В следующем году Орден немецких рыцарей вторгся на русскую землю, немцы дошли до Пскова. 5 апреля 1241 года войско Александра билось с рыцарями на льду Чудского озера. Битва была яростной, от треска стalkerивающихся копий казалось, что тронулся лед, да и льда не было видно из-за крови. Семь верст воины Александра гнали рыцарей по льду озера. В историю эта битва вошла как Ледовое побоище. Побеждал Александр и войско княжества Литовского, только в открытую битву с Ордой не вступал, ездил договариваться с правителями, ханом Батыем, Мункэханом. С 1248 года принял великое княжение владимирское. Умер в Городце на Волге, возвращаясь из очередной поездки в Орду. Перед смертью принял монашеский сан и имя Феодор.

«Чада моя милая, разумеите яко заиде солнце Русской земли», — возвестил перед народом митрополит Кирилл, ответом ему было «уже погибаем».

Александр был погребен во владимирском Рождественском монастыре; при Петре I мощи его были перенесены и захоронены в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. Из сыновей Александра Дмитрий унаследовал великое владимирское княжение, Василий сидел в Новгороде, Даниил — в Москве. (7)



2. Андрей Юрьевич Боголюбский (ок.1111–1174), сын Юрия Долгорукого и его первой жены, дочери половецкого хана Аепы. Правил в Вышгороде, после смерти Юрия унаследовал великое киевское княжение. Перенес столицу Руси во Владимир на Клязьме в 1157 году. В условиях феодальной раздробленности, существования многих княжеств на Руси, начал процесс «собирания земель». Воевал с новгородцами, вышгородцами, волжскими булгарами, его называли «самовластцем всей Русской земли».

«Несмотря на свою удаль, Андрей не любил войну» (Ключевский), он был чрезвычайно набожен. Из монастыря в Вышгороде он вывез чудотворную икону Божьей Матери, писанную, по преданию, евангелистом Лукой. Андрей ввел на Руси праздник Покрова св. Богородицы 1-го октября, которого не было ни на латинском Западе, ни на греческом Востоке. Праздник основан был на легенде о Константинопольском чуде 910 года, когда св. Андрею Константинопольскому, Христа ради юродивому, было видение во время моления в храме. Ему привиделась в расступившихся столпах Богородица, простирающая над молящимися свой покров — омофор.

Андрей Боголюбский украсил свою новую столицу, окружив Владимир земляной крепостью с двумя воротными башнями, выстроил Успенский собор и церковь Покрова на Нерли. Он был убит в результате заговора бояр в своем замке в селе Боголюбове под Владимиром в 1174 году. Канонизирован в 1702 году в лике благоверного.

3. Василий Иоаннович III (1479–1533), сын Иоанна III и Софии Палеолог. Продолжал политику своего отца по собиранию русских земель, присоединив к Москве Псковское и Рязанское княжества. Воевал с великим княжеством Литовским. Первый стал официально именовать себя царем и самодержцем Всея Руси. Правил в Москве с 1505 по 1533 годы. Первым браком был женат на дочери незначительного боярина Соломонии Юрьевне Сабуровой, которую впоследствии сослал в монастырь за бездетность, женившись вторым браком на литовской княжне Елене Глинской. От этого брака родился сын Иоанн, будущий царь Иоанн IV, Грозный.

4. Владимир Святославич Красное Солнышко, Креститель Руси, (ок.960–1015), сын Святослава Игоревича, внук Ольги. В междоусобной войне с братьями одержал победу над киевским князем Ярополком и правил в Киеве с 978 по 1015 годы. Успешно воевал с поляками и волжскими булгарами, присоединил к Руси новые города, «нас свою



землю правдой, мужеством и разумом». Это было время, когда христианство во всем мире завоевывало умы и сердца. Русь же пребывала в язычестве, хотя и здесь появлялись уже первые христиане, христианкой была княгиня Ольга. Владимир был язычником и, увенчанный победами, он воздвиг в Киеве на холме статую Перуна громовержца. По обычаям язычества он имел много жен, одной из них была полоцкая княжна Рогнеда (ок.960 — ок.1000). Сменить веру Владимиру предлагали волжские булгары (мусульмане), латиняне и хазарские евреи. Послы Владимира, посланные узнать: *«Кто, где и како верует»*, отозвались так о мусульманах: *«Став там без пояса, сделав поклон, сядет и туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их»*. И о латинской вере: *«Видали в храмах различные службы, но красоты не видели никакой»*. В Византии же, в храме Софии Премудрости Божией, *«не знали, на небе или на земле мы... знали только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах»* Согласно приговорили и бояре: *«Если бы был худ закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из людей»*. Владимир крестился в греческую веру с боярами и дружиной в Корсунь (Херсонес), а в 988 году крестил всю Русь от Новгорода и до Киева с землями Ростовской и Суздальской и Залесской. В крещении принял имя Василия.

При Владимире началось каменное строительство на Руси, возводились храмы на месте языческих капищ. В Киеве в 19 веке был возведен храм Равноапостольного князя Владимира

5. Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125), внук Ярослава Мудрого, крещен был Василием, по материнской линии — внук византийского императора Константина Мономаха, князь Смоленский, Черниговский, Переяславский, Великий князь киевский с 1113 по 1125 годы. В его княжение византийским императором Алексеем Комнином были переданы в Русь дары: золотая цепь, венец и бармы Константина Мономаха, сердоликовая чаша кесаря Августа и Крест Животворящего Древа. Он оставил **«Поучение детям»**, в котором, перечисляя свои подвиги, об одном из них говорит: *«Я прошел через леса вятические»*. Там на высоком берегу реки Клязьмы в 1108 году заложил крепостцу и дал ей свое имя: Владимир. Прославился своими подвигами, личной храбростью, *«на охоте и войне, днем и ночью, в летний зной и зимний холод не знал покою... Два раза буйвол метал меня на рогах, олень бодал, лось топтал ногами... Сколько раз падал я с лошади! Дважды разбил себе голову, повреждал руки и ноги, не блюдя жизни своей и не щадя головы своей»* (Из «Поучения детям»).



6. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1154–1212), сын Юрия Долгорукого и его второй жены, греческой принцессы. Был крещен Дмитрием, этим именем Юрий назвал новый основанный им город Дмитров. Прозвище свое получил за многочисленное потомство, восемь сыновей и четыре дочери. Правил во Владимире с 1176 по 1212 годы после убийства своего сводного брата Андрея Юрьевича и недолгого правления Михалко Юрьевича. Эти годы правления Всеволода, последние мирные годы на Руси перед монголо-татарским нашествием, были периодом расцвета Владимиро-Суздальской земли. Об этом князе говорили, что он «Волгу может веслами расплескати, а Дон шеломами вычерпати».

7. Даниил Александрович, сын Александра Невского, первый московский князь, он «возвеличил достоинство владетелей московских и первый из них погребен был в сем городе, в церкви св. Михаила, оставив по себе память князя доброго, справедливого, благоразумного и приготивив Москву заступить место Владимира» (Н. М. Карамзин).

8. Джованни дель Пьяно Карпини (1182–1252), итальянский монах-францисканец, был послан папой Иннокентием IV в империю монголов. Выполняя свою главную миссию — выяснить дальнейшие намерения завоевателей, одновременно изучал их быт и нравы и впоследствии описал в своем труде «История монгалов, именуемых нами татарами».

«... татары, напоставшись день или даже два, напевают так весело, будто бы были после вкусного обеда», они «горды и надменны с иностранцами и ни во что не ставят человеческую жизнь». Вернулся в Рим в 1247 году.

9. Димитрий Иоаннович, сын Иоанна II, внук Калиты. Заслужил прозвище: Донской после победы над татарами в кровопролитной битве на Поле Куликовом в 1380 году. Благословил его и предсказал победу Преподобный Сергий Радонежский, пославший в войско Димитрия двух монахов из Троицкой Лавры, Пересвета и Ослябю. При Димитрии была выстроена вокруг Москвы белокаменная стена взамен обветшавшей к тому времени дубовой стены Ивана Калиты. Годы его правления в Москве с 1363 по 1389.

10. Иоанн I Данилович Калита (ок.1283–1340), московский князь, сын Даниила Александровича, получил прозвище Калита, по наиболее распространенной версии, за то, что носил при себе мешочек с мелкой монетой для одаривания нищих. Много сделал для возвеличения города, при нем в Москву была перенесена «митрополичья кафедра»,



выстроен первый дубовый Кремль с собором Успения Богоматери. Получил в 1332 году ярлык на великое владимирское княжение от Узбек-хана, приказавшему Калите идти с 50-тысячным ханским войском на Тверь, где тверичи восстали и убили ханского баскака. Во время этого похода были сожжены многие села и города, перебито множество народу, «положили пусты всю землю Русскую». Устояла Москва. После вспышки кровавых событий при Иване Калите «мир и тишина воцарились в северной России» (Н. М. Карамзин).

11. Иоанн II Иоаннович, сын Ивана Калиты, по прозвищу Кроткий или Красный, правил в Москве после своего брата Симеона Гордого с 1353 по 1359 годы. Княжил шесть лет и умер в монастыре в 1359 году.

12. Иоанн III Васильевич (1440–1505), сын московского князя Василия Васильевича, объединил вокруг Москвы значительную часть русских земель, присоединив Ярославль, Ростов, а в 1477 году завоевал Новгород, где снят был вечевой колокол и привезен в Москву, было покончено с новгородской вольницей. При этом государе произошло окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига после знаменитого «стояния на Угре» в 1480 году, век спустя после Куликовской битвы, когда два войска, русское и татарское, простояв одно против другого по разные стороны реки, ушли каждое восвояси. Первой женой Иоанна была Мария Тверская, от нее был сын Иоанн и дочь Александра. После смерти Марии женился на наследнице византийских императоров Палеологов, царевне Зое, которая в Руси стала именоваться Софией. После падения Византии в 1453 году и гибели византийского императора Константина XI Палеолога к России перешел герб Византии двуглавый орел, а Москву стали именовать «Третьим Римом». «Изумленная Европа, в начале царствований Ивана III едва замечавшая Московию, стиснутую между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромного государства на ее восточных границах» (Карл Маркс).

13. Михаил Ярославич Тверской (1271/2–1318), сын Ярослава Ярославича, племянник Александра Невского, князь тверской, великий князь владимирский. Во время неудачного похода Юрия Даниловича против Твери пленил его жену, сестру хана Узбека, которая в плену умерла. После этого заслужил немилость хана, был вызван в Орду и там казнен в 1318 году.

14. Симеон Иоаннович по прозвищу: Гордый, сын Ивана Калиты, правил в Москве с 1343 по 1353 годы «твердой рукой». Вследствие относитель-



ного спокойствия, воцарившегося на Руси, при нем отмечаются культурные достижения. В Москве были расписаны Успенский и Архангельский соборы и храм Преображения греческими и русскими живописцами.

15. Юрий Данилович, сын Даниила Александровича, брат Ивана Калиты. Получил от хана Узбека ярлык на великое княжение в 1317 году, женившись на его сестре, которая приняла христианскую веру. Неудачно воевал с Михаилом Тверским, был убит в Орде в 1325 году сыном Михаила Дмитрием по прозвищу: «Грозные очи», который отомстил Юрию за смерть отца.

16. Юрий Владимирович Долгорукий (ок.1090–1157), сын Владимира Мономаха, князь Ростово-Суздальской земли, с 1155 года — великий киевский князь. Воевал за киевский престол со своим племянником Изяславом Мстиславичем. Выстроил в Белой Руси города: Переславль что за лесом, Юрьев в поле, Звенигород, Перемышль, Дмитров. Самым славным делом, прославившим его имя в веках, стало основание малой крепостцы на большом холме на берегу речки Московы. С этим событием связано первое упоминание в летописи о Москве за 1147 год, когда князь созывает родственников и соседей на пир: «**Приезжай ко мне, свате, в Москов**». В Татищевских летописных списках сообщается о нем: «Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза не вельми велики, нос долгий и искривленный... великий любитель женщин, сладкой пищи и питья; более об веселиях нежели об управлении и воинстве прилежал... сам мало что делал, всё больше дети и князья союзные».

17. Юрий Всеволодович (1188–1238), великий князь владимирский, сын Всеволода Большое Гнездо. Когда в феврале 1238 года Орда подошла к Владимиру, князь Юрий принял бой с татарами на реке Сити, где русское войско было разгромлено, и сам Юрий погиб в неравной битве.

«Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была единственной причиной его успехов» (Н. М. Карамзин). Осада Владимира продолжалась пять дней, после чего город был взят и сожжен, а жители перебиты.

18. Ярослав Всеволодович (1191–1246) — сын Всеволода Большое Гнездо, князь новгородский, после гибели Юрия Всеволодовича правил во Владимире, в 1243 году ездил в Орду к хану Батюю и получил у него ярлык на великое владимирское княжение. Во второй раз Ярослав ездил в Орду, в столицу монголов Каракорум, был отравлен ханшей Туракиной и умер на обратном пути.



Примечания.

В тексте, в скобках к цитатам, указывается номер источника.

Стр. 31. Из «**Поучения детям**» **Владимира Мономаха**: «Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал... И с коня много падал, голову себе дважды разбивал и руки и ноги свои повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своея».

Стр. 33. Это форма призвания князя на киевский престол. «**Черные клобуки**» («кара-калпаки») — половецкие племена, тюрки, берендеи, жившие по берегам Днепра. Входили в состав дружины князя, участвовали в политике.

Стр. 34. «**Русалии недели**», — старинный языческий праздник, термин вошел в быт Руси с 12 века. Главные русалии происходили на Ивана Купалу, от середины мая до начала июня по наблюдениям славянских волхвов. В соответствии с христианским пасхальным календарем этому соответствует седьмая неделя после Пасхи. Указывая на языческую сущность праздника, который сопровождали *плясание, бубны, гусли, игранья неподобные, русалья*, — Кирилл Туровский называет его в числе *злых и скверных дел*

Стр. 92. **О неплодной смоковнице**: «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». (Матф., 21:19)

Стр. 110. **Вещи и дела аще ненаписанныи бывают...** — фраза эта приписывается проповеднику-старообрядцу 18-го века Ивану Филиппову.

Стр. 126. От проповедника Серапиона владимирского.



Список использованной литературы

- (1) «Повесть временных лет»^{*}
- (2) Н. М. Карамзин «История Государства Российского»
- (3) В. Н. Татищев «История Российская»
- (4) Полное собрание русских летописей, Ипатьевская летопись, т. 2
- (5) В. О. Ключевский «Курс русской истории»
- (6) «Житие великого князя Андрея Боголюбского»
- (7) «Повесть об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Федора»
- (8) «Житие Александра Невского»
- (9) «Житие Преподобной Евфросинии Суздальской
- (10) Заповедь из Устава митрополита Георгия
- (11) Сборник песен Кирши Данилова
- (12) «Слово о погибели Русской земли»
- (13) «Первая душевная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты»
- (14) Дж. Дель Пьяно Карпини «История Монголов, называемых нами татарами»
- (15) «Повесть о жизни благоверного и великого князя Александра», первоначальная редакция Жития
- (16) Б. А. Рыбаков «Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве»
- (17) Сведения греческих и римских историков о славянах
- (18) С. М. Соловьев «История России с древнейших времен»
- (19) И. Е. Забелин «История русской жизни с древнейших времен»

* В оригинале «Повесть временных дей». Правильный перевод: *дей* — *дел, деяний*



СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗ О ВЛАДИМИРЕ И РОГНЕДЕ 5

ДОРОГА

День последний. Суздаль..... 21

Житие Преподобной Евфросинии Суздальской 30

День первый. Владимир..... 52

ЯЗЫЧНИЦА. Часть первая. Князь и вассал ... 63

Всё еще день первый. Гусь Хрустальный..... 88

День второй. Гусь Хрустальный..... 97

ЯЗЫЧНИЦА. Часть вторая. Весна в Суздале .. 109

День третий. Суздаль..... 137

ЯЗЫЧНИЦА. Часть третья. Наузница 145

ПОКРОВ МОНАСТЫРЬ 162

КОНЕЦ ГЕРОЯ...... 197

ГРАМОТА ИВАНА КАЛИТЫ 259

Указатель имен исторических лиц 295

Приложения 301

Литература 302



Литературно-художественное издание

Ольга Любимова

ПРАВДИВЫЕ СКАЗАНИЯ
О крещении Руси и о начале Москвы,
и о тайнах Покровского монастыря, и еще...

Редактор — *Евгений Степанов*
Компьютерная верстка, макет — *Ирина Ракитина*
Корректурa авторская

Формат 84x108 1/32
Гарнитура Minion Pro, Izhitsa
Печать офсетная.
Тираж 50 экз.
Сдано в набор 21.04.2016
Подписано в печать 09.06.2016

Издательство «Вест-Консалтинг»
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,
д. 1/26, корп. 1, офис 34.
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол
Комсомольский проспект, 73.